

ТАЙНЫ

Вып. XVII

Н. Мердер
ЗВЕЗДА
ЦЕСАРИЦЫ
БОРЬБА
У ПРЕСТОЛА

Ф. Зарин-Носовичев



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах

Н.Мердер. Звезда цесаревны, Ф.Зарин-Несвицкий. Борьба у престола
//Терра, М., 1995
ISBN: 5-300-00149-X
FB2: Олег Власов "prussol", 17.10.2011, version 1.0
UUID: e39cc0a7-f8de-11e0-9959-47117d41cf4b
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Федор Ефимович Зарин-Несвицкий

Борьба у престола

Роман русского писателя Ф.Е. Зарина-Несвицкого, посвященный истории России первой трети XVIII века. В центре этого произведения образ цесаревны Елизаветы, дочери Петра I, будущей российской императрицы. О том, как "восходила звезда" Елизаветы, как и в каких условиях формировался ее характер, о постоянной борьбе за власть и за жизнь, не только свою, но и близких людей, узнает читатель этого уникального исторического повествования.

Содержание

Часть первая	0006
I	0006
II	0015
III	0022
IV	0033
V	0043
VI	0057
VII	0063
VIII	0077
IX	0083
X	0093
XI	0102
XII	0109
XIII	0122
XIV	0141
XV	0157
XVI	0164
XVII	0182
XVIII	0192
XIX	0202
XX	0209
XXI	0222
XXII	0233
Часть вторая	0246
I	0246

II	0260
III	0270
IV	0288
V	0307
VI	0323
VII	0343
VIII	0356
IX	0372
X	0383
XI	0394
XII	0411
XIII	0426
XIV	0441
XV	0451
XVI	0464
XVII	0471
XVIII	0490
XIX	0502
XX	0523
XXI	0533
XXII	0547
XXIII	0560
XXIV	0576
XXV	0597
XXVI	0610
XXVII	0620
XXVIII	0630
Комментарии	0659

Федор Ефимович Зарин- Несвицкий Борьба у престола

*Пир был готов, но гости
оказались недостойны его.
Слова кн. Дм. Мих. Голицына. Записки
Манштейна.*

Часть первая

I

— Граф, дорогой граф, наконец-то! — произнесла молодая женщина, протягивая обе руки навстречу входившему в маленькую гостиную, сверкавшему брильянтами и золотым шитьем камергерского камзола молодому, стройному красавцу.

Она сидела на низком кресле, обитом темно-малиновым бархатом. Ее маленькие ножки в ажурных, плетенных из золота туфлях покоились на бархатной подушке. Легкие, как пена, кружева на вырезе открытого платья едва прикрывали ее высокую белоснежную грудь. Черные глаза ее, томные и ленивые, мерцали манящим блеском под высокой прической взбитых локонами темных волос.

В золоченых люстрах с хрустальными подвесками горели восковые свечи под красными шелковыми колпаками. И этот красный свет, наполнявший комнату, придавал стран-

но – нежный оттенок лицам.

Эта молодая женщина была первой красавицей при дворе, Наталья Федоровна Лопухина, жена генерал – майора Степана Васильевича, двоюродного брата и камергера двора царицы Евдокии, бабки царствующего императора, урожденной Лопухиной, первой жены Петра Великого.

Тот, кого она так радостно приветствовала, был граф Рейнгольд Левенвольде, генерал – майор и камергер. Он состоял при русском дворе резидентом бывшего курляндского герцога Фердинанда, лишённого в 1727 году сеймом герцогской короны. Своим графством, камергерством и чином он был обязан недолгому фавору при покойной императрице Екатерине Алексеевне. Граф Рейнгольд хорошо устроился в России.

Слегка склонившись, непринужденной походкой придворного, скользя по роскошному персидскому ковру, покрывавшему пол гостиной, граф Левенвольде приблизился к Лопухиной и одну за другой поцеловал ее руки. Потом он опустился на низенький табурет у кресла Натальи Федоровны.

– Где вы пропадали, – спросила Лопухина, – и что нового?

– Я? – ответил Левенвольде. – Я отдыхал. Я устал от этих непрерывных празднеств. Сказать по правде, болезнь императора при- шлась кстати. Надо же сделать передышку. Вчера я был в остерии. Там был и Иван Долго- рукий. По – видимому, они расстроены, что свадьба императора завтра не состоится.

– Положение императора, кажется, не вну- шает опасений, – сказала Лопухина. – А ваш Иван – надутый и скверный мальчишка, он губит императора, – резко закончила она. – Ох уж эти Долгорукие!..

– Вы не любите их, – тихо произнес Левен- вольде, овладевая ее руками.

Он нежно перебирал тонкие длинные пальцы, целуя каждый по очереди.

– Что мне Долгорукие? – сказал он. – Мне скучно от этого разговора! Какое нам дело до них? – и он поднял свои прекрасные глаза на Лопухину. – Притом император нездоров, и теперь все тихо.

– Ах, Рейнгольд, Рейнгольд! – с упреком произнесла Лопухина, низко склоняясь ли-

цом к его кудрявой голове. – Вы иностранец, вы ничего не понимаете.

Рейнгольд, продолжая целовать ее руки, небрежно ответил:

– Вы научили меня быть русским.

– Долгорукие! – продолжала Лопухина. – Вы подумайте только! С тех пор как они подсунули ему эту надменную девчонку, княжну Екатерину, они совсем потеряли голову! Ее брат, этот убогий и развратный Иван, развращающий императора, – в двадцать лет генерал, майор Преображенского полка, Андреевский кавалер? Вы посмотрите только, как позволяет он себе третировать самых знатных людей с истинными заслугами! А она? Она, кажется, уже теперь считает себя императрицей. С тех пор как ее стали поминать на ектениях, называть «высочеством» и государыней – невестой, она уже принимает иностранных послов; мы должны целовать ее руку... Но это позор!..

– Вы завидуете? – сказал Левенвольде, отпуская ее руки. – Вы, конечно, красивее ее. Не хотели ли вы быть императрицей всероссийской?

Лопухина насильственно засмеялась.

– А не хотели ли вы быть супругом покойной императрицы? – ответила она.

По лицу Левенвольде прошла мгновенная судорога.

– Ах, не сердитесь, Рейнгольд, за эти воспоминания, – произнесла Лопухина. – Вы ведь, знаете, что я люблю вас.

Она замолчала, перебирая рукой мягкие кольца его волос.


– Я знаю, – начал Левенвольде, – что на последнем балу у Черкасского император оказывал вам слишком много внимания, что принцесса Елизавета кусала губы при виде ваших успехов, а Долгорукие сошли с ума.

Она тихо засмеялась.

– Да, – не возразила она, – вы правы. Но разве; Рейнгольд, я не красива?

Он поднял на нее загоревшиеся глаза.

– Вы – Венера, – сказал он. – И если бы я был императором, я бы не сделал такой глупости, как жениться на Екатерине Долгорукой.

– В том  то и беда, мой милый друг, что вы не император, а Долгорукие помешали мне

быть императрицей, – смеясь, добавила она.

Левенвольде совершенно серьезно слушал ее, как бы соображая и взвешивая шансы.

– Но ведь вы замужем! – сказал он наконец. Она в ответ снова рассмеялась:

– Дорогой иностранец, это последнее из препятствий у нас...

– Но, – продолжал он, – хотя завтра их свадьба и не состоится, когда ◆нибудь она все ◆таки будет.

– Ну, что же? Петр Первый тоже был женат на моей тетке, да потом женился на Екатерине...

Левенвольде нахмурился.

– Ну, полно, полно, я ведь только болтала. Разве я не твоя! – прерывающимся голосом произнесла Лопухина.

Рейнгольд медленно поднялся и, взяв обеими руками ее голову, откинул ее и прижался губами к ее полуоткрытым губам...

В эпоху сказочных, неожиданных возвышений от неизвестности до первых мест в государстве и страшных падений с высоты могущества и власти в бездну ничтожества:

смутно мелькавшие в душе Лопухиной надежды могли легко стать действительностью.

Давно ли светлейший князь Ижорский, Меншиков, этот» прегордый Голиаф», был неограниченным вершителем судеб России и готовился сделать дочь свою императрицей? И что же? В дикой Сибири, в глухом Березове, почти нищий узник, он медленно и гордо угасал, пока смерть, несколько месяцев тому назад, не прекратила его немых страданий...

А этот самый граф Рейнгольд Левенвольде, пять лет тому назад, при Петре I, маленький, скромный, бедный лифляндский дворянин, резидент незначительного курляндского герцога, избегавший вообще даже показываться лишний раз на глаза царю, – при его вдове делается графом, камергером, теряет счет деньгам и легко и свободно становится одним из первых в том высоком кругу, где так еще недавно на него смотрели с презрительным снисхождением? А сама Екатерина Долгорукая, «государыня – невеста», завтрашняя императрица всероссийская?

Сегодня – внизу, завтра – наверху. Время оправдывало самые безумные надежды и са-

мые ужасные опасения.

В последние месяцы, когда вся высшая аристократия, весь генералитет, иностранные посланники и резиденты потянулись в Москву вслед за двором отрока – императора, балы, празднества, охоты следовали непрерывно друг за другом. Блестящими» фестивалями» было отпраздновано состоявшееся в ноябре прошлого года обручение императора с княжной Екатериной. В угарном чаду промелькнуло Рождество. А на 19 января было назначено, теперь отложенное по болезни императора, его бракосочетание, и в тот же день – свадьба его любимца Ивана Долгорукого с графиней Натальей Шереметевой.

Четырнадцатилетний Петр, сильный и крепкий, рано возмужавший, с необузданной жадностью бросился на все соблазны, окружавшие его. На балах он всегда отмечал красивых женщин и, конечно, не мог оставаться равнодушным при виде Лопухиной, первой красавицы обеих столиц.

В танцах Лопухина почти превосходила цесаревну Елизавету, считавшуюся лучшей танцоркой этого времени. На охоте с борзы-

ми, которую так любил император, она поражала своей смелостью и красотой посадки.

Несмотря на свою несомненную любовь к Лопухиной, граф Рейнгольд счел бы большой удачей для себя, если бы Лопухина овладела императором. Сухой и расчетливый, оставший от своего отечества и оставшийся чужим России, он всегда и во всем привык прежде всего искать личной выгоды. Избалованный успехами у женщин, делая через них свою карьеру, он невольно приобрел на них взгляд, как прежде всего на полезных ему людей и потом уже как на женщин. Единственное, несомненно теплое чувство в его душе принадлежало Лопухиной. Но и тут он невольно вычислял выгоды, какие могли выпасть на его долю в случае ее возвышения.

Начиная с Крещенья, празднества прекратились ввиду болезни императора, хотя никто еще не считал эту болезнь смертельной даже тогда, когда выяснилось, что это оспа. Бурный период болезни миновал, и император уже встал с постели.

Левенвольде снова сидел на низком табурете. Положив руку ему на голову, Лопухина, улыбалась мечтательно и задумчиво. Казалось, этой женщине, так щедро одаренной, нечего было желать. По своему рождению (она была урожденная Балке, дочь известного генерала) и по замужеству она принадлежала к самому высокому кругу и со стороны мужа была родственницей царей; по богатству семья Лопухиных была одной из первых, соперничая с Черкасскими; по красоте – она бесспорно и вне сомнений была признана несравненной. Все в жизни улыбалось ей. И она чувствовала себя теперь пресыщенной счастьем, и от скуки и от беспокойства, свойственного ее характеру, искала, чем занять свою душу.

Она была одной из прелестных бабочек, вырвавшихся из куколок душных теремов, распахнутых мощной рукой великого царя, и наслаждающихся невиданной доньне на Руси свободой женщины.

Эти дни, скучные и однообразные, без ба-

лов и празднеств, где она бывала настоящей царицей, томили ее. Она с нетерпением ждала выздоровления императора, чтобы снова очутиться в привычной праздничной атмосфере балов, соперничества, интриг, легких побед.

Беззаботный Левенвольде, тоже привыкший быть центром придворных балов, как и она, томился вынужденным бездействием, хотя и говорил противное, потому что единственным делом его было блистать на балах.

– Мужа сегодня с утра нет дома, – произнесла Лопухина. – Он очень озабочен болезнью императора.

– Тревожиться нечего, – лениво ответил Рейнгольд.

– Вы знаете, Рейнгольд, – тихо отозвалась Наталья Федоровна, – мне с утра грустно, я все жду чего-то.

– Вам просто скучно, – с улыбкой ответил Рейнгольд. – Вы скучаете без балов, без охоты. Действительно, – продолжал он, – на рождественской псовой охоте в Александровской слободе вы были очаровательно смелы.

Шум тяжелых шагов и бряцанье плюр в со-

седней комнате прервали его слова.

– Это муж, – сказала Наталья Федоровна, снимая руку с головы Рейнгольда.

Он несколько отодвинулся. В комнату, гремя шпорами, быстро и озабоченно вошел муж Лопухиной, Степан Васильевич, в красном гвардейском камзоле с золотыми позументами. Это был высокий, крепкий мужчина лет, сорока пяти, с добродушным широким лицом. На этом цветущем лице трудно было найти следы тяжелого девятилетнего пребывания Лопухина в Кольском остроге, куда он был сослан Петром Великим за участие в деле царевича Алексея в 1718 году. В левой руке Лопухин держал краги и большую гренадерскую шапку.

Левенвольде поднялся ему навстречу.

– А, граф, очень кстати, – произнес Степан Васильевич, протягивая ему руку.

Левенвольде показалось, что его рука слегка дрожала.

В выражении лица мужа Наталья Федоровна сразу подметила необычное, тревожное выражение.

– Что случилось, Степан Васильевич? –

спросила она.

Лопухин осторожно, словно хрупкую драгоценность, взял руку жены и нежно поцеловал ее.

– Дурные, ужасные вести, – дрогнувшим голосом ответил он, тяжело опускаясь на маленький табурет, где только что сидел Левенвольде. – Император умирает!..

Он уронил краги и шапку на ковер и закрыл глаза рукой.

Левенвольде побледнел. Тысячи опасений за себя, за свою будущность в чужой, дикой стране, где судьба человека зависела от произвола первого временщика, охватили его.

– Как! – растерянно произнесла Наталья Федоровна. – Умирает?

Лопухин овладел собою.

– Да, – ответил он, – умирает. Проклятые Долгорукие, они погубили его! Им что! – с горечью и истинным отчаянием продолжал он. – Что им до того, что угасает последний отпрыск дома Петрова!.. Они думают только о себе! Немало зла натворили они – и боятся расплаты.

Лопухин встал и крупными шагами захо-

дил по маленькой гостиной.

– Да расскажи же, что случилось? – упавшим голосом спросила Наталья Федоровна. – Где ты был?..

– В Воскресенском у царицы – бабки, Измайлова известили, – ответил Лопухин и продолжал: – Позавчера, как встал он с постели, все было хорошо. Известно, не доглядели... Сам открыл окно и застудился. Теперь нет надежды. Что будет! Что будет! – схватился он за голову.

– Кто же наследует престол? – пересохшими губами спросил Рейнгольд.

Для него это был вопрос жизни и смерти. В его воображении мелькнуло прекрасное лицо цесаревны Елизаветы, ненавидящей Лопухиных и относившейся к нему с презрительным высокомерием.

– Кто? – повторил Лопухин. – Мужская ветвь дома Романовых пресекается...

– Елизавета! – воскликнула Наталья Федоровна, разделявшая тревоги своего любовника.

– Она ненавидит Лопухиных, – глухо отозвался Степан Васильевич. – Она будет пре-

следовать весь наш род, как ее отец преследовал. Девять лет я безвинно томился в остроге, и мой дядя погиб на плахе... Царица Евдокия всю жизнь прожила в заточении, и теперь что от нее осталось?.. Дряхлая монахиня! С ее сыном, своим сыном, что сделал он!.. Его дочь наследовала его ненависть...

– Но кто же? – произнесла тихо Наталья Федоровна. Лопухин нетерпеливо махнул рукой.

– Говорят, существует тестамент покойной императрицы, – неуверенно начал Рейнгольд.

– Это об ее дочерях, – возразил Лопухин, – об Анне да Елизавете.

– После смерти Анны, герцогини Голштинской, остался сын Карл, – сказал Рейнгольд. – По тестаменту, кажется, престол должен перейти к нему.

– Завещание сомнительно, – ответил Лопухин.

– Мой отец видел это завещание, – вмешалась Наталья Федоровна. – Там прямо было сказано: Анне Петровне с «десцедентами». Ежели же она была бы бездетна – то Елизавете.

Лопухин покачал головой.

– Никто не придаст значения этому тестаменту, – сказал он. – Долгорукие – сильны...

– Ты думаешь?.. – бледнея, начала Лопухина.

– Да, – угадав ее мысль, взволнованно произнес Лопухин.

Рейнгольд тоже притих.

Очевидно, Лопухин допускал возможность, что Долгорукие провозгласят императрицей государыню – невесту.

Тяжелое раздумье овладело всеми. Все трое чувствовали себя как люди, находящиеся вблизи неведомой опасности.

– Я еду в Лефортовский дворец, – прервал наконец молчание Лопухин. – Не надо, чтобы неожиданно что-то натворили Долгорукие.

– Если разрешите, я буду сопровождать вас, – сказал Левенвольде.

– Едемте, – коротко ответил Лопухин. Мужчины поцеловали руку Натальи Федоровны и поспешно вышли.

То и дело к Лефортовскому дворцу в Немецкой слободе, принадлежавшему некогда известному любимцу Петра Великого, подъезжали сани и кареты с форейторами. Залы дворца наполнялись представителями генералитета, Сената и духовенства. На улицах, прилегающих ко дворцу, толпился народ, охваченный смутной тревогой. Во мраке морозной ночи кровавыми пятнами горели фонари и дымящиеся факелы в руках скороходов. Сдержанно кричали форейторы: «Берегись!..», и молча выходили из экипажей имеющие доступ ко двору сановники.

Тревожное настроение толпы, окружавшей дворец, росло; необъяснимым путем, как всегда бывает, в народ проникли вести, что император умирает.

В умах москвичей еще памятливы были все волнения и бури, пережитые Москвой при переменах на верху». Были в толпе старики, хорошо помнившие стрелецкие бунты. Смерть отрока – государя опять сулила им ряд ужасных возможностей. Всех пугало между-

усобие дворцовых Партий. Слышались сдержанные разговоры. Чаще всех упоминалось имя Елизаветы.

А кареты, возки, сани – все ехали и ехали...

В большом зале, прислонившись к колонне, стоял офицер в форме поручика лейб – регимента. На нем был красный камзоле такими же обшлагами, воротником и подбоем, обшитый по вороту, обшлагам и борту золотым галуном. На лосиной портупее висела широкая шпага. Он был еще очень молод, лет двадцати – двадцати двух. По выражению его лица, с большими любопытными, темными глазами, по его обособленности среди блестящего общества было сразу видно, что он еще не свой здесь. Он с жадным любопытством следил за каждым вновь прибывшим, и его глаза перебегали с одной залитой золотом фигуры на другую и останавливались с любопытством на черных рясах иереев в белых и темных клобуках, украшенных брильянтовыми крестами.

– Ну что, князь, в диковинку? Сразу всех повидали, – раздался за ним тихий голос.

Молодой князь быстро повернулся. Перед ним стоял молодой капитан в одной с ним форме.

– А, – радостно произнес названный князем, – это вы, Петр Спиридонович! Верите ли, голова кругом идет.

– Знаю, знаю, – отозвался Петр Спиридонович. – Прямо из чужеземщины, ничего не зная, что творится здесь, да попасть сюда, да в такой момент! Есть отчего разбежаться глазам, Арсений Кириллович.

– Да, Петр Спиридонович, – ответил князь. – Верите ли, как во сне себя чувствую. Недели нет, как я здесь. И что же? Ну, право, как во сне! Что батюшка подумает! Нет, – продолжал он с увлечением, явно обрадовавшись собеседнику, – вы ведь знаете. Приехал я после заграницы, прямо из Парижа, к отцу, он говорит, поезжай в Петербург, пора послужить. Я что же, с радостью согласился. Приехал с батюшкиным письмом прямо к фельд-маршалу князю Долгорукому в Москву. Ведь мы в родстве, Шастуновы и Долгорукие – одного корня. А здесь князь Василий Владимирович и говорит: «Будь моим адъютантом», –

и зачислил меня в лейб – регименты. А тут болезнь его величества. Что поделаешь? Представить не могли. Сегодня бесприменно приказал здесь быть. Вот и торчу. А его не видно. Говорят, император не поправится. Беда одна, – закончил он.

– По правде, беда, – ответил Петр Спиридонович. – Что теперь будет, – продолжал он пониженным голосом, – ума не приложу! Кто вступит на престол?

Он замолчал. Этот капитан лейб – регимента был камер – юнкером голштинского герцога, фамилия его была Сумароков. В настоящее время он состоял адъютантом графа Павла Ивановича Ягужинского, генерал – прокурора Сената, того самого Ягужинского, полуполяка, полулитовца, кого Великий Петр называл своим оком.

В большом зале и примыкающих к нему комнатах стоял тихий и сдержанный гул голосов. Прибывшие разбивались на группы и взволнованно обсуждали последствия надвигающегося несчастья. От шитых золотом цветных кафтанов, разноцветных лент, звезд и брильянтов рябило в глазах. Черными пят-

нами на блестящем фоне военных и гражданских генералов выделялись темные рясы духовенства.

– Вот, посмотрите, – говорил Сумароков, – видите вы этого генерала с таким суровым худым лицом? Знаете, кто это?

Князь отрицательно покачал головой.

– Это – герой России, как сказал о нем испанский посол Дюк де Лирия, – продолжал Сумароков. – Фельдмаршал, князь Михаил Михайлович Голицын.

Шастунов с невольным уважением взглянул на старого генерала. Кто не знал подвигов Михаила Михайловича, его беззаветной отваги в битвах под Лесным, Нарвой, где он спас остатки разбитой армии Петра и честь Семеновского полка, его блистательного похода в Финляндию 1714 года, его бескорыстия и любви к солдатам? В популярности в рядах русской армии мог бы соперничать с ним разве только другой фельдмаршал, князь Василий Владимирович Долгорукий.

– А с ним рядом, – говорил Сумароков, – этот красивый, стройный человек с Александровской лентой, это князь Василий Лукич

Долгорукий. Старик, а на вид нельзя дать и сорока лет. С ума сводил парижских красавиц еще десять лет тому назад, как был назначен послом при регенте Филиппе Орлеанском. Вы, князь, недавно из Парижа. Чай, слышали о нем?

Улыбка промелькнула по губам Шастунова. Действительно, при французском дворе до сих пор не забыли изящного, остроумного, смелого Василия Лукича, соперничавшего в успехах у женщин с первыми кавалерами блистательного двора регента, несмотря на свой почтенный возраст. Случалось ему встречать и старушек, еще сохранивших нежное воспоминание об этом» *le prince charmant*»[1] ввремя его первого пребывания в Париже, во дни молодости, в конце прошлого века, где он пробыл тринадцать лет.

– Он – член Верховного тайного совета, министр, – продолжал словоохотливый Сумарков. – Всё в их руках.

Он вздохнул и затем продолжал свое перечисление. Князь слушал его с жадным любопытством.

– Толстый, надутый, словно лопнуть готов

от надменности, – князь Черкасский, самый богатый человек в России. Тощий монах с длинной бородой, с брильянтовым крестом на клобуке, член Синода, архиепископ новгородский Феофан, ехидный, хитрый; рядом с ним архиепископ тверской Феофилакт, низенький, толстенный, а высокий – ростовский архиепископ Георгий. Подумаешь – друзья! А сами друг друга в ложке воды готовы утопить, горло перегрызть друг другу. А! Вот входит старик, – смотрите, как почтительно раздвигаются. Это сам великий канцлер граф Гаврила Иваныч Головкин, а с ним князь Дмитрий Михайлович Голицын. А, Верховный тайный совет собирается! Князь, князь, – торопливо закончил Сумароков, – а вот ваш фельдмаршал и Ягужинский. Идемте!

Через толпу расшитых мундиров Молодые люди пробрались к образовавшемуся проходу и примкнули к свите Головкина и фельдмаршала.

Твердыми, уверенными шагами, прямой и стройный, с сурово сжатыми губами, блестящими глазами, глядящими поверх голов, с надменно поднятой головой, не отвечая на

поклоны, фельдмаршал прямо прошел к окну, где стояли Голицын с Василием Лукичом. К ним же подошли Головкин с Дмитрием Голицыным и Ягужинский. Между ними начался сдержанный, но оживленный разговор. Окружающие отодвинулись подальше. Взоры всех, словно с тревогой и опасением, устремились на эту маленькую группу людей, одни из которых, по своему положению, как министры, члены Верховного тайного совета, другие, как знаменитые родом и доблестью, занимали первенствующее место в государстве и, казалось, держали в своих руках будущее России.

Надо сказать, что большинство устремленных на них взглядов выражало явное недоброжелательство.

Архиепископ Феофан, сложив на груди руки, с нескрываемой усмешкой глядел на эту группу, изредка что-то говоря с насмешливой улыбкой своим собеседникам, хотя те, очевидно, не разделяли его настроения. Всем было хорошо известно, что Феофилакт Тверской был близок к князьям Голицыным, а Георгий Ростовский – к Долгоруким.

Шастунов и Сумароков стояли в стороне и молча наблюдали. Им обоим бросилось в глаза несколько высокомерное отношение князей Голицыных и Долгоруких к Ягужинскому. Его словно держали поодаль, и, чтобы сгладить это, граф Головкин то и дело обращался к нему, видимо стараясь втянуть его в общую беседу. Ягужинский был его зятем, и граф Головкин давно уже стремился провести его в члены Верховного тайного совета, но все безуспешно. Несмотря на выдающееся положение Ягужинского, родовитые князья не хотели видеть ровню в простом шляхтиче.

Из внутренних покоев вышел невысокого роста пожилой генерал с Андреевской лентой на груди. На его лице была явно видна полная растерянность. Это был отец государыни – невесты, князь Алексей Григорьевич Долгорукий. Он прямо подошел к группе верховников и, взяв за руку фельдмаршала Долгорукого, начал что-то взволнованно объяснять, словно умолять. До ушей Сумарокова и Шастунова доносились отдельные слова: «Завещание... государыня – невеста...»

– Невеста – не жена, – донесли слова

фельдмаршала Голицына, сказанные громче других.

Алексей Григорьевич стал опять горячо убеждать и вынул из кармана за пазухой сложенный вчетверо большой лист. Он развернул его, и князь Шастунов заметил на нем большую императорскую печать. Василий Лукич внимательно рассматривал лист и что-то тихо говорил, Ягужинский читал текст через его плечо.

Сумароков, наклонясь к уху Шастунова; едва слышно прошептал:

– Слышно, что император составил завещание, по которому наследницей престола назначает государыню – невесту, княжну Екатерину Долгорукую. Вечер у князя Алексея Григорьевича собрались все Долгорукие... Да между собою грызутся. Кто Катерины не любит, кому Иван поперек горла стал. Так и не столковались. А впрочем, почему знать! Захотят фельдмаршалы – все сделают!

В эту минуту фельдмаршал Василий Владимирович нетерпеливо махнул рукой и громко сказал:

– Потом!

Князь Алексей Григорьевич растерянно и торопливо свернул и спрятал за пазуху лист и бросился к Черкасскому, потом к архиепископам, везде встречаемый презрительно – недоверчивыми улыбками.

Потом он снова скрылся во внутренних покоях.

Прошло несколько минут; из внутренних покоев торопливо вышел бледный и взволнованный Иван Ильич Дмитриев – Мамонов, тайный супруг царицы Прасковьи Иоанновны. Он подошел к архиепископам и что-то сказал им. Черными тенями они немедленно двинулись за ним во внутренние покои. Словно вздох пронесся по залу. Всякий понял, что минуты императора сочтены.

IV

Какое-то жуткое, напряженное ожидание, шепот собравшихся, казавшийся злоеющим в этих просторных покоях, еще недавно наполненных шумным весельем, действовали удручающе на князя Шастунова. Ему минутами казалось, что свечи в золотых канделябрах меркнут, чадный туман нагоревших свечилен стоял в воздухе, затемняя глаза. Слышался только злоеющий гул сдержанных голосов. словно какие-то тени реяли в воздухе.

Здесь же, в этом самом Лефортовском дворце, грозный первый император справлял свои молодые оргии, празднуя победу над утопавшей в крови Москвой!.. И здесь кончал жизнь его последний мужской отпрыск.

Голова Шастунова кружилась. Он чувствовал словно дурноту. Он глубоко вздохнул, выпрямился, оглянулся кругом и вдруг вздрогнул. Его взгляд упал на крупную фигуру Лопухина, пробивавшегося среди толпы в сопровождении графа Левенвольде. Бледные щеки его мгновенно покраснели. Это не укрылось

от капитана Сумарокова.

– А – а, – шепотом в ухо князя произнес он, – муж нашей первейшей красавицы и в сопровождении друга.

Было в его тоне что-то, что не понравилось молодому князю. Глаза его потемнели, и он в упор посмотрел на капитана.

– Да, да, – продолжал Сумароков, – ведь вы знакомы с его женой, Натальей Федоровной? Помните, вы так много катались с ней на прошлой неделе е гор на Москве – реке?

Помнил ли Шастунов!

– А этот красавчик, – шептал Сумароков, – граф Левенвольде, вы тоже его видали. Да, на него приступом идут наши дамы.

Шастунов страшно побледнел и срывающимся шепотом сказал:

– Я прошу вас, капитан, замолчать...

Сумароков с некоторым удивлением взглянул на него, пожал плечами и отвернулся. Ему было непонятно раздражение князя. Весьма естественно, что молодой князь, познакомившись с Лопухиной, сразу влюбился в нее. Это была участь всех, кто приближался к ней. Естественно, что Лопухина, по врож-

денной привычке, подавала ему надежды. Но неестественна была наивность князя. Кто же не знал в обеих столицах, какую роль играл при ней Левенвольде? Чего же раздражаться? Это так просто. В любовной игре, как и во всякой, – каждый сам за себя.

Все эти мысли мгновенно промелькнули в уме Сумарокова, и он снова пожал плечами.

Лопухин, озабоченный и хмурый, прошел, ни на кого не глядя, через толпу в дальние покои, где еще с утра сидели тетки государя – Екатерина, герцогиня Мекленбургская, и царевна Прасковья, эти бледные» Ивановны», как их называли при дворе.

В толпе произошло движение. Образовался широкий проход от самых дверей. Голоса смолкли. Настало мгновенное молчание. В двери входила цесаревна Елизавета. На ее пышных, темно – бронзовых волосах не было пудры. Молодое лицо ее горело и от мороза и от волнения. Большие голубые глаза сверкали. Во всей ее фигуре, рослой и крупной, с высокой грудью и узкой талией (ей было в то время двадцать лет), было что-то властное, гордое и самоуверенное, напоминавшее ее ве-

ликого отца. Следом за ней шел ее адъютант, тридцатитрехлетний генерал, красавец Александр Борисович Бутурлин, и стройный, изящный мужчина с энергичным и насмешливым сухим лицом, ее лейб – медик Лесток.

Многие с любопытством глядели на молодого генерала. Всем была известна его давняя близость к цесаревне Елизавете. Когда об этой близости донесли Петру II, он частью под влиянием ревности, частью по интригам Алексея и Ивана Долгоруких, ненавидевших цесаревну, отделался от Бутурлина, послав его командовать украинскими полками, к великому горю Елизаветы; это было весной предыдущего года.

Узнав в своей глуши о предстоящей свадьбе императора, Бутурлин, рискуя навлечь на себя его гнев, пользуясь своим положением» персоны четвертого класса», никого не спрашивая, поспешил ко дню бракосочетания императора в Москву. Но он поспел не к брачным торжествам. Елизавета была несказанно рада его приезду и оставила его у себя в прежней должности камергера и адъютанта.

Едва отвечая на поклоны низко склоняв-

шихся перед ней сановников, она прошла во внутренние покои.

Цесаревна проживала в это время в подмосковном селе Покровском. Там, окруженная верным и преданными людьми, она в полной мере наслаждалась жизнью и чувствовала себя маленькой царицей. Узнав об опасности, угрожающей Петру, она поспешила приехать в Москву. После ее ухода шепот на несколько минут стал оживленнее, но скоро затих, и опять жуткое чувство ожидания охватило зал.

А тот, кто являлся причиной всех разыгравшихся страстей, интриг, опасений, надежд и отчаяния, отрок – император, лежал в бреду, беспомощный, слабый и умирающий. И был он уже не императором, отходя туда, где нет ни царей, ни рабов, где все равны, – а просто бедным, жалким, одиноким мальчиком, сыном несчастного отца, выросшим без матери, никем не любимым, иначе как император, с никем не согретым маленьким сердцем, которому так нужна была теплая ласка и любовное слово правды.

На своей высокой постели под балдахина-

ми, затканными золотыми орлами, он метался в предсмертном бреду. Его лицо представляло страшную, вздутую багровую маску.

Бессвязные слова вырывались из его опухших, воспаленных губ. Кому он был дорог? Разве этому старику с сухим, жестким лицом, с большими умными глазами, что сидел у его кровати и держал в руках его горячую, вздрагивающую руку. Да, быть может, только ему, этому немцу, своему воспитателю, вице-канцлеру, гофмейстеру двора, барону Генриху Иоганну Остерману, смешно переименованному царицей Прасковьей, женой царя Иоанна, в Андрея Ивановича.

Если бы этот Андрей Иванович мог плакать, он бы плакал сейчас. Но сухие глаза его глядели ясно, и только подергивание губ и судороги щек обнаруживали его глубокое горе. Он так любил этого мальчика!

В углу, закрыв лицо руками, молча сидел Иван Долгорукий, любимец и друг умирающего императора, брат его невесты. Но едва ли его отчаяние было вызвано чувством любви, благодарности и дружбы. Он слишком высоко был вознесен, чтобы не бояться падения.

Кто еще? Бабка царица? Мать его несчастного отца, выживающая из ума, замученная его де-дом, отрекшаяся от жизни монахиня Елена, в миру Евдокия? Никого! Никого!

Остерман тихо прижал руку Петра к губам, и ему показалось, что он обжег губы.

Вошедший в комнату Лесток, присланный цесаревной, молча и беспомощно стоял в ногах постели. Вслед за ним вошли архиепископы для совершения обряда соборования, за ним проскользнул князь Алексей Григорьевич и, подойдя к сыну, что♦то торопливо зашептал ему.

Петр заметался. В его бессвязном бреду можно было различить слова: «Наташа... пора... едем... полк...»

Он поминал свою рано умершую сестру, которую он так нежно любил и которая так любила его. Вдруг он поднялся. Опухшие глаза его с трудом раскрылись. Он сделал движение встать с постели и ясным голосом произнес:

– Запрягайте сани, хочу ехать к сестре...

С этими словами он упал на спину и захрипел. Тело его вздрогнуло, он вытянулся и за-

СТЫЛ.

– C'est la mort[2], – произнес Лесток.

Остерман припал к руке почившего.

Иван Долгорукий громко зарыдал.

Бедный мальчик! Да, ты пошел к своей сестре – искать ее в безграничных пустынях вечности...

Был в начале первый час ночи на 19 января 1730 года.

По какому-то странному инстинкту шепот прекратился в залах дворца. Словно ангел смерти пролетел по всем залам прежде, чем проникнуть в спальню умирающего. Но вот из задних комнат послышались крики, чье-то пронзительное рыдание. Толпа дрогнула, многие осенили себя крестным знаменем. На пороге бледный, с мутными глазами, растрепанными волосами появился Иван Долгорукий. За ним виднелось испуганное лицо его отца. Иван остановился на пороге и хрипло произнес:

– Петр Второй, император и самодержец всероссийский, ныне преставился.

Он сделал два – три неверных шага вперед и, обнажив шпагу, воскликнул:

– Да здравствует императрица Екатерина!
Гробовое молчание ответило ему.

– Да здравствует императрица Екатерина!
На этот раз за ним раздался слабый и неуверенный голос его отца:

– Да здравствует императрица Екатерина!
Иван посмотрел вокруг тусклыми глазами. Он встретил враждебные и насмешливые лица. Василий Владимирович быстро подошел к нему и крепко схватил его за руку.

– Ты с ума сошел, – сказал старый фельд-маршал. – Иди домой! Ты не в себе.

Иван еще раз кинул вокруг себя беспомощный взгляд, вложил шпагу в ножны и, шатаясь, направился к выходу.

Послышался гул голосов, движение. Некоторые направились поклониться телу императора, другие поспешили уехать, частью из боязни заразы, частью охваченные тревогой за свою дальнейшую судьбу. Третьи в ожидании чего-то, собираясь группами, оживленно совещались. Дворец значительно опустел.

Стоявшая с непокрытыми головами у дворца толпа, крестясь, медленно и тревожно расходилась.

В числе прошедших к одру императора были верховники, а за ними следом прошли и Шастунов с Сумароковым. Архиепископы читали молитвы. На коленях около постели стояли Екатерина и Прасковья, плача и крестясь. Елизавета судорожно прильнула к руке Петра и тихо шептала:

– Петруша, Петруша, ненаглядный...

Напрасно Лесток старался оторвать ее от трупа. Верховники и все вошедшие преклонили колени. Через несколько минут фельдмаршал Долгорукий поднялся и тихо произнес, наклонясь к уху Головкина:

– Не надо терять времени. – И верховники, а также фельдмаршал Голицын и Ягужинский один за другим тихо вышли из комнаты.

Шастунов и Сумароков получили приказание ждать дальнейших распоряжений и не отлучаться из дворца. Верховники прошли в задние апартаменты.

Потрясенный всем пережитым, Шастунов опустился в широкое кресло. Сумароков тоже притих и озабоченно ходил из угла в угол.

Глаза Шастунова слипались. Запрыгали огни, завертелся красный камзол Сумарокова, и

он задремал.

V

Была роковая ночь, когда судьба бросала на чаши весов вечности жребий России. От случайности, мгновенной решимости одной или другой группы или лица зависела судьба России.

Потрясенная Елизавета ехала к себе домой, сидя плечо к плечу с Бутурлиным; против них в санях поместился Лесток.

– Ваше высочество, – с оживлением говорил по – французски энергичный француз. – Нельзя терять ни одной минуты. Помните, ваш великий отец говорил, что промедление подобно смерти. Не убивайте же своей будущности и будущности России. Один удар, и все будет кончено. Клянусь, я ручаюсь за успех. Ваше высочество, гвардия обожает вас. Дозвольте нам действовать. Тут близко казармы Преображенского полка. Велите ехать туда, явитесь солдатам, напомните им их прежнюю доблесть, славу их, верность вашему отцу, и они бросятся за вами в самый ад! И завтра мы провозгласим дочь Петра Великого

русской императрицей. Вы – кротки и милосердны, вы успокоите Россию. Народы России благословят ваше имя. Кому же вы хотите бросить на жертву ваше наследие – алчным Долгоруким? Старухе монахине? Или чужеземцам – голштинцам, или, может быть, этим жалким» Ивановнам»?

Горячий француз так волновался, что чуть не выпрыгивал из саней. Елизавета молчала. После волнений последних часов это ясное морозное небо, горящее звездами, близость Бутурлина, тесно прижавшегося к ней, действовали на нее расслабляюще. Ей хотелось одного – покоя и тишины.

Горячая рука Бутурлина пожимала ее руку. Он тоже молчал, забыв в эти минуты обо всем, кроме этой красавицы, так неясно прильнувшей к нему.

– Решайтесь, ваше высочество, – продолжал Лесток. – Решайтесь, пока не пропущен момент.

Цесаревна с томной улыбкой почти опустила голову на плечо Бутурлина. Опасности, волнения, тревоги, быть может, монастырь или Шлиссельбург вместо трона – нет. Бог с

ними, – и ленивым, томным голосом она произнесла:

– Laissez done, cher Lestok, a demain, a demain!..[3]

Она отнимала у себя десять лет царствования за минуты любовного отдыха.

В то же время в Лефортовском дворце шли усиленные переговоры. В одном зале собрались представители Сената и генералитета с князем Черкасским, фельдмаршалом Трубецким и Ягужинским и архиепископы. В другом – министры Верховного совета, пригласившие с собой заседавшего в совете без звания министра сибирского губернатора князя Михаила Владимировича Долгорукого, приехавшего на бракосочетание своей племянницы, княжны Екатерины, государыни – невесты, и двух фельдмаршалов, Долгорукого и Голицына.

Фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой был заметно обижен тем, что верховники не пригласили его с собой. Под насильственной улыбкой скрывал свою досаду и генерал – прокурор Ягужинский.

– Осьмиличный совет решит за нас, – насмешливо произнес новгородский архиепископ Феофан.

Оставшиеся чувствовали себя растерянно и неловко. Они понимали, что верховники решают теперь вопрос государственного строения. Никто не решался начать говорить определенно. Настроение их было подавленное. Главной и страшной угрозой стояли перед ними Долгорукие. Если фельдмаршал Василий Владимирович пользовался общим уважением, так же как и Василий Лукич, то фаворит покойного царя Иван и его отец Алексей Григорьевич были искренно всеми ненавидимы за их глупую надменность, корыстолюбие и несправедливость.

Князь Черкасский только сопел. Ему было решительно все равно, кто станет во главе правления, только бы там не было места Долгоруким. Ягужинский, стоя рядом с камергером князем Сергеем Григорьевичем Долгоруким, безобиднейшим человеком без определенных политических взглядов, хитро и тонко выспрашивал его о намерении Голицыных и Долгоруких.

По предшествовавшей деятельности он знал князя Дмитрия Михайловича Голицына как приверженца представительного строя, вроде Речи Посполитой или английского. Голицын всегда проводил мысль, что подданные должны принимать участие в правлении государством, в делах как внутренней, так и внешней политики. Благодаря ему императрицей Екатериной был дан 21 марта 1727 года указ» О сухопутной армии и флоте с целью устроить их с наименьшей тягостью для народа». Предполагалось образовать комиссию» из знатного шляхетства и из посредственных персон всех чинов – рассмотреть состояние всех городов и земель и по рассмотрении наложить та-;) кую подать, чтобы было всем равно». Это было как бы уже шагом к признанию представительного строя.

Ягужинский был уверен, что теперь Дмитрий Михайлович воспользуется случаем, чтобы осуществить свои любимые идеи. Так как прямых, бесспорных наследников не было, то являлось весьма вероятным, что избранное лицо согласится на известные уступки. Быстрый, изворотливый ум Ягужинского живо

представил возможное положение дел, тем более что он уже ранее слышал кое-что об уже готовом проекте Дмитрия Михайловича и об его словах, что необходимо прибавить себе воли. Ягужинскому, в сущности, было все равно, хоть республика, только бы самому стоять на верхах.

Беспокойные взгляды все чаще и чаще останавливались на комнатах, из которых ждали появления верховников.

Ягужинский говорил Сергею Григорьевичу:

– Что ж, пусть решают. Но долго ли терпеть нам, что нам головы секут! Настало иное время. Не быть теперь самодержавию!

– Это не мое дело, – ответил добродушный князь Сергей Григорьевич. – Я в такое дело не путаюсь и даже не думаю о нем.

Ягужинский замолчал. Его все еще мучило перенесенное им унижение. Верховники не пригласили его с собою на совещание, несмотря на желание графа Головкина.

В то же время и верховники, нервно и нетерпеливо, спешили покончить с вопро-

сом. Несмотря на их видимую власть, они чувствовали шаткость своего положения. Ведь если бы фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой был поэнергичнее или вздумалось бы цесаревне Елизавете явиться сейчас в Лефортовский дворец с ротой преображенцев, то их песенка была бы спета. Пока все еще ошеломлены – надо действовать. Надо прийти к согласию между собою и заручиться согласием Сената и генералитета.

Заседание начал речью князь Дмитрий Михайлович Голицын. Указав на то, что угасло мужское потомство Петра Великого, он заметил, что о дочерях Петра, рожденных до брака с Екатериной, не может быть речи и что завещание, оставленное Екатериной, не может иметь никакого значения, потому что, – добавил он, – «эта женщина, с ее прошлым, не имела никакого права воссесть на российский престол, тем менее располагать короной российской».

– Надо думать, – закончил он, – о новой особе на престол и о себе также.

После его слов наступило молчание. Его прервал неуверенный голос Алексея Григо-

рьевича:

– Покойный государь оставил завещание...

– Завещание подложно, – резко ответил князь Дмитрий Михайлович. – Невеста государя не стала женой, и на нее не может переходить никакого права на престол.

– Но позволь, князь... – начал Василий Лукич.

Его прервал Василий Владимирович. Он встал во весь рост и, энергично ударяя по столу рукой, сурово проговорил:

– Да! Это завещание подложно! Никто не вправе вступить на престол, пока еще находятся в живых особы женского пола, законные члены императорского дома....

– Всего справедливее было бы провозгласить государыней царицу Евдокию, ведь она бабка покойного императора, – произнес граф Головкин.

– Монахиня!.. – отозвался Алексей Григорьевич Долгорукий.

– Насильный постриг!.. – весь вспыхнув, возразил старик Головкин.

Но Дмитрий Михайлович прервал их. Он встал и своим спокойным, ясным, убедитель-

ным голосом громко сказал:

– Я воздаю полную дань достоинствам вдовствующей императрицы, но она только вдова государя. Есть дочери царя, три дочери царя Ивана. Избрание старшей, Екатерины, привело бы к затруднениям. Она сама добра и добродетельна, но ее муж, герцог Мекленбургский, зол и сумасброден. Мы забываем Анну Ивановну, герцогиню Курляндскую, – это умная женщина, и в Курляндии на нее нет неудовольствий.

Дмитрий Михайлович обвел всех вопросительным взглядом и опустился на место. Его предложение не было неожиданностью для некоторых из его товарищей по совету. По тонкому, до сих пор красивому лицу Василия Лукича скользнула довольная улыбка. Он вспомнил свое пребывание в Митаве четыре года тому назад, когда он по доводу курляндских дел ездил туда по поручению Меншикова. Это было после избрания Морица Саксонского курляндским герцогом. Герцогской короны домогался и кнзь Ижорекий. Старый и опытный соблазнитель. Василий Лукич сумел тогда легко, без особого труда, покорить вдов-

ствующую герцогиню, не считая ее даже особенно ценной добычей ввиду ее обездоленно-го, униженного н» мизерного» положения. Он не без удовольствия вспоминал, как бесновался тогда ее камер – юнкер Бирон, только что приближенный к ней. В своем высокомерии он не считал этого камер – юнкера, заведовавшего конюшнями герцогини, за соперника и третировал его почти как лакея... Он вспомнил один вечер, поздний вечер, встречу его с Бироном перед опочивальней герцогини, дерзкие слова Бирона и нанесенную им Бирону пощечину. Бирон не забудет этого! Эти воспоминания мгновенно пронеслись в душе Василия Лукича. Он сумел бы вернуть свою власть над Анной, а Бирон... его просто можно не пустить в Россию. И твердым голосом Василий Лукич произнес:

– Это самый достойный выбор.

Алексей Григорьевич, видя, что дело с завещание» не находит поддержки, и привыкнув во всем следовать за Василием Лукичом, молча в знак согласия наклонил голову.

Казалось, что избрание примиряло всех. Все хорошо помнили Анну во время ее приез-

дов ко двору, по делам. Дела эти были исключительно денежные, и герцогиня тогда буквально обивала пороги у всех вельмож, имевших какое-либо влияние при дворе. Все помнили, как бедная» Ивановна» была любезна, уступчива, внимательна.

Такою члены совещания представляли ее себе и на основании этого склонялись к ее избранию, рассчитывая легко управлять ею.

Молчание прервал фельдмаршал Долгорукий.

– Сам Бог внушил тебе эту мысль, князь Дмитрий Михайлович, – торжественно начал он. – Она исходит от чистосердечной любви твоей к отечеству. – И могучим голосом, каким он командовал полками, он воскликнул: – Виват императрица Анна Ивановна!

– Виват императрица Анна Ивановна! – поддержал его фельдмаршал Голицын.

– Виват императрица Анна Ивановна! – раздались воодушевленные голоса остальные членов совещания.

Когда смолкли крики, князь Дмитрий Михайлович продолжал:

– Сам Бог указывает пути России. Всем ведомо

нам, что царь Петр Первый жизнь свою полагал за благоденствие России. Но прошло пять лет со дня его кончины, и что видим мы? На престоле женщина, возведенная на его ступени преступным властолюбием Меншикова. Женщина низкого рода, даже неграмотная... с этого началась гибель России. – Бледное лицо Голицына окрасилось ярким румянцем. – Кто же правил при ней! – высоким голосом продолжал он. – Воля ее была как тростник, колеблемый ветром! Меншиков, корыстный и жадный царедворец, Левенвольде, замечательный единой красотой, да он ли один! Бесовестные фавориты расхищали достояние народное!.. Бог призвал ее к себе... Что было после?.. Священна память отрока – императора, перед чьим неостывшим трупом мы только что преклоняли колени! Но что было при нем? Я не в укор говорю тебе, Алексей Григорьевич, – обратился он к вспыхнувшему Долгорукому. – Не вы, так другие... Не все ли равно? Надо сделать так, чтобы ни вы, ни другие не могли по – своему, своевольно править Россией. Нет, – с силой продолжал Голицын, – довольно мы терпели от бедствий самовла-

ствия с его фаворитами! Пора обуздать верховную власть благими законами! Надо полегчить себе и народу! Надо прибавить воли! – Он обвел всех присутствующих горящими глазами.

– Как полегчить? – спросил Головкин.

Он был сильно взволнован речью Голицына. Его старая голова тряслась. Он и сочувствовал, и боялся...

– Императрица Анна, – продолжал Голицын, – не ожидала этой высокой доли. Мы предложим ей престол под условием деления ее власти с нами и народом.

Одобрительный шепот прошел по собранию.

Большинство уже заранее знало проект Голицына, В тайных заседаниях совета, с участием значительных сановников, неоднократно возбуждался этот вопрос, и были уже намечены границы императорской власти. Если он счел нужным громко сказать теперь об этом, то только для того, чтобы вновь единодушно было подчеркнуто состоявшееся раньше решение.

– Нам надлежало бы, – продолжал он, –

сейчас же составить пункты и послать их государыне Анне Ивановне.

Стук в дверь прервал его слова. В комнату вошел барон Остерман. Его лицо, казалось, еще более похудело осунулось, нос заострился, но глаза глядели по – прежнему ясно нетвердо. Остерман, прихрамывая, опирался на палку.

Его встретили почтительно и с удовольствием, и Дмитрий Михайлович тотчас же сообщил ему об избрании герцогини Курляндской, на что барон ответил, поглаживая свой острый подбородок:

– Выбор натуральный и достойный.

Затем Дмитрию Михайлович передал ему о решении собрания ограничить императорскую власть. Андрей Иванович задумчиво помолчал несколько минут и потом произнес:

– Вы – природные русские, вы лучше знаете, что свойственно природе русского народа. Если вы можете считать себя сейчас по душе и крови представителями народа, к которому вы принадлежите, – то вы правы. Vox populi – vox Dei[4]. Мне нечего сказать. Но теперь, я полагаю, надо выйти и сообщить шляхетству

и генералитету о выборе императрицы, чтобы не было нареканий на Верховный тайный совет.

Старик поднялся и, тяжело опираясь на палку, медленно двинулся к дверям. Он словно еще больше постарел и захромал. Во главе с ним восемь вершителей судеб России вошли в зал, где ожидали их решения представители Сената, Синода и генералитета.

VI

Еще далеко до рассвета, был всего шестой час, и цесаревна Елизавета мирно почивала, когда кто-то вдруг сильно схватил ее за плечо и потряс.

– Ваше высочество, – раздался над ее ухом нетерпеливый, резкий голос, – вставайте, ваша судьба решается... Вставайте же, ваше высочество, вставайте...

С легким криком поднялась Елизавета и при ярком огне многочисленных лампадок, горевших пред киотом в углу, увидела взволнованное лицо Лестока. Лесток, как свой человек, вернулся во дворец цесаревны и на правах ее лейб-медика ворвался в ее спаль-

ню, несмотря на сопротивление фрейлины Мордвиновой.

– Ради Бога, Лесток! Что случилось? – вся дрожая, спросила Елизавета. – Или идут арестовать меня?..

– Вы дождетесь и этого, – взволнованно проговорил Лесток, – Я сейчас из Лефортова. Вопрос решен. Тайный совет провозгласил императрицей герцогиню Курляндскую.

– А, вот как, – зевая, произнесла Елизавета. – Отвернитесь же, Лесток, я накину на себя пудермантель.

Лесток стал к цесаревне спиной и с жаром продолжал:

– Тайный совет решил все келейно, никого не спрашивая. Ваши архиепископы, сенаторы и генералитет ждали в соседней комнате, как бессловесное стадо. Они ждали долго...

– Ну, теперь можете повернуться, – равнодушно прервала его Елизавета.

Лесток с живостью повернулся.

– Проводив вас, я поспешил вернуться во дворец. Верховники вышли после совещания и объявили свою волю. Свою волю, подумайте, ваше высочество, – горячо продолжал Ле-

сток. – И Дмитрий Михайлович потребовал согласия. И от имени Сената, Синода и генералитета оно было дано. Никто не посмел возражать... Никто!

Елизавета задумчиво слушала его.

– Итак, вопрос решен, – сказала она наконец. – Чего же вы хотите?

Лесток даже подпрыгнул на месте.

– Но подумайте же вы, дочь Великого Петра, кому вы уступаете свои права? Невежественной, грубой любовнице берейтора!..

– Лесток, – тихо, но сурово остановила его Елизавета, – она моя сестра.

– Даже рискуя навлечь на себя ваш гнев, я не возьму назад своих слов, – продолжал Лесток. – Но это еще не все. Верховники пошли дальше... Они решили ограничить власть императрицы, и не ваша сестра будет управлять империей, а восемь верховников, из которых четверо – Долгорукие!..

– Как? – спросила Елизавета, и ее равнодушие мгновенно исчезло. – Что же будет?

– Вы знакомы, ваше высочество, с римской историей, – с усмешкой произнес Лесток, – и вы знаете, что значит олигархия. Теперь этих

олигархов в России будет восемь. Значит, восемь деспотов, вместо одного в худшем случае. Они уже составили пункты, ограничивающие самодержавную власть и делающие их самих самодержавцами. Завтра, то есть сегодня, в десять часов утра, они собирают в Мастерской палате представителей высших чинов империи, и тогда все будет кончено. Вам осталось едва три часа. Я видел сегодня Толбузина, капитана Преображенского полка, я говорил с князем Черкасским и многими другими... Для них – все лучше Долгоруких. Одевайтесь, ваше высочество, рота кавалергардов в вашем распоряжении. Преображенский полк ждет вашего слова, в толпах на улицах и площадях Москвы громче всех звучит ваше имя. Одевайтесь же, ваше высочество, вот мундир Преображенского полка и...

Елизавета тяжело дышала. Слова Лестока зажгли ее бурную кровь. Она колебалась.

В эту минуту в спальню вошел Бутурлин. Его поспешили разбудить ввиду тревожных событий. При виде его лицо Елизаветы ожило.

– Александр Борисович, – сказала она, – Ле-

сток предлагает мне корону. Она, кажется, у него в кармане.

– Вы изволите шутить, ваше высочество, – нервно произнес Лесток. – Ваша слава мне дороже жизни.

– Я знаю, в чем дело, – ответил Бутурлин, – но умоляю ваше высочество не рисковать своей драгоценной жизнью или свободой, не взвесив всех возможностей. Не забудьте, ваше высочество, что фельдмаршал Долгорукий – подполковник Преображенского полка, что его любит войско, не забудьте фельдмаршала Голицына, подполковника Семеновского полка, самого любимого вождя во всей российской армии; я не смею сказать более, но такие люди знают, что делают, и сумеют отстоять то, что делают. Но, ваше высочество, – добавил он, – моя шпага, моя жизнь принадлежат вам как теперь, так и всегда. Скажите, что должен я делать?

В его словах, во всей его фигуре видна была решимость и энергия.

Елизавета глубоко задумалась. Жизнь так прекрасна. Так прекрасен стоящий перед ней сейчас ее рыцарь. Она так еще молода! Не

вмешиваясь в игру, она сохранит все, чем наслаждается теперь. Вмешавшись же, она рискует всем ради сомнительной авантюры. Минутный пыл ее прошел. Настоящее было так прекрасно для ее двадцатилетнего сердца, что она боялась поставить его на карту.

Она долго молчала, пристально глядя на почтительно склонившегося перед ней Бутурлина, и в ее больших глазах с расширенными зрачками горело пламя молодой любви. Наконец, тряхнув головой, она решительно произнесла:

– Благодарю вас, Лесток, на этот раз я решительно отказываюсь.

Лесток словно погас. Его одушевление исчезло. Он понял, что только пламенной волей и непоколебимой уверенностью в победе можно достигнуть победы. В голове его мелькнула смутная мысль, что если бы он сразу поддержал ее тревогу, что ее идут арестовать, он мог бы принудить к энергии эту чувственную и сонную душу. Он запомнил этот урок и через десять лет блистательно воспользовался им.

Низко поклонившись и поцеловав протя-

нутую руку, Лесток, опустив голову, молча вышел из спальни.

– Бедный Петруша, – произнесла Елизавета, – он был такой добрый, – ее глаза наполнились слезами, – а тут крови хотят.

Она притянула к себе руку Бутурлина.

– Однако этот разбойник разогнал мой сон. Не позавтракать ли нам, Александр Борисович?

VII

Лопухина не спала. Переодевшись в легкое белое ночное платье, она в волнении переходила из комнаты в комнату. Она пробовала и заснуть, но не могла. То в ней возрождалась безумная надежда, что император выздоровеет и все будет по – прежнему, то она с ужасом представляла себе воцарение цесаревны Елизаветы или провозглашение императрицей государыни – невесты. И в том и другом случае ее блестящая карьера кончена. Елизавета ненавидела ее, как свою соперницу и как Лопухину. Долгорукие исстари враждовали с Лопухиными; кроме того, надменная княжна Екатерина тоже видела в ней сопер-

ницу, и потом – какое унижение признать своей повелительницей эту гордую девчонку!..

Ее сердце замерло, когда она услышала перед домом шум и голоса.

Через несколько минут в комнату входил Степан Васильевич – и какое счастье! – вместе с графом Рейнгольдом. Рейнгольд был заметно успокоен.

– Ну что, что? – торопливо бросилась она навстречу мужу.

– Наташа, – торжественно произнес Степан Васильевич, – император преставился.

Лопухина побледнела и осенила себя крестным знаменем.

– Царство небесное. Но кто же избран? – спросила она.


– Герцогиня Курляндская, – ответил Рейнгольд. Лопухина вздохнула с облегчением и сразу повеселела.

– Наташа, мы поужинаем и поговорим, – озабоченно произнес Степан Васильевич. – Видно, спать не придется, не до того! К десяти опять в Мастерскую палату...

Роскошная столовая лопухинского дворца

была уже вся залита светом; под присмотром дворецкого многочисленные слуги уставляли стол. Когда все было подано, Лопухин знаком удалил всех.

В нем, как и во всех не участвовавших непосредственно в совещании верховников, кипела досада за то, что в таком важном вопросе его обошли, что вопрос был решен помимо всех, кто по своему положению и происхождению, казалось бы, должен был иметь право голоса. Его возмущение не знало пределов.

– Как! – говорил он. – Мы ждем – архиепископы, фельдмаршал Трубецкой, Ягужинский, Сенат, генералитет, – и что же! Совещались, совещались и вышли объявить свою волю: «Быть  де на престоле герцогине Курляндской». Объявили и пригласили всех сегодня в десять часов. Да кто власть им дал? – волновался Лопухин. – Это не земский собор, это всего лишь осьмиличный совет, как назвал его архиепископ новгородский... А потом! Что они замыслили?..

Лопухина медленно, маленькими глотками пила из хрустального бокала рейнское ви-

но.

– Ну что ж они замыслили? – спросила она.

– Про это никто толком не знает, – ответил граф Рейнгольд. – Объявив свою волю, эти господа снова ушли совещаться. Я говорил с Лестокком, он ушел с Остерманом. Андрей Иванович с ними не пошел снова на совет. Лесток сказал мне, после беседы с Остерманом, что верховники пишут какие-то пункты, чтобы ограничить власть императрицы и завладеть самим всею властью в империи.

– И нам об этом не сказали! – ударив кулаком по столу, воскликнул Лопухин. – Дети мы, что ли! Нет, – вскакивая, продолжал он. – Анна так Анна, это лучше другого, но только не они!

– Я еще видел сейчас, уезжая из дворца, князя Шастунова, адъютанта фельдмаршала Долгорукого, – снова сказал Рейнгольд. – Он сказал мне, что теперь на Руси будут новые порядки; я спросил: какие же? – а он ответил: посвободнее.

При имени князя Шастунова Наталья Федоровна слегка покраснела.

– А вы, значит, не знаете, какие пункты со-

ставили министры? – спросила Лопухина.

– Никто этого не знает, – ответил с обидой Лопухин. – Никто не знает, что они еще готовят.

– А князь Шастунов знает? – оживленно продолжала Лопухина.

Рейнгольд бросил на нее быстрый, вопрошающий взгляд и ответил:

– Он должен знать. Он ведь ближайший адъютант фельдмаршала Долгорукого.

– Ну, и мы должны знать, – отозвалась Наталья Федоровна.

Степан Васильевич сел за стол и налил себе вина.

– Легко сказать – должны знать, – проговорил он. – Они прежде окрутят императрицу, заберут всю власть в руки, а тогда и скажут.

– Эти вести императрица должна впервые узнать не от них, – задумчиво произнесла Лопухина. – Она прежде должна узнать, что ни Сенат, ни Синод, ни генералитет не ведали того, что творили министры. Да, – с убеждением повторила Наталья Федоровна – не от них она должна узнать впервые эти вести, чтобы быть готовой и понять, что происходит здесь.

На ее чистом белом лбу прорезалась морщинка. Она сдвинула брови и сосредоточенно думала.

– Так через кого же? – воскликнул Лопухин. – Мы ничего не знаем!

– Через нас, – спокойно ответила Наталья Федоровна, – и мы узнаем.

Муж с недоумением смотрел на нее, но по улыбке, скользнувшей по губам Рейнгольда, было видно, что Рейнгольд начинает понимать ее.

– Мой брат Густав хорошо знает герцогиню, он живет в Лифляндии, – проговорил он и потом словно с гордостью добавил: – Брат был близок, очень близок к герцогине.

– Но нам надо знать их замыслы, – сказал Лопухин. Наталья Федоровна встала с места и подошла к мужу.

– А за это берусь я, – сказала она с тихим смехом. – На всякого Самсона найдется Далила...

Она положила на плечо мужа руку.

– Наташа, я не понимаю тебя, – нахмурился, произнес Степан Васильевич.

Но Рейнгольд уже понял. Перед темным,

полным неожиданных опасностей будущим затихла ревность любовника. Он поднялся.

– Уже светает, надо хоть немного привести себя в порядок, – сказал он, целуя руку Лопухиной. – Ах, да, – вдруг добавил он, – завтра вам хотел представиться князь Шастунов. Он сказал мне сегодня.

Наталья Федоровна ответила ему взглядом, и в этих загоревшихся глазах он мог бы прочесть многое, если бы не был так занят собою...

За большим столом, заваленным рукописями и книгами, сидел в своем кабинете князь Дмитрий Михайлович Голицын. Князю уже было шестьдесят лет, но его энергичный взгляд, все его движения, голос были полны еще не угасшей силы. На сухом, красивом лице его, так напоминавшем лицо его двоюродного брата князя Василия Васильевича, знаменитого любимца Софьи, прозванного иностранцами «великим Голицыным», было выражение привычной работы мысли.

Среди книг, лежавших на столе, сочинений Локка, Гуго Гроция и прочих, почетное место занимало сочинение Макиавелли» П

principe».

По ту сторону стола в кресле сидел нестарящийся, всегда изящный и красивый князь Василий Лукич, кого голштинский посланник Бассевич считал» le plus poli et le plus aimable des Russes de son temps».[5]

Разложив перед собою лист бумаги, Голицын редактировал письмо от Верховного тайного совета новоизбранной императрице и пункты, или кондиции, ограничивающие ее самодержавные права.

– Это пока, – говорил Голицын. – Это только для нее, дабы знала она, чего может ждать. Это первый шаг на пути гражданского устройства. Тут, – он ткнул пальцем в лежащий перед ним лист, – тут мы говорим вообще.

Василий Лукич кивнул головой.

– Не забудь, – произнес он, – включить в пункты, дабы она не привозила в Москву своего Бирона.

Василий Лукич вспомнил данную им Бирону пощечину.

Дмитрий Михайлович ответил:

– Это мы скажем в инструкции тебе, когда

поедете в Митаву. Вот мой проект, – он указал на толстую тетрадь, – его надо будет немедленно осуществить. Только тогда можно будет сказать, что не ради личной выгоды и властолюбия действовал Верховный тайный совет. Мы взяли на свою душу будущее России, пусть же потомки не упрекнут нас. Уже и теперь говорят о чрезмерном властолюбии Долгоруких и Голицыных. Пусть говорят. Наши дела оправдывают нас.

На бледных щеках Голицына выступил румянец. Он встал и, ударяя рукой по тетради, воодушевленно продолжал:

– Кроме Верховного тайного совета будет еще шляхетская палата, камера низшего шляхетства. Эта палата будет ограждать права шляхетства от посягательств Верховного тайного совета, буде случатся таковые. Сенат станет на страже правды, независимо ни от Верховного тайного совета, ни от шляхетской палаты, а для защиты простонародья и интересов торгового люда – палата городских представителей. Вот мой проект. Исчезнет беззаконие, исчезнут фавориты и случайные люди. А там, князь, – продолжал вдохновенно Голи-

цын, – мы освободим от рабства народ, чего хотел еще мой двоюродный брат при царевне Софии. И знаешь, Василий Лукич, – пониженным голосом, словно с благоговением, добавил Дмитрий Михайлович, – знаешь, если бы царевна София провластвовала еще десять лет, Василий Васильевич добился бы этого. Это был великий человек. И не любил его Петр за то, что он был велик. Петру Алексеичу было бы тесно с ним вместе.

– Да, – задумчиво произнес Василий Лукич, – надлежит исправить нашу историю.

– И обессмертить себя, – закончил Голицын.

– А теперь, пока Анна не утвердила кондиций, надо все держать в тайне, – сказал Василий Лукич, – дабы мы не познали слишком скоро свою смертность.

При этой шутке вдруг мгновенная жуткая тревога, как предчувствие неизбежной гибели, сжала его сердце. Но это было одно мгновение. Он улыбнулся и сказал:

– Я умел ладить с герцогиней Курляндской.
Дмитрий Михайлович взял лист и громко прочел:

– «А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской».

Он положил лист и добавил:

– А коли не согласится подписать – то тоже лишена будет короны российской.

– Боюсь, что и подпишет, да не удержим, – вздохнув, произнес Василий Лукич.

– Это уже дело фельдмаршалов, – отозвался Голицын. – Я жду сейчас Василия Петровича, – прибавил он, – дабы вписать немедля в протоколы совета кондиции.

Голицын позвонил.

– Сейчас же приведите ко мне, ежели явится, Василия Петровича, – приказал он вошедшему слуге.

Тайный советник Василий Петрович Степанов, правитель дел Верховного тайного совета, всю ночь провел вместе с верховниками, составляя под диктовку кондиции. Так как диктовали чуть ли не все разом, то Голицын, забрав черновики, приказал Степанову приехать к нему часа через два за окончательной редакцией. Степанов не заставил себя ждать.

Он расположился за отдельным столом, разложил бумаги и торопливо стал переписывать письмо. В этом письме члены Верховного тайного совета, извещая императрицу о смерти Петра II и об избрании ее императрицей, добавляли: «...а каким образом вашему величеству правительство иметь, тому сочинили кондиции», и просили, подписав их, немедленно выехать в Москву.

Переписав письмо, Степанов передал его Голицыну и приступил к переписыванию вступления к кондициям. В это время Дмитрий Михайлович еще раз проглядывал самые кондиции.

Кондиции сопровождались вступлением, в котором объявлялось о восшествии на престол и заключались собственно три «накрепчайших обещания»: сохранять и распространять православную веру; в супружество не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять и, наконец, учрежденный Верховный тайный совет, в восьми персонах, всегда содержать.

Когда Степанов кончил переписывать вступление кондиций, Голицын встал с лист-

ком в руках и, ходя по комнате, медленно и отчетливо начал диктовать самые пункты, или кондиции:

«1. Ни с кем войны не начинать.

2. Миру не заключать.

3. Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать.

4. В знатные чины, как в стацкие, так и в военные сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета.

5. У шляхетства живота, имения и чести без суда не отымать.

6. Вотчины и деревни не жаловать.

7. В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного совета не производить.

8. Государственные доходы в расход не употреблять. И всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать.

А буде, чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской».

– Амен! – громко произнес Василий Лукич. – С Богом, Дмитрий Михайлович, подписывайся за тобой.

Дмитрий Михайлович внимательно перечел написанное Василием Петровичем и, взяв перо, торжественно, медленно, словно с благоговением, подписал письмо. За ним подписался и Василий Лукич.

– Ты оставайся у меня, Василий Лукич, и ты, Василий Петрович, – сказал Голицын. – Вон уже и светло. Хоть часок да соснуть.

– Ладно, – ответил Долгорукий. Степанов поклонился.

В эту же ночь фельдмаршалы объезжали полки, на случай тревоги проверили посты и караулы. Василия Владимировича сопровождал князь Арсений Кириллович. Все было спокойно.

VIII

Старый князь Шастунов Кирилл Арсеньевич был сыном боярина Арсения Кирилловича, друга и сподвижника князя Василия Васильевича Голицына. Он был участником всех начинаний великого Голицына и после падения Софьи разделял с ним опалу. Он вскоре умер, оставив единственного сына. В семье Шастуновых, по старой семейной традиции, старший в роде непременно звался Арсением, если отец был Кириллом, и Кириллом, если отец был Арсением. Так в роду и чередовались эти два имени.

Кирилл Арсеньевич был отмечен Петром I и в числе других стольников тогда же, как и князь Дмитрий Михайлович Голицын, был отправлен за границу. По возвращении отсюда он служил в Преображенском полку, участвовал в сражениях под Лесным и Полтавой, затем был сенатором.

Во время процесса несчастного царевича Алексея он был одним из тех, кто имел мужество отказаться подписать смертный приговор цесаревичу, за что впал в немилость и

должен был уехать в свою смоленскую вотчину. К тому времени умерла его жена из рода Леонтьевых, родичей царицы Натальи Кирилловны, сам он стал прихварывать и занялся исключительно воспитанием сына Арсения.

Старый князь по своим взглядам принадлежал к числу тех вельмож, которых можно было назвать «двуликими Янусами», стоящими на рубеже двух эпох русской цивилизации – московской и европейской.

Он представлял собою сочетание старинного московского боярства и европеизма. Он не был врагом реформ, но вместе с тем не сочувствовал стремительной ломке старых заветов Петром I. Ему более по душе были реформы и замыслы Василия Голицына; они казались ему более отвечающими духу народа. Чрезмерное увлечение Петра иноземцами казалось ему вредным и обидным для русских. Он смутно чувствовал, что только гений Петра мог спаивать разнородные элементы и что с его смертью, при его наследниках, не одаренных его гением, иноземцы неминуемо захватят Россию во власть. Он отдавал должное

талантам таких иноземцев, как Остерман и Миних, но все же они были чужды России, и Россия была чужда им. Сдерживаемые железной рукой Петра, они шли в поводу, послушные его воле. Но раз эта узда оборвется – чужие люди станут вершителями судеб России.

В царствование Екатерины старик был забыт, да и не имел ни малейшего желания напомнить о себе, так как давно уже от души ненавидел Меншикова. Отрок – император, вернее, его бабка царица Евдокия вспомнили его роль в процессе царевича Алексея и вызвали его ко двору.

Но он был стар, слаб, сын находился за границей, и он отписался. О нем снова забыли. Но когда старик узнал об опале Меншикова, потом о возвышении Долгоруких и предстоящей свадьбе царя, он немедленно выписал сына.

Записав сына при рождении в Преображенский полк, старик сам всецело занимался его воспитанием, пригласив в помощь француза Шарля Кордье, служившего при посольстве при резиденте Леви. Кордье занимал незначительную должность, вроде перепис-

чика, и с радостью принял предложение.

Когда Арсению исполнилось семнадцать лет, князь отправил его, в сопровождении Кордые и молодого расторопного дворового Васьки, в Европу. Молодой князь пробыл год в Гейдельберге, потом в Сорбонне. Благодаря своему имени и богатству он был принят в самых аристократических домах Парижа и при дворе. Между прочим, в Париже он успел сблизиться с русским послом, сыном канцлера, графом Александром Гаврилычем Головкиным.

Получив приказание отца, он немедленно выехал из Парижа. Кордые не вернулся в Россию. Он остался на родине. —

Несмотря на многолетнюю разлуку, князь не долго позволил себе предаваться радостям свидания. Он торопил сына.

– Пора послужить. Поезжай, – говорил он, – род Шастуновых не должен быть сзади других. Ты не уронишь своего достоинства. Я вижу тебя. Помни одно: старайся быть первым везде и всегда. На поле битвы – будь впереди. На балах – танцуй лучше всех. Случится играть в карты или кости – денег не жалея. Ша-

стуновы, слава Бегу, богаты. Женщины... Ну, не мне тебя учить... сам выучился в Париже. Одно говорю: денег не жалей ни на что. Меня не разоришь. Только вот тебе мой завет, единственный, нерушимый: береги честь, будь верен царю. Чти в нем помазанника Божия, не посягни, храни тебя Бог, на его священные права. Богом дан он. Блюда и храни мои заветы.

Молча слушал его князь Арсений, и в его воображении живо проносились сцены из пережитого им за границей. Новые мысли, новые чувства... Последние слова отца больно отозвались в его сердце, но он не смел ничего сказать.

Старик дал ему письмо к своему старому другу фельдмаршалу князю Василию Владимировичу Долгорукому, тоже в свое время еще сильнее пострадавшему по делу 1718 года.

Тогда же он был лишен чинов, имений и сослан в Соликамскую, где и томился до дня коронации Екатерины в 1724 году, когда был возвращен из ссылки. Но лишь при вступлении ее на престол вернул себе прежнее положение. В сопровождении неизменно-

го Васьки Арсений Кириллович отправился в Москву.

Сын не успел поговорить с отцом, да едва ли и решился бы на это, до такой степени он чувствовал себя далеким от отца, несмотря на всю свою любовь и уважение к нему. Пребывание в Париже оставило в его душе глубокий и таинственный след благодаря некоторым связям с лицами, пока для него загадочными, но, по – видимому, обладавшими странными тайнами.

Эти люди забросили в его душу новые идеи истинного христианства, свободы и братства и открыли ему широкие, манящие мистической тайной дали.

IX

Временно, до приискания соответственного помещения, молодой Шастунов поместился в Немецкой слободе у старой голландки Марты Гоопен, сдававшей свой дом под постой.

Старая Марта уже больше тридцати лет как обосновалась в слободе. Она имела там большой двухэтажный дом с садом, конюшнями и всяческими угодьями. Весь нижний этаж занимала так называемая остерия, известная всем еще с молодости Петра, когда он нередко со своей компанией – Лефортом, Меншиковым, князем – кесарем Ромодановским, всешутейшим Зотовым и другими – кутили в ней.

С тех пор эту остерию не забывали. Там кутили, играли в карты офицеры, приезжали и штатские и иностранцы, принадлежащие к посольствам. Второй этаж Марта Гоопен сдавала под постой. Там нередко останавливались на несколько дней послы и резиденты до приискания помещения, свита иностранных принцев и вообще богатые люди, или

ненадолго приезжающие, или не находящие себе помещения.

Шастунов, помня завет отца, не жалел денег и занял большое помещение, состоящее из нескольких комнат, с хорошей обстановкой, коврами и зеркалами.

Он вернулся домой около шести часов. Было еще темно. Но остерия в нижнем этаже была ярко освещена, и оттуда слышались шумные и оживленные голоса. У дверей на улице стояли сани, возки. Кучера и фореиторы, ежась от холода, кутались в меховые полости саней и овчинные шубы.

Посреди улицы горели костры, и около них грелись дозорные и те, кто были одеты полегче. Пригревались и несколько оборванцев из голытьбы, от которой по улицам Москвы не было прохода.

Чтобы не проходить через остерию, во избежание встречи со знакомыми, Шастунов прошел во двор. Тут он увидел большую дорожную карету, около которой суетились люди с факелами и фонарями, разгружая вещи. Очевидно, приехал новый постоялец.

Шастунов услышал французский говор.

Маленький, худощавый человек, стоя у кареты, махал руками, подпрыгивал и все время кричал:

– Plus vite! Plus vite! Canailles prenes garde!..

[6]

Около него стоял высокий человек и молча наблюдал за выгрузкой вещей.

Шастунов подошел и спросил по – французски высокого человека:

– Кто приехал?

– Viconte de Brissac, monsieur[7], – вежливо, приподнимая шляпу, ответил высокий человек.

Шастунов прошел к себе. Васька встретил его и тотчас же сообщил, что в соседство приехал какой-то иностранец, француз. Васька за время пребывания барина за границей выучился понимать французскую речь и при случае мог даже объясниться.

В соседнем помещении слышалась возня. Вносили чемоданы, переставляли мебель.

Хотя Шастунов и сильно устал за весь день, но спать ему не хотелось; уже к девяти часам ему было приказано явиться с нарядом в двадцать человек в Мастерскую палату. Он

видел, что даже сам фельдмаршал Долгорукий не мог скрыть некоторой тревоги за завтрашний день. Спать было некогда.

Василий сбегал в остерию за ужином и скоро вернулся в сопровождении самой дочери хозяйки, хорошенькой Берты. Берта была деятельной помощницей матери и сама прислуживала особенно почетным гостям, к числу которых принадлежал и Шастунов. Кроме того, было заметно, что молодой офицер очень нравился ей. Берта недурно говорила по – русски, но прекрасно владела немецким языком, на котором и говорила с Шастуновым, так как ее родного языка, голландского, он не знал.

Вся раскрасневшись, Берта торопливо накрыла стол, все время искоса поглядывая на красивого постояльца, но Арсений Кириллович не замечал ее присутствия, что, по – видимому, сильно огорчало молодую голландку. Она уже привыкла, что этот красивый офицер всегда так ласково говорил и шутил с нею.

Приготовив стол, она тихо вздохнула и вышла.

Едва Шастунов, сильно проголодавшийся, принялся за еду, как в соседней комнате раздался осторожный стук в двери. Шастунов услышал коверканую французскую речь Василия.

Видимо, чрезвычайно гордясь своими познаниями во французской речи, Василий, широко осклабясь, появился на пороге.

– Что там? – спросил князь.

– Камердир мусью виконта Бриссакова приходил, – отозвался Василий. – Мусью Бриссаков хочет видеть ваше сиятельство.

Шастунов удивленно поднял брови.

– Проси же его, – приказал он. Василий ментально исчез.

В соседней комнате слышались шаги. Шастунов встал с места и пошел навстречу. На пороге показалась стройная, худощавая фигура в черном атласном камзоле, белых чулках и черных туфлях с золотыми пряжками. Белое кружевное жабо оттеняло смуглое, с резкими чертами, красивое лицо с высоким лбом, вокруг которого беспорядочно лежали темные вьющиеся волосы, не прикрытые париком. Необыкновенно большие глаза пора-

жали своей ясностью и острым, пронизательным выражением. Виконт Бриссак остановился у порога и, поклонившись, проговорил:

– Прошу извинить меня, князь, я только что приехал и, узнав, что вы мой сосед и спать не собираетесь, поспешил восстановить с вами наше мимолетное знакомство в Париже.

Он снова поклонился. Какое-то смутное воспоминание промелькнуло в уме Шастунова.

– Милости просим, виконт, – радушно ответил он, протягивая руку. – Благодарю вас за честь посещения. Поверьте, завтра или, точнее, сегодня я сам счел бы долгом приветствовать вас. Садитесь, виконт, и не обидьте меня отказом разделить со мною мой скромный ужин, вернее, завтрак...

Князь улыбнулся. Виконт поблагодарил.

– Но простите, виконт, – начал князь, – хотя ваше лицо мне очень знакомо, но боюсь сознаться в своей непростительной забывчивости.

– Это очень естественно, – улыбаясь, ответил де Бриссак. – Мы встречались с вами в

слишком многолюдном обществе и не были друг другу представлены. В Версале, среди тысячи приглашенных, вы, конечно, не заметили меня. Ведь парижанин в Париже не редкость. Не правда ли, князь? Но русский князь – это уже редкость. Вот почему я запомнил вас. А потом я раза два встречал вас у шеваляе Сент – Круа, – медленно, с расстановкой закончил виконт.

При имени шеваляе князь вздрогнул; множество воспоминаний и впечатлений об этом загадочном человеке пронеслось в его уме.

– Да, теперь я вспоминаю, – с усилием произнес он.

– Шеваляе сохранил о вас лучшие воспоминания, – продолжал виконт. – Он очень интересуется вашей судьбой.

Шастунов овладел собою и, наливая гостю вина, сказал:

– Для путешествия к нам, дорогой виконт, вы выбрали неудачное время. Вместо свадьбы вы попали на похороны...

– Да, – ответил виконт, – это действительно грустно. Этот юноша подавал так много надежд. Боюсь, что новый выбор не заменит его.

Шастунов кинул на него удивленный взгляд.

– Как, вы уже знаете? – воскликнул он.

– Что? – ответил виконт. – Что избрана императрицей курляндская вдовствующая герцогиня? Что вы в составе посольства едете к ней в Митаву и везете ей предложение короны под условием ограничения ее власти?.. Да, это мы знаем.

Широко раскрытыми глазами глядел на него Шастунов.

– Но, виконт, – наконец произнес он, – вы говорите удивительные вещи. Я еще сам не знаю о том, что вы сказали. Я через час выступаю с караулом в Мастерскую палату и про посольство в Митаву ничего не знаю. Раз вы знаете, я не стану скрывать, что существует предположение ограничить императорскую власть.

Виконт задумчиво слушал его.

– Не удивляйтесь, дорогой князь; разве у шевалье вы не видели более удивительных вещей? Незримые нити протянулись по всему миру. Идеи бескрылые, но вольные незримыми путями переносятся с места на место,

как семена цветов, как их пыль, разносимая ветром.

Он замолчал и, казалось, задумался.

– У вас есть поручение от вашего правительства? – тихо спросил Шастунов, словно боясь обидеть своего гостя.

– У меня нет правительства, – спокойно ответил Бриссак. – Всемирное братство правды и свободы может иметь только одно правительство... там... – и де Бриссак указал вверх. – Итак, дорогой друг, – переменяя тон, заговорил он, – вы едете в Митаву.

Шастунов сделал протестующий жест.

– Пусть будет так, – продолжал Бриссак. – От имени шевалье я должен сказать вам одно. Не старайтесь сегодня увидеть женщину с черными глазами и берегитесь ее.

Арсений Кириллович побледнел. Он знал только одни черные глаза, и они преследовали его во сне и наяву... Глаза Лопухиной.

– Я хотел вас просить об одном, – услышал он голос виконта. – Скажите, где я могу увидеть князя Василия Лукича Долгорукого? У меня есть письмо от почтенного отца Жюбе, притом мы с ним старые знакомые. Вот еще

письмо от вашего посланника в Париже его отцу, канцлеру-

Шастунов был очень взволнован, тем не менее он любезно сообщил виконту, что лучше всего ему обратиться к резиденту французского двора Маньяну и вместе с ним поехать завтра в Мастерскую палату, где он найдет и князя Василия Лукича, и графа Головкина.

Виконт поблагодарил и, вставая, добавил:

– Нам еще о многом надо будет переговорить, дорогой князь. А теперь, до свидания. – И он ушел, оставив Арсения Кирилловича взволнованным и потрясенным его загадочными предупреждениями и необъяснимой осведомленностью.

Не успел виконт переступить порог, как Василий принес князю записку.

– Берегитесь черных глаз! – крикнул Бриссак, увидя записку, и с поклоном исчез.

Записка была от Лопухиной. Она звала князя непременно зайти сегодня. Шастунов несколько раз перечел эту записку, потом поцеловал ее и спрятал на груди.

Х

Было пора. Князь Шастунов переоделся. Но все время его не покидала смутная тревога, вызванная словами Бриссака... В бытность в Париже Арсений Кириллович познакомился на одном из придворных празднеств с шевалье Сент – Круа. Этот шевалье пользовался странной репутацией. Не то чернокнижника, не то колдуна. Почему то шевалье обратил на молодого князя внимание. Князя тоже что то странно привлекало в этом кавалере, всегда холодном, сдержанном, казалось, чуждом всем страстям. Они сблизились. Осторожный и сдержанный, Сент – Круа мало – помалу овладел волей молодого князя. Он говорил ему о всемирном братском союзе, цель которого – свобода народов и борьба со всяким произволом и деспотизмом. Он говорил о равенстве людей и сопровождал свои слова странными и зловещими предсказаниями. Часто среди веселых празднеств в Версале он становился мрачен и задумчив.

– Юный друг, – говорил он князю, – смотрите на этих людей, таких гордых, прекрасных,

считающих себя выше всех, как будто весь мир создан для их удовольствия. Их дети, их внуки кровью расплатятся за них...

Несколько раз Шастунов бывал у шеваляе. Однажды, еще до получения от отца приказа ния возвращаться в Россию, Шастунов был у него. На прощанье шеваляе, пожимая руку, сказал:

– Вы завтра или послезавтра выезжаете в Россию на бракосочетание вашего императора. Если б я мог, я задержал бы вас, вы поспеете не к свадьбе. Вас стережет судьба... Но если что возможно будет сделать – мы сделаем. Жаль, что вы уезжаете так рано. Еще немного, и вы poznали бы свет истины.

– Но я не собираюсь ехать, – ответил Арсений Кириллович, непонятно смущенный словами Сент – Круа.

Шеваляе улыбнулся.

– Но, однако, вы уедете, – проговорил он.

На следующий день Шастунов получил письмо от отца. Он был поражен. Он вспомнил предсказанную шеваляе смерть молодой красавицы маркизы д'Арвильи, вспомнил, как на одном балу, в игре в фанты, когда ше-

валье Должен был изображать пророка, он предсказал молодому графу де Ласси смерть от лисицы... Через неделю граф на охоте за лисицей упал с лошади и разбил себе голову... О предсказаниях шевалье ходили целые легенды; в обществе его несколько боялись, потому что его предсказания всегда были зловещи.

А между тем все слова его дышали благородной жаждой свободы и глубоко западали в душу Арсения Кирилловича; все его поступки отличались высокой добротой.

Накануне отъезда князь пришел попрощаться к шевалье.

– Итак, вы уезжаете, – сказал Сент – Круа. – Ну, что ж! Судьба ведет вас вперед. В трудную минуту вашей жизни я постараюсь вас предостеречь через кого-нибудь и помочь вам. Вы молоды и потому самонадеянны. Но не пренебрегайте предостережениями, полученными от меня. Может быть, мы еще свидимся. Помните одно: я буду следить за вашей судьбой.

Взволнованный и искренно тронутый, Ша-стунов поблагодарил шевалье и на другой

день рано утром выехал на родину.

Все это вспомнил Арсений Кириллович, и предупреждения Бриссака принимали в его глазах особое значение. Но бояться черных глаз! Этих глаз, полных сладостных обещаний!.. Глаз, очаровавших его, смотревших на него с такой томной негой...

Он вынул письмо и еще раз прижал его к губам.

Он поехал в полк и оттуда с назначенным отрядом, в состав которого вошел еще офицер, прапорщик Алеша Макшеев, к девяти часам был уже на месте назначения, в Мастерской палате в Кремле, где обычно происходили заседания Верховного тайного совета.

Огромные залы кремлевского дворца были переполнены народом. Верховники, чтобы по возможности придать своему решению характер общего избрания, пригласили не только высших сановников, но и простое шляхетство, то есть служилое дворянство, до чина бригадира.

Все с нетерпением ждали появления верховников. Глухое раздражение чувствовалось в толпе ожидающих. Высшие чины и знатные

люди были обижены поведением верховников, третье сословие – шляхетство – считало себя вправе тоже выразить свое мнение при решении такого важного вопроса. Потом, несмотря на строгую тайну, соблюдаемую верховниками, уже сделалось известно, что верховники что-то затеяли к перемене государственного строя. Распространению этих слухов способствовал Ягужинский, конечно, имевший сведения от своего тестя – канцлера. И духовенство, и генералитет, и шляхетство – все боялись, что при дележе самодержавной власти они будут обделены, и при этом чувствовали себя совершенно беспомощными, во власти Верховного тайного совета. По приказанию фельдмаршалов внутренние покои заняли караул лейб – регимента и рота кавалергардов. Вокруг дворца тесным кольцом стояли преображенцы и семеновцы. Собравшиеся во дворце чувствовали себя под стражей. В то же время среди верховников происходили некоторые разногласия. Князь Дмитрий Михайлович настаивал на том, чтобы всем собравшимся объявить вкратце кондиции и сообщить о дальнейшем

их развитии, согласно выработанному им проекту, Голицын имел в виду особенно шляхетство.

– Нельзя скрывать это дело, – говорил он, – пусть шляхетство видит, что не о своей выгоде заботимся мы. Скрывая, мы умножим дурные и тревожные слухи. Мы наживем себе врагов вместо того, чтобы найти союзников.

Против этого возражал Василий Лукич. Он указывал на то, что шляхетство может сразу представить свои требования и не согласиться на предложенные.

– Теперь не время обсуждать все подробности, – закончил он. – Будет время, когда мы уже заручимся согласием государыни обсудить все вместе со шляхетством. Раз будет согласие государыни, никто не посмеет спорить с нами.

Это мнение одержало верх.

Фельдмаршалы решительно объявили, что они ручаются за полное спокойствие Москвы.

Князь Шастунов, расставив во внутренних покоях посты, из любопытства прошелся по залам. Издали он увидел французского резидента Маньяна в шитом золотом камзоле и

рядом с ним темную фигуру Бриссака. Бриссак приветствовал его любезной улыбкой. Около них стоял генерал Кейт, Яков Вадимович, как его звали, шотландец по происхождению. Навстречу князю попался капитан Сумароков. Он дружески пожал руку Арсению Кирилловичу. Но по его лицу Шастунов заметил, что он чем-то расстроен. Сумароков был действительно расстроен. Он был обижен тем, что командование караулом лейб – регимента в такой ответственный день было поручено не ему, а младшему чином Шастунову. В этом Сумароков не без основания видел некоторые признаки недоверия. Он сопоставил с этим пренебрежительно – недоверчивое отношение верховников лейб – регимента. А ведь он был адъютантом Ягужинского. Шастунов тоже был немного удивлен этим.

Тяжелой поступью через залу проходил высокий генерал в сопровождении молодого гвардейского капитана.

– Это князь Юсупов, подполковник Преображенского полка, Григорий Дмитриевич, – торопливо произнес Сумароков.

Бледное, решительное выражение лица

князя Юсупова с черными, небольшими острыми глазами, слегка выдающимися скулами поразило Шастунова. Он с невольным любопытством следил за этой высокой фигурой. Князь Юсупов своей тяжелой походкой прямо шел в залу, где совещались верховники. За ним последовал и адъютант. К удивлению Шастунова, перед князем Юсуповым часовые, поставленные у дверей, брали на караул, и он беспрепятственно прошел во внутренние покои.

– Все, все за них, – со сдержанной злобой произнес Сумароков, следя глазами за уходящим Юсуповым.

– Разве дурно то, что они делают? – произнес князь, в упор смотря на Сумарокова.

На лице Сумарокова появилась судорожная улыбка. Он махнул рукой и торопливо отошел прочь. Тревожное настроение в зале росло.

Наконец верховники вышли к собравшимся. Глубокое молчание встретило их появление.

Князь Шастунов вышел в переднюю залу, согласно полученным им раньше инструкции-

ям. Он остановился у большого входа, через который ему велено было никого не пропускать. Это был единственный вход, широкий и свободный, через который могли бы войти солдаты, и этот вход на всякий случай было приказано особенно охранять Шастунову. Очевидно, верховники не чувствовали себя очень спокойными. Они ожидали, быть может, какой-нибудь попытки со стороны цесаревны Елизаветы или их других врагов, как князь Черкасский или фельдмаршал князь Трубецкой. Но все было тихо.

Шастунов сел в кресло, чувствуя себя страшно усталым. Он столько испытал за эти сутки, что просто голова шла кругом. Он незаметно задремал. Прошло около получаса, как его разбудили громкие крики, доносившиеся из внутренних зал:

– Виват императрица Анна Иоанновна!

Он вскочил с места.

Крики затихли, их заменили оживленные голоса, движение, шум шагов. Присутствующие расходились с оживленными разговорами, обмениваясь впечатлениями.

Князь Шастунов заметил, что все были

разочарованы и недовольны. И они имели основание быть недовольными. Повторилось то же, что было ночью. Почти в тех же выражениях, как и ночью, только перед большим количеством» чинов», Дмитрий Михайлович объявил о» поручении» престола герцогине Курляндской и просил на то согласия собрания. Собравшиеся выразили его криками:

– Виват императрица Анна Иоанновна!

Но о том, о чем они смутно знали и что надеялись услышать, – о новых условиях правления, – не было сказано ни одного слова...

XI

В душе Шастунова было одно желание – поскорее вырваться и лететь к Лопухиной. Дворцовые залы опустели. Все собравшиеся уже разъехались. Семеновский и Преображенский полки отпущены домой, отпущена была и рота кавалергардов под начальством капрала Чаплыгина, потом последовал приказ идти домой и наряду лейб – регимен – та, но остаться прапорщику Макшееву и Шастунову.

Уже стемнело, зажгли огни, а они все жда-

ли. Макшеев и Шастунов не знали, чем убить время, и оба не понимали, зачем задержали их. По их мнению, им нечего было делать. Но скоро их скука сменилась любопытством. Уже со двора вернули уезжавшего бригадира Палибина, заведовавшего почтами, что очень заинтересовало молодых людей. Палибин прошел в залу, где заседали верховники. Затем оттуда послышались нетерпеливые звонки и показался Василий Петрович, громко требовавший курьеров. Дежурившие в соседней зале, по приказанию совета, как обычно, курьеры бросились на его зов. Степанов с пачкой пакетов в руке торопливо говорил:

– Это в Коллегию иностранных дел – ответ немедля, это – по полкам, это – по заставам...

Он совал пакеты в руки курьерам.

– Духом, не медлить ни минуты.

– Ой, что♦то будет, – со вздохом произнес Макшеев. – Когда♦то Бог приведет выпасться!

Шастунов улыбнулся.

Сын богатейшего тульского дворянина Макшеев вел безалаберный образ жизни: карты, лошади, женщины наполняли его суще-

ствование. Был он смел, честен и благороден, но слыл в офицерской компании забубённой головушкой. Вторую неделю Шастунов был в полку и почти каждый день слышал, как Макшеев говорил:

– Когда ♦то Бог приведет выспаться!

Но, видно, мечта юного прапорщика отходила все дальше.

Заседание кончилось. Молодые офицеры вскочили с места и вытянулись, когда показались фигуры фельдмаршалов, а за ними и остальные члены Верховного тайного совета, усталые, взволнованные и торжествующие.

Фельдмаршал Василий Владимирович остановился около офицеров и своим отрывистым, резким голосом коротко приказал:

– Вы оба в ночь едете с князем Василь Лукичом в Митаву. В одиннадцать часов у Яузской заставы. Ни звука об этом никому. Тут ваша судьба, ваши головы и... Вы, поняли? Ни звука! – сурово добавил он, проходя дальше.

– В одиннадцать часов у Яузской заставы, – повторил, не останавливаясь, князь Василий Лукич. – Отдохните и соберитесь.

«Колдун, колдун», – пронеслось в голове

Шастунова. Он вспомнил слова Бриссака. У него замерло сердце. А черные глаза?

Лицо Макшеева вытянулось.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – тихо проговорил он вслед верховникам. – Когда же выспаться! Ну, делать нечего, князь. Поедем в остерию. Уже девятый час, долго ли до одиннадцати. Ты, кстати, и живешь там...

Но князь Шастунов отрицательно покачал головой.

– Мне надо еще кое – кого спроведать, – возразил он.

Макшеев лукаво подмигнул ему.

– Ну, ладно, – сказал он, – однако ты, брат, ловкий. Кажись, только десять дней в Москве, а уж... Ну, как знаешь. Я слетаю домой, а оттуда в остерию. Мимо дома, чай, не проедешь; значит, свидимся.

– Да, да, я заеду домой, – рассеянно ответил Шастунов.

Они вышли вместе.

Был ясный морозный вечер. Охваченный разнородными чувствами, Арсений Кириллович ехал по улицам Москвы. Было пустынно. Последние дни Шастунову действительно ка-

зались сном. Странно, сказочно вдруг сложилась его судьба. Он ехал в Россию, готовый к обычной карьере знатного и богатого гвардейца, и вдруг сразу попал в кипень событий, необычайных для России событий, могущих повернуть самодержавную Русь на новый путь, светлый и свободный, на тот путь, о котором уже смутно мечтала Франция, о чем говорил ему Сент – Круа.

Шастунов чувствовал гордость, что судьба сделала его участником великого исторического события. К этому примешалось еще чувство любви. Любовь вспыхнула в нем внезапно. Первая любовь! Катание, две – три встречи, взгляд – и все было кончено для его сердца. Какое♦то неизъяснимое очарование, какая♦то непонятная власть притягивала к Лопухиной всех, кто только приближался к ней. Она обладала какими♦то чарами, против которых никто не мог устоять. Кому удавалось протанцевать с ней – уже считал себя счастливым.

– Она колдунья! – сказала про нее один раз цесаревна Елизавета после одного придворного бала, не в силах сдержать своей ревни-

вой злобы.

И эта женщина, прекраснейшая из всех им виденных досель, царица красоты, вдруг обратила внимание на него, молодого, никому не известного офицера. Но он будет достоин ее! При новом правлении, где не будет случайных людей, где каждому широко будет открыто поприще славы, где можно выдвинуться не красивым лицом, не успехами на скользких полах дворцовых зал, а истинными достоинствами, он сумеет показать себя. Весь мир открыт перед ним... И когда он добьется славы, могущества, власти – он возьмет ее, эту гордую красавицу...

Но мгновениями какое-то тайное ощущение, как печальное предчувствие, шевелилось в его душе. В ушах его словно раздавался голос Бриссака: «Избегайте сегодня встречи... черные глаза... вы поедете в Митаву...»

Ну что ж, это случайность, он заранее узнал, что собирается в Митаву посольство. Может быть, он еще в дороге, не доезжая Москвы, получил эту весть от Маньяна. Кто знает, в качестве кого он явился в Россию?.. А черные глаза... Мистификация... Он просто

хотел пошутить... и притом из ста молодых гвардейских офицеров о девяносто пяти можно было сказать приблизительно то же без особой опасности ошибиться. Почти всякий мечтал о чьих-нибудь глазах и не сегодня, так завтра собирался на свидание...

И снова мысли о любви, счастье и славе наполнили душу молодого князя. И с этими мыслями, без робости и смущения, он вошел в дом Лопухиных. При его молодости он даже не останавливался на мысли, что было странно и необычно посланное ему Лопухиной приглашение. Она коротко написала ему, что, может быть, мужу по делам придется уехать, конечно, вместе с нею, в Петербург и перед отъездом она хотела бы повидать его.

XII

Лопухина приняла его в той же маленькой гостиной, где накануне принимала Левенвольде. Так же горели свечи под красными шелковыми абажурами, наполняя гостиную красным светом. Так же нежной лаской мерцали ее прекрасные глаза.

– Как мне благодарить вас, дорогой князь, – начала она по – французски в то время, как Арсений Кириллович целовал ее руку. – У меня так мало друзей, с которыми я бы хотела повидаться перед отъездом.

– Благодарю, – взволнованно ответил князь. – Вы не ошибаетесь. Если возможна дружба между мужчиной и женщиной – то я ваш друг.

Наталья Федоровна с видимым удовольствием глядела на своего молодого гостя. Его красивое, благородное лицо, его манеры, мужественная фигура, видимо, производили на нее впечатление.

С первой встречи этот чистый юноша волновал ее. Она невольно сравнивала с ним Рейнгольда – такого уже опытного, так много

пережившего. А она сама...

– Сядьте здесь, около меня, – с легким дрожанием в голосе произнесла она, указывая на табурет, где накануне сидел Левенвольде. – Скажите, вы очень устали, вы не спали ночь? Вы, должно быть, сердитесь на меня?

– Нет, сударыня, – серьезно ответил Шастунов. – Я глубоко благодарен вам за то, что вы вспомнили обо мне. Долг перед отечеством не может быть в тягость, а видеть вас, видеть вас... – он взволнованно замолчал.

– А видеть меня? – тихо спросила Лопухина, низко склоняясь к нему.

Аромат ее духов охватил Шастунова. Пышные кольца ее волос слегка коснулись его щеки.

– А видеть вас, – глухо произнес он, – награда, которой я еще не заслужил.

Он порывисто схватил ее за руки.

– Тсс! – произнесла она, освобождая руки. – Вы завоюете себе все награды... со временем.

И ее взгляд обжег Шастунова.

– Расскажите лучше пока, что происходит? – вкрадчивым голосом продолжала она. – Я живу как в тюрьме. Муж вечно в хло-

потах, никто меня не навещает. Я все одна и одна. Муж считает меня слишком глупой, чтобы серьезно говорить со мной. А между тем какие события, какие события! Она встала.

– Нет, клянусь вам, если бы все женщины чувствовали, как я, мы пошли бы впереди вас, мужчин. Пора положить этому конец. Разве мы действительно рабы? Разве мы не имеем права голоса? Мы повиновались грубой женщине с ее фаворитами, мы повиновались выскочке, пирожнику, мы повиновались ребенку с его разнузданными любимцами! Нам довольно этого! Но ведь я только женщина и, может быть, очень глупа, – упавшим голосом закончила она.

Шастунов с восторгом смотрел на нее.

– Мужчины уже решили это, – произнес он, вставая. – Слепы те, которые не посвящают в это женщин. Вы правы, мы намучились. Засыпая, мы не знаем, кем мы проснемся. Бог сжалился над нами. Смерть отрока – императора раскрыла нам ворота на иной, светлый путь. Герцогиня Курляндская не может не согласиться на кондиции.

– О, да, – бледнея, произнесла Лопухина.

Взволнованный Шастунов продолжал:

– Да, мы возьмем сегодня к ней эти кондиции.

Она должна согласиться, иначе ей не видать престола. Отныне не может она своей властью объявить гибельной войны или заключить постыдный мир, не может без суда, по своему произволу, никого карать или налагать подати и не привезет с собой Бирона. А дальше... дальше мы увидим...

Князь вдруг опомнился. Он выдал тайну. Он сказал все, что под страхом смертной казни не смел, не должен был говорить. И мгновенно черное облако воспоминания о Бриссаке закрыло его душу.

Он взглянул на Лопухину. Она неподвижно стояла, прислонясь спиной к шифоньеру в углу комнаты, и в ее широко открытых глазах выражался и восторг, и страданье, и что-то такое, от чего сладко заныло сердце Шастунова; так же мгновенно, как и появилось, исчезло воспоминание о Бриссаке.

Он сделал к ней шаг.

– О, зачем вы это сказали! – тихо произнесла она, закрывая лицо руками. – Не надо это-

го, не надо!..

– Но ведь это только вам, – дрогнувшим голосом произнес Арсений Кириллович. – Не упрекайте меня. Это тайна, которую я выдал вам. Мы поедем сегодня в одиннадцать часов с князем Василием Лукичом в Митаву. Вы теперь все знаете!.. Я не смел этого говорить, но я должен ехать сейчас, и я хочу, чтобы вы знали, как я люблю вас! И если бы мне сказали, что за одно мгновение вашей любви я заплачу головой, я бы за это мгновение радостно положил голову на плаху!.. Я люблю вас... и завуюю вас!.. Князь весь дрожал, голос его прерывался.

– И вы разделите со мной мою судьбу!..

Она стояла неподвижно, не открывая лица. Он тихо подошел к ней и взял ее за руки. С тоской и мольбою взглянула она на него.

– Не надо было говорить, – произнесла она едва слышно, тихо склоняясь головой к нему на грудь.

– Наташа! – воскликнул он, покрывая поцелуями ее мягкие волосы, шею, лицо.

– Оставь, – слабо шептала она, – оставь, Я дурная, я...

Но он прижался губами к ее губам. Далеко, в тумане, исчезал и расплывался образ Рейнгольда. Ах, зачем не понял он ее последнего взгляда! Зачем искушал ее! Анна, самодержавие, не все ли равно! Прекрасное, вдохновенное лицо юноши, говорившего о любви и свободе, заслоняло весь мир. Последняя мысль – «предательница» – вспыхнула и погасла под его жадными молодыми поцелуями...

Гордый и счастливый, не помня себя от счастья и восторга, возвращался Шастунов домой, чтобы наскоро захватить несложный багаж и лететь к Яузским воротам, казавшимся ему воротами счастья.

«Lasciate ogni speranza![8]»

Но на воротах не было этой роковой надписи...

И в то время как он, счастливый, как только может быть счастлив двадцатилетний юноша, впервые познавший восторг любви, спешил к неведомой судьбе, – она, его первая любовь, знаменитая красавица, чей один взгляд делал людей счастливыми, словно раненная насмерть, металась по своей красной

гостиной.

Ломая прекрасные руки, с распущенными волосами она бегала по комнате, громко повторяя: предательница, предательница!

Время шло. Она все узнала. Она понимала, какое огромное значение имело это тайное посольство. Знала, что судьба ее самой, ее сына, мужа, Рейнгольда и многих других, связанных с ней узами родства и дружбы, зависела от исхода начавшейся игры. От нее ждут... Она должна... О, если бы она была свободна! Она пошла бы сейчас за ним. Ее страстной, изменчивой, чисто женской природе были свойственны такие безумные увлечения и порывы. Их много было в ее жизни, и все они были искренни, глубоки, хотя кратковременны.

Она чувствовала, что во имя спасения близких она должна предупредить их, но в ее мятежную душу, как отравленная стрела, впивалась мысль, что этим она погубит этого юношу, с такой беззаветностью положившего к ее ногам свою честь и жизнь, что эта прекрасная голова, только что покоившаяся на ее груди, может лечь на плаху.

– Зачем! Зачем! – твердила она, ломая руки.

Сдержанный и осторожный граф Рейнгольд, тоже присутствовавший утром в кремлевском дворце, сумел узнать через графа Ягужинского общие сведения о кондициях. К тому времени и сам Ягужинский еще не успел узнать всех подробностей, так как уехал домой, не дождавшись окончания собрания верховников, рассчитывая узнать подробности несколько позднее у графа Головкина.

Он окончательно был взбешен. Он успел узнать, что в число членов Верховного тайного совета были избраны оба фельдмаршала, Долгорукий и Голицын, а он вновь обойден. Верховники нажили себе смертного врага.

Так как содержание кондиций было приблизительно известно Рейнгольду, он на всякий случай заготовил письмо к своему лифляндскому брату Густаву. Но он не знал ничего ни о посольстве, ни о том, что эти кондиции посольство везло к герцогине, ни о решении верховников взять назад избрание, если

герцогиня не согласится подписать их.

Однако Рейнгольд оставался во дворце до конца и видел, что князь Шастунов направился к Арбату, где стоял Дворец Лопухиных. Удостоверившись в том, что молодой князь отправился к Лопухиной на приглашение, написанное ею по его совету, тайком от мужа, бывший курляндский резидент решил, что у него есть еще время, и, не ощущая никакой ревности, спокойно отправился домой, или, лучше сказать, поужинать.

Он верно рассчитал время. Когда он, подкрепившись, Пришел к Лопухиной, князя уже не было.

Он застал Наталью Федоровну уже овладевшей собой. Она была спокойна, только чрезвычайно бледна, и в ее глазах Рейнгольд не увидел обычного приветствия любви. Впрочем, теперь он этим совершенно не интересовался. Теперь он был тем, то есть казался тем, чем был на самом деле: сухим, трусливым и себялюбивым придворным, боящимся за свою дальнейшую дворцовую карьеру.

– Ну, что? – было его первым вопросом, когда он рассеянно поцеловал руку Натальи Фе-

доровны.

– Я боюсь, милый Рейнгольд, – слегка насмешливо отозвалась Лопухина, – что вы опоздаете...

На лице Рейнгольда отразился ужас.

– Опоздаю? Я? Как? – растерянно произнес он.

– Сегодня, в одиннадцать часов, князь Василий Лукич везет в Митаву кондиции для подписи новой императрице, – холодно сказала Лопухина. – А мой дворецкий сейчас сообщил мне, что на всех улицах, ведущих к заставам, поставлены рогатки и стоят караулы.

И хотя Лопухина знала, что неудача Рейнгольда есть ее собственная неудача, она с непоследовательностью женщины глядела с нескрываемым злорадством на его растерянное, бледное лицо.

Он, казалось, сразу не понял ее слов.

– Но ведь мы тогда погибли! – воскликнул он наконец.

– Я думаю, – спокойно и холодно продолжала Лопухина, – что надо просто ждать дальнейших событий...

– Вы с ума сошли! – горячо воскликнул

Рейнгольд.

– Должно быть, – с загадочной улыбкой произнесла она.

– Кондиции мне отчасти известны, – медленно и задумчиво начал Рейнгольд. – Вы знаете еще что-нибудь? – спросил он.

– Кондиции лишают новую императрицу всякой власти, и если она их не подпишет, то ее не пустят в Москву, – , словно со злобной радостью говорила Лопухина. – Еще я знаю, что приятеля вашего брата, этого берейтора или конюшенного офицера, – не знаю точно, кто он, – Бирона, вообще ни в каком случае не пустят в Россию. Он может оставаться в Митаве при конюшнях ее высочества.

Рейнгольд побледнел еще больше. Как ни был он озабочен своим положением, от него не ускользнул странный тон Лопухиной. В его глазах сверкнул ревнивый огонек.

– Однако, – с раздражением произнес он, – вы словно рады.

Но его ревнивое раздражение происходило не от чувства любви, а от опасения, что, благодаря чуждому влиянию, из его рук ускользает сильная, ловкая, послушная союзница.

– Я рада? – с расстановкой произнесла Лопухина. – Я рада? Чему? Ах, – добавила она отрывисто, – оставьте меня в покое с этими интригами! Какое, в конце концов, мне дело до всего этого? Вы, мужчины, справляйтесь сами, как знаете!.. Какую роль вы готовите мне, Рейнгольд, и что я значу для вас? – Она гневно встала с загоревшимися глазами. – Еще вчера вы мечтали, что я могу сделаться любовницей императора! Нет, нет, не отрицайте этого, – почти закричала она, заметя его протестующий жест. – О, я знаю вас, вы были бы счастливы, если бы случилось это... А теперь чего хотите вы от меня? Чтобы я за нужные вам тайны продавала свою красоту?.. Довольно, довольно, Рейнгольд! Я устала, я не хочу больше ничего слушать. Справляйтесь сам, как знаете.

Ошеломленный сперва, Рейнгольд мало – помалу приходил в себя. Он уже привык к гневным вспышкам и неожиданным капризам своей своенравной любовницы, но был твердо уверен в своей власти над ней. Теперь же, занятый исключительно мыслью о своем положении, он мало вникал в сущность ее

СЛОВ.

– Вы не знаете, где они выедут? – спросил он.

– Через Яузскую заставу, – быстро, невольно ответила Лопухина и сейчас же крикнула: – Я устала, устала, понимаете вы это!

– В одиннадцать часов, через Яузскую заставу, – вставая, проговорил Рейнгольд. – Я теперь знаю все, что мне нужно. Я бегу. А вы, дорогая, постарайтесь успокоиться. Завтра мы будем в лучшем настроении, не правда ли? – закончил он, стараясь придать нежность своему голосу.

Она молча протянула ему руку. Он нежно и почтительно поцеловал ее и поспешно вышел. Долго неподвижным, загадочным взором она смотрела ему вслед.

Когда глубокой ночью Степан Васильевич вернулся домой со своего дежурства у праха императора, он застал ее тихо сидящей в детской над кроваткой своего шестилетнего сына Иванушки, ставшего тринадцать лет спустя ее невольным палачом. Глаза ее были полны слез.

XIII

Не прошло и часа с отъезда заведующего почтами Палибина и курьеров по полкам с приказаниями Верховного тайного совета, как уже от полков Вятского, Копорского и Бутырского один за другим выходили небольшие отряды под командой унтер – офицеров и становились постами на всех улицах, ведущих к заставам. Остальные солдаты были спешно посажены у застав на пароконные сани и отправлены по всем трактам, так как по приказу Верховного совета Москва должна быть оцеплена со всех сторон на расстоянии тридцати верст. Начальникам постов было отдано распоряжение пропускать из Москвы только лиц, снабженных паспортами: от Верховного совета. В Ямской приказ немедленно было передано Палибиным приказание задержать всю почту и никому не выдавать ни лошадей, ни подорожных. По всем ямщицким дворам, «ямам», было разослано запрещение сдавать лошадей.

Был небольшой мороз, но дул сильный, пронзительный ветер. Небо было покрыто об-

лаками.

У Яузской заставы, близ маленькой караулки, расположился пикет в четыре человека с унтер – офицером Копорского полка. Солдаты по очереди ходили греться в караулку. На тракте бесменно оставались двое. На краю дороги был разложен небольшой костер, у которого они грелись. Захватив под мышки тяжелые ружья, засунув руки в рукава своих легких кафтанов, в валенках, солдаты угрюмо переминались с ноги на ногу. Вдруг из темноты, в круге света, бросаемого костром, появилась фигура человека.

– Стой, кто идет? – послышался голос солдата.

Сурового вида старый солдат, взяв ружье на изготовку, стал перед костром. В ответ ему раздался старческий кашель, и дребезжащий голос ответил:

– Спаси Господи, милостивец. Пропусти, родненький.

Перед солдатом стоял сторбленный маленький старичок с длинной палкой в руках, на которую он тяжело опирался.

– Пропусти, родненький, – кашляя, продол-

жал старик. – Только бы до деревни добраться.

Старый солдат стоял в недоумении. Был приказ не пропускать подвод, а насчет пеших крестьян ничего не сказано. На старике был рваный, холодный зипунишко. Голову его обматывали какие-то тряпки. Он ежился от холода и жалобно повторял:

– Пусти, Христа ради, внучата ждут. Дочь больная...

– Позови-ка, Митяй, унтера, – произнес солдат, обращаясь к товарищу.

Митяй скрылся в караулке. Через минуту появился еще молодой, бравый унтер.

– Что? – строго спросил он, оглядывая подозрительным взглядом старика. —

Старый солдат объяснил ему, в чем дело.

– Ты откуда, дедушка? – спросил унтер.

– Из Черной Грязи, милостивец, – ответил, кланяясь, старик.

– Что ж недобрая понесла тебя так поздно? – продолжал унтер.

– По добрым людям ходил, милостивец, – ответил старик. – Дома, чай, есть нечего, зять – от помер. Дочь занедужилась... Внучата

махонькие... о какие! – и старец показал на аршин от земли.

Унтер стоял в недоумении.

– Так ты говоришь – из Черной Грязи? – спросил он.

– Так, так, милостивец, – ответил старик, – верста от Черной Грязи, чай, знаешь, деревня Кузькина.

– Ишь как, – проговорил унтер, почесывая затылок.

– Не побрезгай, милостивец, – произнес старик, подвигаясь к унтеру, и протянул ему руку. В ней звякнули монеты.

– Ну, ну, дедушка, – оттолкнул его руку унтер, сразу вдруг почувствовавший доверие к старику. – Может, обогреться хочешь?

– Какой там, милостивец, – добреду, ждут – от меня, – ответил старик.

– Ну, ладно, ползи себе, – махнул рукой унтер.

– Спасибо, спасибо, милостивец, так я пойду, – закашлявшись, произнес старик.

– С Богом!

Старик перекрестился, и, тяжело опираясь на палку, двинулся дальше. Скоро он исчез в

темноте.

Красной точкой сверкал вдали огонек ко-
стра. Старик выпрямился, подтянулся и лег-
ким, быстрым шагом скорохода продолжал
свой путь. Он осторожно нащупал за пазухой
пакет и глубоко, с облегчением вздохнул. Он
шел легким, эластичным шагом так скоро,
как бежит рысцей крестьянская лошадка.

Не доходя верст шести до Черной Грязи, он
свернул в сторону, по направлению к селу
Черкизову, – оттуда был объездной путь ло-
мимо тракта, минуя Черную Грязь...

Не прошло и получаса после его прохода,
как в Яузские ворота влетела, гремя бубенца-
ми, тройка, запряженная сытыми, резвыми
конями. В тройке сидел человек, закутавший-
ся в лисью шубу. Рядом с ямщиком на облуч-
ке сидел, видимо, слуга.

– Стой! – преградили ему путь солдаты.

Лихой ямщик разом осадил тройку. На до-
рогу выскочил унтер.

– Кто едет? – спросил он, выстраивая сол-
дат поперек дороги.

– От Верховного тайного совета, – ответил
незнакомец, вынимая из кармана бумаги. –

Только скорей, за мной едут, я курьер. Не задерживайте меня.

С бумагами в руках унтер вошел в караулку.

Хотя он и умел читать, но ни слова не мог разобрать из написанного. Однако он увидел привешенную печать с двуглавым орлом и смутился.

«Ну, ладно, – подумал унтер, – в Черной Грязи – ямской стан, там разберут...»

Инструкции, данные ему из полка, были неточны и неопределенны. Верховный тайный совет вместо того, чтобы категорически распорядиться никого не пропускать военным постам и представлять всех, стремящихся проехать, в ближайший почтовый пункт, предписал военным постам пропускать всех с паспортом Верховного тайного совета. Конечно, хотя выбрали в начальники постов исключительно грамотных унтеров и сержантов, но они не могли и не умели отличить паспорта тайного совета от простой бумажонки с нацепленной на ней печатью.

Унтер пропустил незнакомца.

Когда вдали замер звон бубенчиков, он

недоуменно развел руками, – разберись где тут, кого пропускать. Он вошел в караулку и от недоумения, чтобы не рассмеяться, хватил стаканчик водки. На душе его полегчало. С ним сидел за столом старый солдат, сменившийся с поста, и они, попивая водку, вели дружественную беседу. – Экая проклятая служба, – говорил унтер, – того и гляди, где в каземате сгноят. Гвардии что? Им бы золотые галуны да парады. Все перекинулись в гвардию... А мы при чем? Так ли, Афанасий?

– Верно, – подтвердил старый Афанасий. – Мерзни тут, а что толку? Был я с Петром Алексеевичем в Прутском походе. Что ж думаешь, такого отца родного не сыщешь... А ныне смотри, последние люди стали... И понять не можно, – продолжал Афанасий, – разве не едино, что гвардия, что армия? Всем помирать придется. Коли что, война али что другое, равно умираем... Не по – божески это...

Звон бубенцов, стук копыт и крики прервали их разговор. Они торопливо выбежали на тракт. По тракту неся целый поезд. Впереди скакали верхами два вахмистра. За ними неслись тройки. Вахмистры осадили у кара-

улки коней, и за ними остановился длинный ряд троек и пароконных саней. Молодой офицер в форме лейб – регимента выскочил из задней тройки и подбежал к караулке. Увидя унтера, он закричал:

– Вот пропуск. Сами господа члены Верховного тайного совета едут. Вели своей команде пропустить.

В первой тройке, кутаясь в шубы, сидели Василий Лукич, младший брат фельдмаршала, сенатор Михаил Михайлович Голицын и предложенный графом Головкиным третий депутат, генерал Михаил Иванович Леонтьев. В следующей тройке сидели князь Шастунов, Макшеев и молодой гвардейский капитан Федор Никитич Ливийский. За ними следовали пароконные подводы с багажом, нижними чинами и курьерами. Василий Лукич, в виде караула, взял с собой десять человек нижних чинов. В числе челяди находился и шастуновский Васька.

При виде такого торжественного выезда у унтера не могло уже явиться ни малейшего сомнения, и, скомандовав «смирно», он пропустил посольство. Весело, словно торжеству-

юще звеня бубенцами, помчались дальше тройки...

– Ах я! – выругался унтер. – Я и не спросил про курьера. Ну да ладно, там, в Черной Грязи, разберут... Эхма, пойдем, Афанасий.

И они вернулась к прерванной беседе и недопитой водке.

Убогий старик крестьянин, пропущенный у Яузских ворот, легким шагом скорохода подошел к селу Черкизову и прямо отправился на постоянный двор. Он сбросил с головы закрывавшие ее тряпки, скинул рваный зипун и все это бросил на дороге. На нем оказался тонкий темно – зеленый кафтан, подбитый лисьим мехом, и» сибирская» шапка из волчьей шкуры с наушниками. Он ощупал рукой под кафтаном кинжал и пару пистолетов и смело постучался в ворота.

Раздался лай собак.

– Кто там? – послышался сердитый голос из ♦ за ворот.

– Отворяй! – крикнул пришедший. – По государеву делу.

Энергичный голос незнакомца произвел впечатление. Калитка в воротах открылась, и

он шагнул на постоянный двор. В глубине двора стояла конюшня, на дворе виднелись возки, принадлежащие так называемым» копеечным» извозчикам, то есть таким, которых нанимали помимо почты, по вольной цене.

Недавний жалкий старик, преобразившийся в молодого, крепкого человека, прошел в тускло освещенную комнату трактира, где, лежа на прилавке, спал целовальник.

Открывший ему калитку дворник, заспанный и недовольный, следовал за ним. Войдя в комнату, молодой человек шумно опустился на скамью и громко крикнул:

– Эй, ты, образина, вставай, что ли!

При звуках его громкого голоса целовальник, он же хо – зяин, пошевелился и поднял голову.

– Чего орешь? – сказал он.

– А я покажу тебе! – грозно крикнул незнакомец, поднимаясь с лавки.

При слабом свете масляной лампы хозяин увидел его сильную фигуру и его костюм, по которому мгновенно прикинул, что это не обычный гость. Он живо вскочил с прилавка.

– Огня и водки, – коротко приказал незна-

комец.

С этими словами, видя нерешимость хозяина, он отстегнул от пояса под кафтаном небольшую сумку и, вынув из нее, бросил на стол три новеньких серебряных рубля с изображением покойного императора. Лицо хозяина прояснилось. Он крикнул дворнику, и через минуту на столе появился штоф, рыба и загорелись сальные свечи.

Незнакомец посмотрел в свою сумку. Вынул из нее еще несколько золотых монет и письмо, запечатанное большой красной восковой печатью. Подержав несколько мгновений в руках письмо с написанным на немецком языке адресом, словно удостоверясь в целостности этого письма, он бережно положил его в сумку и, налив стакан водки, обратился к хозяину.

Блеск золотых монет, лежавших на столе, ослеплял хозяина. Жадно, как собака, ждущая подачки, он стоял около стола и смотрел в рот богатому гостю.

— Есть путь на Клин помимо Черной Грязи?

В голове хозяина живо промелькнуло сооб-

ражение, что его временный постоялец боится дозоров, о которых он уже знал, хотя и не понимал, зачем они выставлены. Пристально глядя на золотые монеты, он ответил, слегка усмехаясь:

– Еще бы, как не быть.

– И лошади есть? – продолжал незнакомец.

– Орлы! – ответил хозяин, причмокнув губами. Незнакомец кинул ему золотой.

– Это пока, – сказал он. – Снаряжай пароконные сани.

Хозяин, поймав на лету монету и низко поклонившись, выбежал на двор. Незнакомец выпил водки, закусил и, облокотившись на стол, задумался. До него донесся стук раскрываемых дверей конюшни, топот лошадей и голоса. После долгой ходьбы по морозу и выпитой водки он, видимо, чувствовал усталость и его одолевала дрема. Через несколько мгновений голова его упала на стол, и он забылся. Внезапно он был разбужен громким стуком в ворота, собачьим лаем и криками во дворе. В одно мгновение незнакомец был на ногах, оцупал за пазухой пистолеты и сумочку, нахлобучил шапку и выскочил на двор.

Какой♦то человек, в высоких сапогах, в цветном кафтане, перетянутом ремнем, в острокопечной бараньей шапке, с плеткой в руке, стоял посреди двора и неистово кричал на хозяина:

– Я покажу тебе, чертов кум, как это ты не дашь мне лошадей! Не хочешь добром – силой возьму. Не хотел золота – плети попробуешь...

Он замахнулся на хозяина плетью. Хозяин поспешно отскочил...

– Лошади заказанные! – крикнул он.

– Ладно, ладно, – ответил человек с плеткой, – отворяй ворота. Посмотрим, кто помешает мне.

– А помешаю тебе я, мил человек, – громко произнес первый незнакомец, вдруг выступая вперед.

Второй на миг опешил, а хозяин ободрился. Первый внушал ему больше доверия, так как уже успел дать ему золотой, а второй только сулил.

– А кто ты такой? – спросил, опомнившись, второй незнакомец.

– А такой, – ответил первый, вынимая пи-

столет и наводя его на своего собеседника. – А теперь, – грозно прибавил он, – клянусь тебе Богом, что я разобью тебе голову, ежели не будешь слушаться меня.

Второй запустил руку за пазуху и нащупал рукоять охотничьего ножа. Нож – плохая защита от пистолета. Он кинул вокруг себя злобный взгляд попавшего в западню зверя и отрывисто спросил;

– Что ж ты хочешь?

– А вот пойдем в горницу, там и потолкуем, – ответил первый. – Что что морозно тут. Ну, живей, поворачивайся, – добавил он, – да не вздумай чего. Ей – ей, всажу пулю.

Второй молча повернулся и направился в дом; первый с поднятым пистолетом следовал за ним. Войдя в горницу, первый сел у стола, положив перед собой оба пистолета, и указал второму место на лавке против себя. Хозяин и дворник с любопытством наблюдали эту сцену. Но первый незнакомец властным жестом руки выслал их из комнаты. Когда, они вышли, он обратился к своему пленнику.

– Ну, теперь потолкуем, – произнес он, – а

вот и подкрепись.

Не сводя с него глаз, он налил ему стакан водки и подвинул хлеб и рыбу.

– Подкрепись, – повторил он, – зла тебе не желаю, вижу, что ты по чужому приказу делаешь. Эти слова, видимо, успокоили пленника.

– Но, – продолжал первый, – дело первее всего. Тут, брат, как истинный Бог, головы могу решиться. Тут уж сам знаешь, коли что, твоей головы не пожалею.

В его тоне слышалась такая железная решимость, что сердце пленника упало. В чьи руки он попал? Он вздрогнул и глухим голосом тихо сказал:

– Коли ты от князя Долгорукого аль Голицына – стреляй разом. Легче так сразу подохнуть, чем калечиться на дыбе...

Его голос прервался, во рту пересохло. Он с жадностью схватил стакан водки и залпом выпил.

Несколько мгновений первый пристально смотрел на него, но, видя его непритворный ужас, вдруг громко, весело, почти дружелюбно рассмеялся.

– Эге, приятель, – воскликнул он, – так мы

идем, кажись, по одной дорожке. А я, признаться сказать, думал, что это ты от Верховного тайного совета. Тут бы тебе и крышка, – он усмехнулся. – Сам знаешь, своя рубашка ближе к телу. Видно, и ты знаешь распоряжение ♦ то их?

Второй кивнул головой.

– Еще бы, – произнес он, – предупрежден был, на что иду. Объявлено в Москве: смертная казнь, кто тайно, без Верховного совета, из Москвы выйдет, а допрежь смертной казни допрос... Брр... – закончил он.

– То ♦ то оно и есть, – отозвался первый. – Значит, у нас с тобой одни враги. Ну а теперь, добрый молодец, скажи, кто ты такой?

Второй несколько мгновений колебался, но, увидя, что его допросчик нахмурил брови и положил руку на пистолет, и боясь возбудить в нем подозрения, решительно ответил:

– Человек гвардии капитана Петра Спиридоновича Сумарокова, его, фолетор Яков Березовый. Потому, – добавил он, – что я из деревни Березовой, а есть еще фолетор Яков из деревни Озерной.

Первый присвистнул:

– Эге – ге! Так, значит, ты едешь по приказу капитана Сумарокова. Ишь как!

– Он сам едет, – поспешно отозвался Яков. Первый даже привскочил.

– Сам! А кто ж его послал, куда и где он?

Яков, уже совершенно успокоенный за свою жизнь, попросил еще стакан водки, выпил, закусил и ответил:

– Не знаю, кто ты, а только, может, ты знаешь, что Петр Спиридонович состоит при графе Ягужинском?

Незнакомец кивнул головой.

– Так вот, – продолжал Яков, – как граф узнал, что Долгорукий да Голицын едут в Митаву да под смертной казнью запретили выезжать из Москвы, он и послал тайно в Митаву Петра Спиридоновича, а тот прихватил меня. Потому, значит, я ему самый близкий, я – то фолетор, то камердир. Из Москвы ♦то, – продолжал он, – выехали благополучно. Тройку взяли у Яузских ворот у Ивана – каменщика. Доехали до Черной Грязи, а там сержант строгий, не пускает. Мой и так и сяк, и денег ♦то давал. Ништо тебе. Заарестовать хотел, насилу выпустил на волю да велел назад в Москву

ехать. Повернули мы, значит, по боковой дорожке, проехали верст шесть, Иван и говорит: я, говорит, один ♦ то проберусь до другой заставы, а ты возьми копеечного возчика да в обход. Вот меня и послали сюда, в Черкизово, за лошадьми. Иван поехал, а Петр Спиридоныч тут недалеко притулился в пустом овине, меня поджидаячи.

– Ну, ладно, – усмехаясь, произнес незнакомец. – Так вот что, приятель, лошадей нет. Твой Петр Спиридоныч малость подождет. Допрежь его я поеду. Тесно этак ♦ то вдвоем ехать по одной дорожке. Да и ты здесь часика два посидишь.

Незнакомец крикнул хозяина и дворника, что ♦ то шепнул им, и прежде, чем Яков успел опомниться, он был скручен по рукам и ногам и посажен в темную клеть.

Потом хозяин отправился в задние пристройки и разбудил ямщика, хорошо знавшего обходную тропу мимо Черной Грязи.

Получив еще несколько золотых, хозяин охотно согласился продержать Якова два – три часа в заключении. Яков со своей стороны не очень тужил об этом. После пережито-

го им ужаса, когда ему показалось, что он попал в руки агентов Верховного тайного совета и что ему угрожает неминуемая смерть, а сперва страшная пытка, все дальнейшее было для него сущими пустяками.

– До свидания, приятель, – насмешливо крикнул ему через дверь незнакомец.

Яков не ответил.

По отъезде незнакомца, просидев минут двадцать в темноте и одумавшись, Яков пришел к убеждению, что все же было бы лучше освободиться. Он стал неистово стучать в дверь. Хозяин живо подошел. Начались переговоры. Очевидно, хозяин с величайшею охотой шел навстречу желаниям своего пленника, дело было только в цене. Яков же деньгами располагал. После долгих торгов хозяин согласился за три золотых, получив их через щель вперед, выпустить Якова и даже дать лошадей.

XIV

Судьба, видимо, покровительствовала смелому незнакомцу. То пешком, то верхом, по замерзшим болотам, лесным тропинкам, в обход заставам и караулам, не зная ни сна, ни отдыха, он двигался вперед, не стесняясь в деньгах, покупая нередко верховых лошадей и бросая их в какой-нибудь деревне и опять покупая свежую лошадь.

Капитану Сумарокову судьба не столь благоприятствовала. Его часто удерживали, не раз хотели арестовать, не раз отправляли назад. Неожиданный случай выручил его за Новгородом. Его догнал курьер польского посла Лефорта, выехавший с реляциями в Варшаву из Москвы 19 января. Они разговорились. В разговоре выяснилось, что у заботливого курьера было два паспорта. Один на имя купца, выданный из Коллегии иностранных дел, за подписью графа Головкина, другой на его собственное имя, выданный Лефортом.

После обильного угощения и некоторой мзды первый паспорт перешел в карман Су-

марокова. С этой минуты он вздохнул спокойнее.

Все же, несмотря на многочисленные задержки и на то, что у Черной Грязи его обогнало посольство, он сумел, в свой очередь, обогнать его. Дело в том, что посольство хотя и торопилось, но принуждено было терять много времени на перепряжку лошадей, на кормежку людей. Хотя из Москвы и был дан приказ держать на всех ямских станах наготове лошадей на тридцать подвод, тем не менее не всегда это было возможно. Иногда лошади оказывались измученными и уставшими, иногда их приходилось ждать, а в иные места приказание пришло чуть ли не за час до приезда посольства.

Таким образом, Сумароков налегке обогнал посольство часа на три.

Недалеко от Митавы, среди лесистых холмов, на берегу красивого озера, известного под названием озеро Красавица, расположился скромный двухэтажный, из красного кирпича, домик, громко именуемый родовым замком Густава Левенвольде, младшего брата графа Рейнгольда.

Это был умный, сдержанный, расчетливый дворянин. В свое время он пользовался недолгим фавором у герцогини Курляндской и, уступив умно и с тактом свое место Бирону, сумел остаться приятным гостем и преданным другом Анны и сохранил теснейшую связь с Бироном. Бирон, еще не смея мечтать о том поприще, какое ему открылось впоследствии, жил мелкими интригами при дворе герцогини, враждуя с курляндским дворянством и борясь за свое первенство при убогом дворе неправящей вдовствующей герцогини, вечно нуждавшейся в деньгах. В этих маленьких интригах ему искренно и от души помогал Густав Левенвольде.

Была глубокая ночь, и «замок» Левенвольде был погружен в сон. Но мирный сон его был нарушен гулким стуком молотка о металлический щит у ворот. Этот стук поднял на ноги всю дворцовую прислугу. Это было так необычно.

Раскрыв маленькое окно в воротах, привратник громко по – немецки крикнул:

– Кто там?

Он увидел у ворот спешившегося всадни-

ка, неистово бьющего молотком в щит.

– Отворите скорее, – ответил приехавший, тот самый незнакомец, который задержал посланного Сумароковым на постоялом дворе в Черкизове. – Скажите господину, что я от его брата – графа, – продолжал он, – что нельзя медлить ни минуты. Откройте скорее ворота, если дорожите службой.

Окошечко захлопнулось, и наступило молчание.

Подождав несколько мгновений, незнакомец снова принялся бешено стучать в ворота. Наконец ворота раскрылись и его впустили. Один из слуг взял его коня. Выбежавший из дома маленький, худощавый, напыщенного вида молодой немчик грубо обратился к приезжему и резко сказал:

– Ты от брата высокородного господина. Если у тебя есть письма – давай, я передам господину... Я его камердинер.

Незнакомец смерил его презрительным взглядом и насмешливо ответил:

– Если ты камердинер, то поди и доложи своему господину, что я должен видеть его самого. А с его лакеями я разговаривать не буду.

А если он не хочет меня видеть, то я уеду сейчас. Мне некогда.

И он пренебрежительно повернулся спиной к камердинеру Левенвольде. Тот на минуту опешил и потом, пробормотав какое-то ругательство, гордо повернулся и не торопясь направился к дому.

– Да ты поторапливайся, – крикнул ему вслед незнакомец, – а то, смотри, попадет!

Незнакомец остался на дворе. Немногочисленная дворня с любопытством рассматривала его. Не обращая ни на кого внимания, он расхаживал по двору. По его походке было заметно, что он сильно утомлен. И действительно, в продолжение трех суток этот человек не спал и трех часов среди постоянной тревоги и опасений.

На крыльце появился камердинер.

– Эй, приятель, – крикнул он, – господин ждет тебя!

Спешным шагом незнакомец направился в дом.

Левенвольде, зевая, сидел на постели в своей скромной спальне. Он прикрылся до пояса

одеялом. Ворот рубахи был расстегнут, голова всклокочена. Увидя вошедшего в сопровождении камердинера незнакомца, он крикнул недовольным голосом:

– Ну, что еще, разве нельзя было подождать до утра? В чем дело?

Незнакомец покосился на насторожившего уши камердинера и произнес:

– Только наедине, высокородный господин.

– Пошел, Иоганн, – коротко распорядился Левенвольде.

С презрительной и злобной усмешкой Иоганн вышел из комнаты.

На лице Левенвольде появилось тревожное выражение. Это был молодой человек лет под тридцать, не такой красивый, как его брат, но зато с более энергичным и выразительным лицом. В нем не было той женственности и изнеженности, которые отличали его старшего брата, но было больше мужественности и мысли в выражении лица.

– Ну, так в чем дело? – повторил он. – И кто ты такой?

– Я скороход сиятельного графа Рейнголь-

да, вашего брата, – ответил незнакомец, – по имени Якуб.

– А – а, – произнес Левенвольде, – ты хорошо говоришь по – немецки.

– Мой отец был немец, – ответил Якуб, – а мать крестьянка. Я одинаково хорошо говорю и по – русски.

– Молодец, – отозвался Густав, – теперь говори.

– Вот письмо его сиятельства, – сказал Якуб, вынимая из сумки тяжелый пакет и подавая его Густаву.

– Ладно, – ответил Густав, – но что же случилось?

– Император Петр Второй скончался, – ответил Якуб, – а императрицей провозглашена герцогиня Курляндская.

Пакет упал из рук Густава на медвежью шкуру, лежавшую у постели. Он вскочил в одной рубашке. Якуб бросился поднять пакет.

– Умер, умер! – кричал Густав. – Она императрица! Да что же ты молчал до сих пор? Кто избрал ее? От чего умер император?

Вместо ответа Якуб подал пакет.

Густав дрожащими руками разорвал кон-

верт и, стоя босыми ногами на медвежьей шкуре, с жадностью начал читать при желтом свете одинокой восковой свечи.

– Боже мой! – воскликнул он наконец. – Иоганн, Иоганн! – закричал он.

И когда испуганный его иступленным голосом вбежал Иоганн, Густав приказал:

– Скорей одеваться, лошадей! Я запорю тебя! Как смел ты заставляешь ждать этого гонца!

Иоганн испуганно моргал глазами.

– Я говорил тебе, – не утерпел Якуб.

Иоганн заметался. Надо было и одевать Левенвольде, и приказать готовить лошадей. Якуб понял его положение и с разрешения Левенвольде поспешил во двор распорядиться насчет лошадей. Через десять минут тройка уже несла Густава Левенвольде и Якуба в Митаву.

Барин и лакей сидели рядом, и Густав с жадностью спрашивал Якуба о подробностях его путешествия. Его особенно пугала мысль, что капитан Сумароков приедет раньше его, а особенно посольство! Якуб рассказал, как ему удалось задержать Сумарокова. А относительно посольства беспокоиться было

нечего. Раньше завтрашнего дня они не могут поспеть. Но Густав все же приказывал немилосердно гнать тройку.

Через час бешеной езды взмыленные кони остановились у ворот дворца. Левенвольде хорошо знали. Приказав Якубу ждать во дворе, он направился к флигелю, где жил со своим семейством Бирон.

Собственно, «дворец» было слишком громкое название. Дом герцогини Курляндской ничем не отличался от дома какого-нибудь богатого бюргера, разве только герцогскими гербами на чугунных воротах.

Левенвольде беспрепятственно пропустили в помещение, занимаемое Бироном.

Камер – юнкер герцогини жил более чем скромно. Все его имущество составляла небольшая мыза, полученная им в наследство от отца, исполнявшего обязанности берейтора у принца Александра (сына скончавшегося в 1688 году курляндского герцога Иакова) и впоследствии переименованного в лесничество.

Мыза давала скудный доход, а иных доходов почти не было, не считая редких подачек

герцогини, которая сама вечно нуждалась в деньгах.

Прислуги было немного. Обстановка квартиры оставляла желать лучшего. Войдя в почти пустую приемную, Густав встретил заспанного лакея, лениво зажигавшего свечи, которому и приказал немедленно разбудить господина.

Лакей, хорошо знавший, как и все в доме, Левенвольде, отправился в спальню Бирона. Она отделялась от приемной только небольшой проходной комнаткой. Лакей постучал в дверь спальни. Из спальни послышался визгливый женский голос:

– Боже мой! Кто там?

Почти тотчас мужской, несколько встревоженный голос повторил тот же вопрос, Густав сделал несколько шагов вперед и громко крикнул:

– Эрнст, прости, это я! Нельзя терять ни минуты!

За дверью послышалось движение, тревожный шепот, и на пороге показался Бирон в пестром халате, в туфлях на босу ногу. За ним из двери выглядывала голова его жены

Бенигны в ночном чепчике. Ее желтое, староеобразное лицо было испуганно. Дверь захлопнулась.

– Густав, что? – встревоженно спросил Бирон, пожимая руку Густаву. – Что все это значит?

– И хорошее и дурное, и победу и поражение, – ответил Густав. – Император умер. Императрицей провозглашена курляндская герцогиня.

Красивое лицо Бирона с резкими чертами вдруг словно окаменело. Большие глаза с маленькими зрачками смотрели на Густава, как мертвые глаза статуи.

Весть была неожиданна. Переход слишком резок. От двора гонимой, убогой герцогини до двора могущественной повелительницы обширной империи. Несколько мгновений длилось молчание.

– На, – начал Рустав, – вот прочти это.

И он подал ему письмо брата.

Только легкие судороги на лице Бирона обнаруживали его волнение, когда он читал письмо Рейнгольда.

– К герцогине, к императрице! – хрипло

произнес он. В ночном капоте из спальни выскочила Бенигна.

– Боже мой! Боже мой! Что случилось? – испуганно закричала она, не здороваясь с Густавом.

– Император умер. Императрицей провозглашена ее высочество, – коротко ответил ее муж. – Но, Бенигна, – продолжал он, – я прошу тебя не кричать, не делать в доме лишней тревоги.

– О, Боже! – радостно вздохнула Бенигна, складывая молитвенно руки и поднимая к потолку свои тусклые глаза.

– Не радуйся еще, Бенигна, – тихо произнес Эрнст. – Быть может, это сулит нам одно горе. Однако, – обратился он к Густаву, – я сейчас оденусь, и мы пройдем к императрице.

С этими словами он взял за руку Бенигну и увел ее в спальню.

Письмо Рейнгольда, очень обстоятельное и толковое, подробно передавало историю болезни и смерти императора, обстановку, при которой происходило избрание Анны, затем излагались подробно кондиции. Рейнгольд особенно подчеркивал то обстоятельство, что

избрание герцогини Курляндской было единогласно, что все видели в ней ближайшую и законнейшую наследницу покойного императора и что избранием своим она обязана отнюдь не верховникам, а всему» народу». Под народом в то время разумелось исключительно привилегированное сословие.

«Что же касается кондиций, – писал Рейнгольд, – то они составлены верховниками тайно ото всех, и никто о них не знает.

Состоящее из князя Василия Лукича Долгорукого, князя Михаила Михайловича Голицына и генерала Михаила Ивановича Леонтьева посольство верховников в Митаву тоже окружено тайной, так как они боятся, что об их кознях могут предупредить императрицу и она не захочет подписать кондиций». Поминал в письме Рейнгольд и о требовании верховников не брать в Москву ни Бирона и никакого другого иноземца. В заключение Рейнгольд просил передать императрице, чтобы пока она не спорила с верховниками, а только скорее спешила бы в Москву. В Москве, окруженная верными полками и преданными людьми, она легко разрушит все козни

верховников и вернет самодержавие.

Сердце Бирона ныло от тоски и обиды. Он вспоминал длинный ряд унижений, через которые он прошел. Он вспоминал насмешливое, презрительное отношение к нему русских высших кругов, когда он шестнадцать лет тому назад явился ко двору супруги цесаревича Алексея Софии – Шарлотты искать места и удачи. Ему было резко и определенно замечено, что сыну конюха не место при дворе супруги русского цесаревича. Вспомнил Бирон и гордый отказ курляндского дворянства признать его дворянином... И жгучей яростью несмытой обиды горело в его душе, никогда не померкая, воспоминание, о полученной им от князя Василия Лукича пощечине. И тот же Василий Лукич, торжествующий и надменный, едет сюда предписывать законы императрице! Но все же она императрица, избранная не князем Василием! Новое опасение охватило Бирона. Императорская корона, наследие Петра Великого, – слишком ценная добыча. Анна – женщина, тщеславная, как женщина. Этот лукавый старый соблазнитель... Блеск короны... Бывшая связь, хотя недолгая...

Разве не может Анна пожертвовать им?.. Причудливый, изменчивый нрав Анны ему известен... Левенвольде, Долгорукий, он, раньше Бестужев... Сердце женщины!..

Самоуверенность Бирона исчезла. Один каприз женщины – и он погрузится в такое ничтожество, в каком никогда не был. Нищий, гонимый!..

Как в эти минуты ненавидел он и напыщенное курляндское дворянство, не признавшее его, и русских аристократов, считающих его недостойным быть при дворе новой императрицы; какие страшные клятвы давал он себе уничтожить своих врагов, если судьба поможет ему, какие унижения, пытки и смерть готовил он им в своем воображении! Он торопливо одевался. Вместо камердинера ему помогала его жена, безответная, болезненная, но чванливая и спесивая. Бирон женился на ней, чтобы породниться с родовитым дворянством, и Бенигна страшно гордилась, что принадлежала к старинному роду Тротта фон Трейден.

Из соседней комнаты послышался детский плач. Бенигна встрепелась.

– Это Карл, – сказала она, – я пойду к нему.

И она бросилась в соседнюю комнату. Там спали их дети – шестилетний Петр, трехлетняя Гедвига и двухлетний Карл.

Мгновенная улыбка озарила лицо Бирона. Не там ли его спасение? Не маленький ли Карлуша является залогом его судьбы? Никакое честолюбие, никакая новая привязанность не заставят Анну забыть о своем сыне. Он знал страстную нежность Анны к этому ребенку. Ведь это был ее ребенок, выданный безответной Бенигной за своего...

Прежняя самоуверенность появилась на лице Бирона, когда он вышел через несколько минут к ожидавшему его Густаву Левенвольде.

– Итак, дорогой Густав, – с холодной усмешкой обратился он к Левенвольде, – теперь мы покажем себя. Il faut se pousser au monde![9] – добавил он свою любимую фразу.

Императорское величество.

Эти два слова, заключающие в себе предел человеческого могущества и власти, казалось, оглушили Анну. В них словно слышался ей громовой салют сотен орудий, святой звон московских колоколов и восторженные крики бесчисленной толпы.

Когда она, встревоженная неожиданным пробуждением, поспешно вышла в залу, Бирон и Левенвольде опустились на колени. Не успела она спросить, что это значит, как Бирон слегка дрожащим голосом произнес:

– Ваше императорское величество!

При этих словах она вздрогнула и замерла.

– Племянник вашего величества отрок – император преставился. Весь народ единодушно вручает вашему величеству священное наследие вашего, блаженной памяти, отца и великого дяди. Позвольте мне, первому слуге вашего императорского величества, первому принести вам всеподданнейшее поздравление со вступлением на всероссийский престол...

Лицо Анны было белее платка, который она держала в руках. Она сделала шаг вперед, протянула руку и пошатнулась. Но прежде, чем успели подбежать к ней Бирон и Левенвольде, она овладела собой и тяжело опустилась в широкое кресло с высокой спинкой, увенчанной герцогским гербом династии Кетлеров.

Анне в это время было уже тридцать шесть лет. Лучшая пора жизни ее прошла в унижении, в бедности, в зависимости и забвении. Девятнадцать лет провела она в Курляндии, нуждаясь, заискивая, в вечной тревоге за завтрашний день. Даже сердцу своему она не могла отдаваться свободно, без боязни чужого вмешательства. А она была способна на страстные увлечения.

За эти девятнадцать лет худенькая, стройная герцогиня, с нежным, смуглым, слегка рябоватым лицом, с великолепными черными глазами, обратилась в толстеющую, небрежную к своему внешнему виду, неряшливо одетую, грузную женщину. Смуглое, такое нежное лицо утратило румянец молодости, огрубело, потемнело. Заметнее стали рябины. Да-

же глаза, великолепные черные глаза смотрели хмуро, недоверчиво и старили герцогиню...

Она овладела собой, улыбнулась, лицо порозовело. Она сразу похорошела и помолодела. Ласковой улыбкой подозвала к себе Бйрона и Левенвольде.

– Милые друзья, – начала она низким, густым голосом, – благодарю вас. Радостная весть делается вдвое радостнее, когда ее передает друг. Вечная память нашему племяннику, – продолжала она, перекрестившись. – Неисповедимы судьбы Господа. Расскажите же все подробности, какие вам известны.

Густав вынул письмо Рейнгольда.

– Вот, ваше величество, подробное изложение событий. – Он подал Анне письмо.

– Левенвольде, – произнесла взволнованно Анна, прочитав письмо. – Я не забуду этого дня или, вернее, – с улыбкой поправилась она, – этой ночи на двадцать пятое января, – с ударением, медленно добавила она, словно стараясь навсегда запечатлеть в своей памяти эту знаменательную для нее дату. Она протянула руку Густаву. Преклонив колено, он

почтительно поцеловал руку новой всероссийской императрице.

– Передайте, Левенвольде, графу Рейнгольду, – продолжала она, – что я не забуду его... Вы, – обратилась она к Бирону, – и Густав всегда будете моими лучшими, ближайшими друзьями. Мы победим наших врагов. Мы победим их, – с уверенностью повторила она. – А теперь протяните друг другу руки в знак дружбы и верности мне.

Бирон и Левенвольде искренно, от чистого сердца, обнялись.

– Ты мой гость сегодня, – сказал Эрнст, – идем.

– Эрнст, вы еще останетесь, – прервала его императрица, – а письмо оставьте мне, – обратилась она к Густаву. – Мы его еще прочтем.

Густав с благоговением поцеловал мило стиво протянутую ему руку и с глубоким поклоном, пятясь к двери, вышел.

Анна снова внимательно и долго перечитывала письмо. В тревожном ожидании, волнуемый разнородными чувствами, стоял Бирон. Уверенность Анны в победе над врагами, победе, еще ясно не представляемой ею, мало

успокаивала его. Больше всего страшило его посольство во главе с Василием Лукичом. Какие меры примет это посольство, чтобы осуществить свои планы? Что они сделают с ним? А они могут сделать все, что хотят... Ссылка, заключение в тюрьме... Почему знать!

Под влиянием этих мыслей его неподвижное лицо потемнело. Он уже забыл о надеждах, родившихся в нем при мысли о маленьком Карлуше. Разве он сам не отрекся бы от сына, жены, любовницы, если бы ему предстоял выбор между ними и властью над великой империей! Анна подняла на него темные глаза.

– Эрнст, – тихо сказала она. – Бог не оставит меня. Жди и надейся. Да, – продолжала она, – что бы ни случилось, они не лишат меня радостей моей жизни. Рейнгольд прав: не Долгорукие и Голицыны избрали меня, а народ... Дай время... Теперь терпи... Но, Эрнст, – со страстным порывом добавила она, – ты не оставишь меня... А я! Могу ли я оставить Карлушу, этого златокудрого ангела!.. Нет, нет!.. Никогда!

Бирон припал к ее ногам.

– Императрица всероссийская! Императрица всероссийская, – тихо произнесла Анна, словно упиваясь самыми звуками величавого титула. – Разве это звук пустой? Разве на этой высоте может кто распоряжаться, кроме меня! Они затеяли страшную игру, и клянусь Богом – горе им! Глас народа, глас Божий, призвал меня на престол отца моего и дяди, и нет судьи воли моей надо мной, кроме единого Бога.

Взволнованная Анна встала и быстрыми твердыми шагами начала ходить по зале.

– Я покорюсь пока, – говорила она, гневно сдвигая черные брови, – я покорюсь... А там... Успокойся же, Эрнст, жди...

– О, ваше величество, – прошептал Эрнст, – вся жизнь моя вам!..

– Я знаю твою преданность мне, – произнесла Анна. – Верь, что никто не заменит мне тебя.

Она подошла к Бирону, все еще стоявшему на коленях на бархатной подушке у кресла, с которого она встала, и положила ему на голову руку. Он жадно схватил эту руку и прижался к ней горячими, сухими губами. Анна низ-

ко склонилась к нему.

Мутный рассвет глядел в незавешенные окна, и бледнели желтые огни восковых свечей.

Несмотря на всю таинственность переговоров, при дворе уже встревожились. Немногочисленные фрейлины герцогини Курляндской с жадным любопытством слушали рассказы своих горничных о позднем посещении Левенвольде.

Горничные узнали об этом от знакомых стражников и конюхов, а маленький паж Ариальд, дальний родственник Бенигны, жены Бирона, любимец всего маленького герцогского двора, ухитрился даже кое-что подслушать. Любимый шут герцогини, горбатый и злой карлик, прозванный Авессаломом за свои длинные и густые волосы, тоже ухитрился подслушать разговор новой императрицы с Бироном и Левенвольде. Дело кончилось тем, что к концу этой тревожной ночи весь двор уже знал о необычайной перемене в судьбе герцогини.

XVI

Все близкие к Анне люди, не зная подробно-стей ее избрания, переполнились радостных надежд. Молодые фрейлины мечтали о веселой и богатой жизни в Москве и Петербурге и о блестящих партиях с русскими аристократами. Камер – юнкеры мечтали о карьере, смотритель дворца – о новом доходном месте, конюхи – о роскошных конюшнях на сотни лошадей и связанных с этим доходах. Только ближайший человек к герцогине, кому уже кланялись с подобострастием, чуть ли не с благоговением, один был не радостен, а мрачен и задумчив. Дальнейшая судьба его была закрыта зловещими тучами. Он один не мечтал, не радовался, а, полный тревог и опасений, с тоской ждал, чем кончится день?

Он ненадолго вернулся домой, чтобы передать Бенигне, с которой был очень дружен, все события этой ночи. И вскоре вернулся во дворец, где Анна уже переоделась в парадное платье и с нетерпением ждала дальнейших событий.

Вся прислуга, весь двор были уже на ногах

в шесть часов утра. Фрейлины герцогини с нетерпением ждали, что их позовут к туалету, но Анна не звала никого. Она совершила свой туалет при помощи только одной своей старой горничной, поверенной всех ее тайн, ее ровесницы, служившей у нее со дня ее свадьбы с покойным герцогом, дочери смотрителя Летнего дворца при Петре I, Анфисы Кругляковой. Это была некрасивая, угрюмая на вид старая дева, беззаветно преданная своей госпоже. Даже сам Бирон относился к ней с симпатией за ее преданность и верность. Одна из немногих, Анфиса была посвящена в тайну рождения Карлуши.

С фамильярностью, свойственной старым слугам, наперсникам господ, она, причесывая Анну, говорила своим угрюмым голосом:

– Ну вот, ты теперь императрица, ваше величество. Слава те, Господи, вернемся на родину из бусурманской страны. А то слова живого не слышишь...

– Да откуда ты знаешь, что я императрица? – с улыбкой спросила Анна. – Я никому еще ничего не говорила, да и сама не знаю, так ли это?

– Э, матушка, – возразила Анфиса, – шила в мешке не утаишь. Конюшенные мальчишки и то знают.

– Экие болтуны! – с улыбкой заметила Анна. – Так ты рада?

– Матушка, матушка, – взволнованно заговорила Анфиса, и на ее глазах показались слезы. – Да как же не радоваться, красавица ты моя! Все видела, все двадцать лет не отходила!.. Всего натерпелись мы!.. Ох, злы люди!..

Анна нахмурила брови. Слова Анфисы пробудили в ее душе много горьких воспоминаний.

– А теперь – ваше величество, – восторженно продолжала Анфиса, – подумать только!.. Да ведь ты, матушка, станешь как вечной памяти сам Петр Алексеевич! Ишь, подумать ♦ то жутко... Кто ж супротив тебя... Казни, милуй!

– Казни, милуй! – с горькой улыбкой тихо повторила Анна, вспоминая условия, на которых она была избрана.

– А то как же, – продолжала разгорячившаяся Анфиса. – Ты, ваше величество, по крови царица, народом избранная, Богом данная...

И умиленная Анфиса, опустившись на колени, горячо поцеловала бессильно опущенные руки императрицы.

И эти слова, и этот порыв искренней преданности словно влили новые силы в душу Анны.

– Избранная народом, данная Богом, – медленно и отчетливо произнесла она, вставая. – Будь по – твоему, Анфиса, ты это верно сказала, мы еще попируем с тобой в Москве!

И уверенная и счастливая, с горящими глазами и покрасневшим лицом, она прошла в столовую. Бирон, придя, словно не узнал ее, так было оживленно, так помолодело ее апатичное лицо, так сверкали ее темные глаза и гордо сидела на ее черных пышных волосах герцогская корона Кетлеров.

С непривычной робостью Бирон поцеловал ее руку и не решался сесть, хотя они были наедине.

– Садись же, Эрнст, – ласково сказала Анна. – Разве я изменилась?

– Да, ваше величество, положение изменилось, – глухо ответил Бирон. – Из герцогиня без герцогства вы стали повелительницей ве-

личайшей в мире державы. Бедный курляндский дворянин, бесконечно преданный вам, мог быть при дворе курляндской герцогини, но ему может не найтись места при дворе императрицы всероссийской.

– Эрнст, Эрнст, как мало ты знаешь меня, – ласково и с упреком сказала Анна. – Я говорю тебе: подожди...

Бирон прильнул к ее руке. Маленький паж Ариальд вбежал в комнату.

– Гонец из Москвы, ваше императорское величество! – громко и весело крикнул он, подбежав к Анне и опустившись на одно колено.

– За императорское величество я выдеру тебя за уши, – сказала герцогиня. – Не ты ли дал мне императорскую корону?

Ариальд лукаво глядел на императрицу.

– Вам дал ее российский народ, ваше величество, – ответил он.

– Опять, – сказала Анна. – Ну, поди узнай, кто он?

Ариальд вскочил и бросился вон; через минуту он вернулся и доложил:

– Лейб – гвардии капитан Сумароков, ка-

мер – юнкер его светлости герцога Голштинского.

– А, – произнесла Анна. – Зови же его сюда.
Ариальд выбежал.

– Камер – юнкер герцога Голштинского – ненадежный посол, – сказала Анна.

Бирон кивнул головой.

– По завещанию Екатерины Первой, – ответил он, – сын герцога Голштинского Карла и дочери Петра, Анны Петровны, принц Карл – Ульрих является ближайшим наследником престола.

– Да, – задумчиво проговорила Анна. – Этот Карл – Ульрих, сын Анны Петровны, l'enfant de Kiel[10], ближе по крови Петру, но за мною право первородства, я дочь старшего царя. Екатерина не имела права распоряжаться престолом.

– Но дело кончено, – ответил Бирон. – Вы избраны, и вы императрица всероссийская.

– Да, – гордо ответила Анна. – Вопрос решен – и я императрица всероссийская.

Дверь широко распахнулась, и маленький Ариальд громко крикнул:

– Гонец из Москвы!

На пороге появился Сумароков. Лицо его было бледно и измучено, но имело гордое, счастливое выражение. Он низко поклонился и молча остановился у порога.

– Вы, кажется, лейб – гвардии капитан Сумароков, камер – юнкер герцога Голштинского? – спросила Анна, окидывая его с ног до головы внимательным, несколько недоверчивым взглядом.

– И адъютант графа Павла Ивановича Ягужинского, ваше императорское величество, – отчетливо проговорил Сумароков, прямо глядя в лицо герцогини.


Легкая улыбка скользнула по губам Анны. Сумароков побледнел еще больше. Вся уверенность его пропала. Его слова, этот новый титул не произвели того впечатления, на которое он рассчитывал. «Меня опередили. Она все уже знает, – мгновенно промелькнуло в его голове. – Но кто же?»

– Как вы назвали меня? – слышался голос Анны.

Бирон неподвижно стоял за креслом императрицы, с некоторым злорадством глядя на смущенного русского офицера. Он не скрывал

своего удовольствия, что не русский первый привез Анне великую весть.

– С девятнадцатого сего января вы императрица всероссийская. Вот детальное оповещение вашего величества от графа Павла Ивановича.

Сумароков вынул из  за обшлага мундира толстый конверт с письмом Ягужинского. Анна взглянула на Бирона. Он быстро подошел к Сумарокову и взял из его рук письмо.

– Павел Иванович, – с улыбкой произнесла Анна. – Я помню его, когда он ездил в Варшаву, дабы помешать избранию в герцоги Курляндские Морица Саксонского.

При этом имени Анна тихо вздохнула. Ее сердце не совсем забыло этого беспутного, отчаянного и очаровательного Морица, идола модных красавиц Парижа, Дрездена и Вены, этого авантюриста и героя, дравшегося с одинаковым успехом под знаменами Мальборо и принца Евгения и со шведами, и с испанцами, и с турками; он стал бы ее мужем, если бы не честолюбивые планы Меншикова, добившегося для себя короны Курляндии. – Да, – продолжала Анна. – Я не забыла его. Он отно-

сился к нам всегда с должной аттенцией. То, что вы передали нам, капитан, – закончила она, – привело нас в такое смятение, что нам надлежит все обсудить наедине. Ежели надо будет, мы позовем вас.

Анна милостиво кивнула головой. И это было все! Это награда за опасности пути, бессонные ночи, за игру головой!

Сумароков молча поклонился.

– Мы вас не забудем, капитан, – услышал он голос императрицы.

Он поклонился еще раз и, озлобленный, чувствуя себя униженным, не зная, куда направиться, вышел из комнаты. Куда, в самом деле, идти? Депутаты Верховного совета могут приехать с часу на час. Он погиб, если они увидят его здесь. Он смутно чувствовал, что новая императрица лукавит, что она явно не хочет принять его под свое покровительство, тоже, может быть, боясь верховников. Сумарокова могло спасти теперь только бегство, но он боялся бежать, так как не передал еще императрице на словах то, что приказал Ягужинский, и притом разве императрица не сказала, что, может, позовет его?

Он остановился в зале в раздумье. В это время к нему подошел Ариальд.

– Господин камер – юнкер заблудился в нашем дворце, – шутливо сказал он по – немецки и сейчас же добавил: – А скажите, господин камер – юнкер, во сколько раз дворец русских императоров больше нашего?

Несмотря на свою озабоченность, Сумароков улыбнулся.

– Я полагаю, во столько же раз, во сколько Москва больше Митавы, – ответил он на том же языке, которым, как камер – юнкер герцога Голштинского, владел в совершенстве. – И во сколько раз императрица всероссийская могущественнее герцогини Курляндской.

– О – о, – произнес Ариальд, – атомного! Неожиданная мысль явилась у Сумарокова.

– Послушай, малютка, – сказал он, – не передашь ли ты господину Бирону записку?

– Отчего же? Охотно, – отозвался Ариальд.

– Да, но где же я напишу? – спросил Сумароков.

– Пожалуйте сюда, к обер – писцу, – и мальчик указал ему на большую дверь.

По полутемному коридору Ариальд провел

Сумарокова в небольшую, скромно обставленную комнату. На большом столе лежали расходные книги, счета, серые листы бумаги. За столом сидел маленький, худенький старичок с бритым пергаментным лицом, в очках на длинном носу. При виде вошедших он поспешил встать.

– Герр Шрейбер, – обратился к нему Ариальд. – Господину камер – юнкеру надо написать несколько слов.

– О, сейчас, сейчас, – засуетился старик.

Он торопливо подал Сумарокову стул, подвинул бумагу, чернила и гусиное перо. Сумароков написал по – немецки:

«Высокородный господин, имею от графа Ягужинского словесные препоручения ее величеству. Опасаюсь приезда князя Долгорукого. Что должен я делать? Ехать или ждать и где? Жду все милостивейших повелений».

– Вот это передай господину Бирону, – сказал он, передавая Ариальду записку, – а я подожду здесь.

Ариальд кивнул головой и исчез в коридоре. Сумароков встал и с беспокойством заходил по комнате. Маленький старичок тихо

подсел к столу и вновь углубился в свои занятия.

Было тихо. «Какая чудесная перемена судьбы, – думал Сумароков. – Герцогиня вчера – сегодня императрица». Он невольно вспомнил вопрос Ариальда, залы московских дворцов, роскошные празднества Петра II, брильянты, золото... Чувство горечи наполнило его душу. «И вот, – думал он, – за то, что я, рискуя головой, привез ей весть о том, что все это принадлежит ей, за то, что предупредил о кознях врагов, – за все это брошен ею, и в смертельной тревоге жду министров, и никто не защитит меня от их гнева и мести...»

Тревога росла с каждой минутой.

Наконец Ариальд вернулся и передал ответ Бирона. Бирон просил Сумарокова подождать в указанном месте, куда его проводит Ариальд. Сумароков немного успокоился. Значит, он не совсем брошен.

Ариальд, очевидно, уяснил себе положение. Он понял, что всем здесь грозит опасность от каких-то министров, членов какого-то совета, которых ждут сюда. Что боится Бирон, боится Сумароков, боится Густав Ле-

венвольде, сейчас скрывающийся в квартире Бирона, тревожится новая императрица. Смутно думал он, что если императрица дорожит Бироном и отчасти Густавом, то вовсе не дорожит этим русским офицером и что наибольшей опасности подвергается именно этот красивый и ласковый офицер. И, почуяв в себе рыцарскую кровь славного рода Тротта, мальчик решил всеми силами помогать этому гонцу; находившемуся, по его мнению, в опасном положении.

– Я готов, – сказал Сумароков.

– Тогда следуйте за мною, господин камер – юнкер, – отозвался Ариальд.

Сумароков любезно поклонился старичку и последовал за маленьким пажом.

В небольшом доме, дворце герцогини, тоже были свои тайны. И узкие коридоры, и винтовые лестницы, и подвалы, – целый лабиринт в миниатюре.

По узким, коротким, но извилистым коридорам вел его Ариальд. После довольно продолжительного блуждания Ариальд привел его в глубокий подвал, темный и сырой, слабо освещенный одинокой свечой. Сумарокову

неволью стало жутко. Мрачные, нависшие своды, с которых гулко падала, капля за каплей, вода на каменные плиты пола. Убогая койка, деревянный стол и скамья передним.

У стола сидела странная фигура. Маленький карлик с двумя горбами. Густые, длинные, черные волосы в беспорядке лежали на спине горбуна и закрывали его лицо.

– Авессалом! – громко крикнул Ариальд. – Принимай гостя.

Карлик, не торопясь, откинул нависшие на лицо волосы, медленно поднялся с места и уставился неподвижным взглядом больших черных глаз на пришедших. Сумароков поклонился странной фигуре. Карлик кивнул головой.

– Так ждите здесь господина Бирона, – крикнул Ариальд, – а я бегу!

Он послал рукой привет Сумарокову и скрылся за дверь.

Сумароков сел на скамью. На лице горбуна было сосредоточенное, угрюмое выражение. Сумароков чувствовал себя неловко.

– Скажите, кто вы? – спросил он.

– Шут, – коротко ответил горбун.

– А ваше имя?

– Авессалом, – последовал короткий ответ.

– Я бы хотел знать ваше настоящее имя, – мягко заметил Сумароков.

– Я забыл его, – ответил горбун.

Разговор прервался. Маленький горбун полез в угол, стал на колени, долго копошился, наконец встал, дерзка в руках две бутылки и две серебряные чарки. Он молча поставил их на стол, потом опять полез в угол и достал оттуда ветчину и какое-то печенье. Все это он поставил на стол.

– Вот, – коротко произнес он, – ешьте.

Сумароков не ел целые сутки.

– Благодарю вас, – сказал он.

– Пейте же, – нетерпеливо повторил карлик, наливая чарки.

Сумароков с истинным наслаждением выпил за здоровье гостеприимного горбуна большую чарку крепкой настойки и приступил к еде. Горбун тоже пил и ел, но его лицо продолжало сохранять мрачное выражение. Чтобы начать разговор, Сумароков спросил:

– Вы давно здесь?

– С детства, – ответил горбун. – Скажите, –

продолжал он, – ведь при русском дворе тоже есть шуты?

– Есть, – кивнул головой Сумароков.

– Я слышал про шута Балакирева, – угрюмо продолжал горбун.

– Петр Великий очень любил его, – ответил Сумароков, – но потом разгневался на него. Его пытали, били батогами и сослали в Рогервик в крепостные работы.

Авессалом тихо покачал головой.

– Шуты часто кончали плахой, – произнес он. – За что его сослали и где он теперь?

Сумароков все более и более удивлялся странному тону и расспросам горбуна.

– Балакирев, – ответил он, – не был только шутом. Он исполнял некоторые поручения императрицы, которые не понравились ее мужу – императору. Когда умер император, императрица вернула его и определила рядовым в Преображенский полк.

– Да, это вечная история шута. Угождать одним, угождать другим, – голос горбуна звучал глухо под сырыми низкими сводами его подвала, – прикрывать интриги, носить любовные записки, караулить влюбленных, иг-

рать своей головой, отвлекать внимание подозрительного мужа или жены и потом погибнуть от удара ножом или отравы за то, что слишком много знаешь. – Он налил себе вина и залпом выпил.

– А что, – продолжал он, – шутов у вас тоже бьют, как собак?

– Нет, – возразил Сумароков. – Петр Первый разве под сердитую руку... да всем равно попадало от него, даже светлейшему... Покойный император не занимался шутами.

– Да, – произнес горбун, вставая, – а у нас смотри, – визгливым голосом продолжал он. С этими словами он обнажил свои руки и показал Сумарокову сине – багровые рубцы. – Шут, шут... – визгливо кричал он с налившимися кровью глазами. – Это забава господина Бирона... Теперь она императрица всероссийская... А он!.. Ха – ха – ха, – он расхохотался диким смехом. – Так у вас не бьют шутов? А?

– Не бьют.

На лице горбуна выступили красные пятна.

В своем сером кафтане с широкими рукавами он походил на гигантскую летучую

мышь. Густые, длинные, черные волосы, в беспорядке падавшие ему на лицо, придавали ему дикий и зловещий вид.

Странный, суеверный ужас мало – помалу овладевал Сумароковым. Что-то страшное чудилось ему за словами горбуна, как зловещее предсказание грядущих бедствий.

Но не успел он что-либо сказать, как шумно отворилась дверь, и на пороге с хлыстом в руках показался Бирон. При виде его горбун издал злобный хриплый вой и забрался в угол.

– Пошел вон, шут! – крикнул Бирон, подымая хлыст.

– Господин Бирон! – воскликнул Сумароков, весь бледный, порывисто вставая с места.

Бирон опустил хлыст.

– А – а! – произнес он, глядя холодными глазами на Сумарокова. – Вы, кажется, мягкосердечны, господин камер – юнкер голштинского герцога.

Горбун, воспользовавшись удобной минутой, юркнул в двери. Бирон и Сумароков остались вдвоем.

XVII

— Императрица просила вас, — своим резким голосом начал Бирон, — сообщить мне дополнительные подробности.

Сумароков поклонился.

— Мне было поручено передать лично ее величеству, — произнес он.

Бирон угрюмо взглянул на него.

Это был первый русский, приветствовавший новую императрицу и привезший ей важные вести. Под первым впечатлением, узнав, что Сумароков камер-юнкер голштинского герцога, чей сын является ближайшим наследником престола, Анна сухо и недоверчиво встретила этого гонца. Но, прочитав письмо графа Ягужинского, она была готова изменить свое отношение. Письмо Ягужинского придало ей много бодрости. Из этого письма она узнала, что против министров Верховного совета существует партия тоже сильных родовитых людей — Черкасский, Бярятинские, фельдмаршал Трубецкой, ее родственники Салтыковы, духовенство в лице виднейшего члена Синода Феофана Проко-

повича, сам Ягужинский и много других, с которыми не очень ♦ то легко будет справиться верховникам. Под влиянием письма Анна хотела чем ♦ нибудь отбла – годарить Сумарокова. Но этого не мог допустить Бирон. Он уже успел оценить стройную фигуру и красивое лицо русского капитана.

Не противореча Анне, он вместе с тем искусно заметил, что граф Ягужинский – одно, а его посланец – камер-: юнкер голштинского герцога – другое, что надо быть осторожной, а все сведения лучше соберет он, Бирон, и передаст императрице. Личное свидание излишне. Императрица всегда успеет наградить этого капитана, если его сведения и усердие заслужат того; Анна, по обыкновению, согласилась с Бироном и поручила ему поговорить с Сумароковым.

Ответ Сумарокова раздражил его. Еще находясь сам в неопределенном положении и тревоге за свою дальнейшую судьбу, он уже злобно и ревниво относился ко всякой попытке приблизиться к Анне помимо его.

– Однако это приказ императрицы, – проговорил он. – Первый приказ первому своему

русскому подданному, – с ударением добавил Бирон.

– Я повинуюсь, – сухо ответил, наклоняя голову, Сумароков. – Что угодно вам знать?

С едва скрываемой ненавистью глядел он в лицо дерзкого фаворита: чувство злобы и обиды росло в нем. Он видел себя не в положении верноподданного, принесшего первым великую радостную весть, а в положении чуть ли не узника, допрашиваемого дерзким чужеземцем. Сумароков чувствовал себя глубоко униженным; кроме того, еще в Москве он хорошо знал, что представляет собою этот сомнительный курляндский дворянин, но он видел теперь и понял, какую силу имеет этот Бирон при дворе герцогини и как будет трудно отделаться от него; и на одно мгновение, помимо своей воли, он пожелал удачи верховникам, требовавшим, чтобы Анна не брала с собой Бирона.

– Все, что граф Ягужинский приказал вам словесно передать ее величеству, – холодно ответил на его вопрос Бирон.

Этими словами Бирон ставил Сумарокова на место простого лакея, передающего слова

барина.

Сумароков вспыхнул и резко сказал:

– Граф Ягужинский не приказывал мне, а как своего адъютанта и русского дворянина и единомышленника просил пренебречь опасностями и донести самодержавице всероссийской о том, что и от кого она ожидать может.

– Да? – с видимым равнодушием произнес Бирон. – Так в чем же дело? Вы знаете, императрица ждет: каждую минуту может приехать посольство Верховного совета, а вы еще ничего не сказали, – значительно добавил он.

Бирон словно играл с ним. Сумароков понял это, выпрямился и, слегка побледнев, ответил:

– Передайте ее величеству, что верховники не хотят, чтобы вы ехали в Россию.

Бирон усмехнулся. Это он узнал из письма графа Рейнгольда. Сумароков заметил эту усмешку и, повинувшись злобному чувству, подумал: «Так я ж пройму тебя, бестия!» И громко сказал:

– Граф Ягужинский просил передать императрице, что в настоящее время, если не уступить верховникам, то ни он, ни его сторонни-

ки не поручатся за вашу голову, – медленно, с чувством глубокого удовлетворения закончил Сумароков.

И действительно, впечатление от этих слов могло быть приятно его униженному сердцу. Лицо Бирона позеленело, рот странно скривился, словно судорогой.

– Вас могут убить на дороге или казнить в Москве, – со злорадством продолжал Сумароков. – Вот что поручил передать мне граф Ягужинский.

– Это все? – хрипло спросил Бирон.

У Сумарокова пропало всякое желание передавать детально все многочисленные советы Ягужинского. Он неопределенно махнул рукой. Бирон встал. Он уже овладел собою.

– А теперь, – начал он своим деревянным голосом, – от имени императрицы я должен сообщить вам, что в случае приезда министров императрица лишена какой-либо возможности оказать вам покровительство... а они приезжают скоро... я бы советовал вам бежать сейчас же... Императрица ничего не будет иметь против этого. Со временем она наградит вас.

Он слегка поклонился и вышел, оставив в грязном, сыром подвале взбешенного Сумарокова.

«Бежать, – думал он. – Легко сказать! Но как? Где взять лошадей? Надо бы повидать Якова, да он остался на постоялом дворе».

Сумароков в волнений ходил из угла в угол по темному подвалу. Он чувствовал себя словно в западне. Недоброжелательное отношение к нему Бирона было очевидно, и Сумароков довольно верно истолковал эту недоброжелательность чужеземца – фаворита к русскому офицеру. Он видел также и безучастное отношение к нему новой императрицы.

«Какие тут награды! – с горечью думал он. – Унести бы только ноги. Знать, сильны верховники, что сама императрица боится их. Не проиграл ли граф Ягужинский?..»

Тревога за настоящее, опасения за будущее охватили Петра Спиридоновича. И действительно, положение его было из очень тревожных. Если бы он и убежал сейчас, он легко мог натолкнуться на посольство. Зная энергичный характер Василия Лукича, он мог

ожидать не только унижительного ареста, но даже немедленной казни. Затерянный, одинокий, среди чужих людей, предоставленный самому себе, он, несмотря на свое мужество, почти упал духом.

В комнату вошел Авессалом. Маленький горбун сел в угол, поджав под себя ноги, и блестящими глазами следил за Сумароковым.

– Что, хорош? – вдруг спросил он с тихим, злорадным смехом.

Сумароков остановился.

– Да, да, – продолжал горбун. – Вы еще узнаете его, Россия не то что Курляндия. Там есть где разгуляться его хлысту. Что шут Авессалом! Любая собака стоит его! То ли дело хлестать русских бояр.

Сумароков покраснел от гнева.

– Молчи, – закричал он, топнув ногой. – Ты забыл, что есть императрица!

Горбун злобно усмехнулся.

– А здесь его герцогиня Курляндская, – сказал он. – В чем же дело?

Сумароков понял, что горбун прав. В маленькой Курляндии герцогиня предоставляла Бирону делать все, что было в ее очень незна-

чительной власти. В обширной империи Российской она предоставит ему то же...

Он стиснул зубы и замолчал. Если бы в эти минуты он мог вернуть недавнее прошлое, он отрекся бы от Ягужинского и был бы на стороне верховников, А горбун продолжал:

– Она не оставит его. Она возьмет его с собой... о, как попляшете вы!..

Сумароков хотел спросить его о многом, но не успел. В коридоре послышались торопливые шаги, и в подвал вбежал Ариальд. Он был очень бледен. Глаза его сверкали, вся фигура выражала решимость и энергию.

– Господин камер – юнкер, – задыхаясь, произнесен он. – Вам надо бежать. Не спрашивайте меня ни о чем... Я знаю, что ваши враги близко, а здесь никто не защитит вас... Бегите!

Сумароков растерянно взглянул на него.

– Бежать, но как? – произнес он,

– Авессалом, – повелительно произнес Ариальд. – Ты должен помочь. Сейчас, – обратился он к Сумарокову, – к нам на двор прорвался ваш слуга. Его хотели схватить. К счастью, я увидел его и выручил. Я ведь немного

понимаю русскую речь, я уже был при герцогине, когда здесь был резидент Бестужев. Ваш слуга остановился в предместье у старухи Ленд. Эту старую чертовку знает вся Москва. Вам надо только переменить костюм. Уже отдан приказ никого не выпускать из дворца.

Ариальд говорил торопливо, задыхаясь. Сумароков отступил на шаг и почти с ужасом глядел на этого смелого ребенка.

«Никого не выпускать из дворца. Но ведь это прямое предательство», – пронеслось в его мыслях.

– Кто же отдал такой приказ? – глухо спросил он.

– Бирон, от имени герцогини, – коротко ответил Ариальд. – Но нельзя терять времени. Авессалом! – повелительно закончил он.

Но Авессалом уже копошился в углу.

Как ошеломленный стоял Сумароков. Он едва верил своим ушам. Как! Его, привезшего такую весть, его, предупредившего новоизбранную императрицу о кознях ее врагов, его хотят отдать на жертву этим самым врагам! Этого он не мог ожидать.

Между тем Ариальд торопил его. Авесса-

лом, видимо, охотно вытаскивал костюм из своего тайника. На минуту у Сумарокова мелькнула мысль отказаться от унижительного бегства с переодеванием, но он сейчас же подумал, что будет больше пользы, если он поторопится в Москву, все передаст Ягужинскому, и, быть может, не будет еще поздно начать действовать по – новому,

Авессалом вытащил тяжелые меховые сапоги, кожаную куртку, подбитую собачьим мехом, плащ и шапку с наушниками.

Когда Сумароков переоделся, никто не узнал бы в нем блестящего офицера лейб – регимента. Он походил на бюргера средней руки, возвращающегося на свою мызу после деловой поездки в город.

– Благодарю, милый юноша, – произнес он, крепка пожимая руку Ариальду. – Если встретимся в Москве – будем друзьями. Благодарю и вас, – продолжал он, протягивая руку Авессалому.

Горбун угрюмо подал ему руку. Сумароков положил на стол горсть золотых монет.

– Возьмите назад, – сурово сказал горбун. – Я не старьевщик.

Сумароков несколько смутился, извинился, взял деньги и еще раз крепко пожал руку горбуну.

– Я провожу вас, – сказал Ариальд. Они вышли.

XVIII

Едва ли в жизни Анны был другой мучительный день, как 25 января 1730 года. Был один день, воспоминание о котором преследовало ее, как боль незакрывающейся раны, – день, когда политика всемогущего князя Меншикова нанесла страшный удар ее сердцу, когда навсегда был потерян для нее принц Мориц Саксонский. Но там страдало только сердце женщины, теперь же мучилось, как в агонии, сердце женщины, матери и императрицы.

День тянулся бесконечно долго. От гордых надежд и вспыхнувшей энергии рано утром Анна перешла к мрачному отчаянию, целовала маленького Карлушу и проливала слезы на его золотые кудри. В ее душе было много страсти, любви и ненависти. Сам Бирон терялся – и то грозил министрам Верховного со-

вета, то падал духом и на коленях целовал руку императрицы. Не раз в продолжение этого томительного дня у Анны являлась мысль лучше отречься от престола, чем быть игрушкой в руках людей, желавших отнять у нее и власть, и любовника, и сына... Но тогда приходил в ужас Бирон, цеплявшийся за смутные надежды на победу и с ней вместе на первое место в обширнейшей державе.

За несколько часов Анна осунулась и побледнела, отчего стали больше ее угрюмые глаза, горевшие беспокойным, лихорадочным огнем. Императрица не завтракала, не обедала. Она сидела в маленькой столовой с Бироном, Бенигной и детьми. Маленький Карлуша, словно чуя какую-то опасность, ласково прижимался к ней. Трехлетняя Гедвига глядела серьезно и задумчиво своими ясными серыми глазами с недетским выражением.

Бенигна, по обыкновению, была тиха и безответна. Она только изредка чуть слышно вздыхала да иногда останавливала не в меру расшалившегося Петра, который один из всех был, как всегда, весел и беззаботен. Карлуша взгромоздился на колени Анны, прижался го-

ловую к ее груди и задремал. Он привык днем спать.

Анна с нежной улыбкой передала его Бенигне.

– Отнеси его, Бенигна, ко мне, – шепотом сказала она и ласково погрозила пальцем остальным детям.

Бенигна с ребенком на руках вышла из столовой, за ней последовали дети.

Бирон передал Анне свой разговор с Сумароковым, причем постарался выставить его как дерзкого, заносчивого человека, вообразившего, что он чуть ли не спас престол. Анна одобрила предложение, сделанное Бироном Сумарокову, – спасаться бегством. Хотя ей было неловко отказать в своем покровительстве русскому офицеру, но она сама еще не была уверена в своем положении. Обсуждая его, они с Бироном пришли к убеждению, что самое лучшее пока сделать вид, что она, безусловно, согласна на все. В своем рабском страхе Бирон дошел до того, что предложил императрице выдать Сумарокова министрам Верховного совета, чтобы доказать им свою искренность, если они случайно что-либо

заподозрят.

Анна покачала головой.

– Это неладно, – сказала она. – Я бы, пожалуй, и назвала его, если бы он успел бежать подалее.

– Так я помогу ему, – произнес, вставая, Бирон.

Императрица кивнула головой.

Он так стремительно распахнул дверь, что дежурный паж Ариальд, находившийся в маленьком зале, соседнем со столовой, едва успел отскочить от двери. Маленький Ариальд, по обычаю всех пажей, тоже был любопытен. Бирон не обратил на него никакого внимания.

Ариальд пошел за ним, так как сильно переживал за русского офицера, слугу которого час назад ему удалось выручить. Но, к его удивлению, Бирон направился не в подвал, а приказал камер – лакею немедленно распорядиться, чтобы из дворца никого не выпускали, чтобы сейчас же из гарнизона был вызван к дворцу почетный караул, что делалось крайне редкое только в особо торжественных случаях. Когда Ариальд услышал приказания

Бирона, он в первую минуту окаменел от негодования перед таким позорным предательством.

Бирон прошел дальше, а Ариальд все еще неподвижно стоял, сжимая кулаки. Сперва он хотел броситься к императрице и все рассказать ей, но скоро отбросил эту мысль. Анна на все смотрит глазами Бирона, да притом теперь дорога каждая минута.

Надо спасти русского.

Он сломя голову побежал в подвал к Авессалому,

– О, Боже! – с негодованием воскликнул мальчик. – И этот негодяй породнился с рыцарями Тротта фон Трейден!

Когда у всех ворот и калиток расставили сторожей, было уже поздно. Сумароков бежал.

В маленьком зале, рядом с большим залом, тронным, где Анна иногда устраивала торжественные приемы курляндскому рыцарству, собрался немногочисленный двор герцогини. Хотя Анна никого не приглашала и никому ничего не говорила, но все сочли своим долгом быть налицо, на всякий случай. Когда об

этом узнала Анна, она выразила полное удовольствие, так как находила более соответственным ее положению принять посольство по возможности в торжественной обстановке.

Обязанности и церемониймейстера и гофмейстера исполнял при ее дворе Бирон, камер – юнкер. Густав Левенвольде тоже был камер – юнкером, но на сегодняшний день его было безопаснее спрятать, чтобы не возбудить каких-либо подозрений. Бирон, по природе своей трус, холодел от ужаса, ожидая посольство, состоявшее из его заведомых врагов, но все же, не желая ронять себя в глазах Анны, решил быть в этот день при ней, хотя она и предложила ему временно скрыться. За такое «самоотвержение» Анна с улыбкой счастливой женщины назвала его, «героем».

«Герои» только тихо вздохнул.

В придворном штате состоял еще старый барон Оттомар Отто, камергер покойного герцога, со своей очаровательной дочерью, семнадцатилетней блондинкой Юлианой, крестницей герцогини. Юлиана была фрейлиной герцогини так же, как и Адель Вессендорф,

брат которой, Артур, был камер – юнкером. Вессендорфы были близнецы – сироты. Им обоим вместе еще не исполнилось сорока лет. Они по боковой линии приходились дальними родственниками Кетлерам, обладали большим состоянием и не раз выручали герцогиню и ее фаворита в минуты денежных затруднений.

Во главе женского придворного штата стояла жена Бирона, но ее почти никогда не было видно при каких-либо приемах: то ей мешала болезнь, то заботы о детях, а вернее всего, ее собственный необщительный характер и врожденная робость. Но сегодня и она присоединилась к придворным. Сам Бирон находился при императрице. Однако в нем пробудилась энергия трусости. Он распорядился, чтобы у заставы стояли люди настороже и немедленно известили, если подъедут «знатные лица». Он был уверен, что посольство приедет со всевозможной пышностью. Он навестил и Авессалома, чтобы посмотреть на Сумарокова. Но, зайдя в подвал, уже не застал капитана. В углу, прикрытый кучей какого-то тряпья, громко храпел горбатый шут.

В бешенстве Бирон поднял его ударом ноги. Шут вскочил, заворчав, как собака.

– Где русский? – закричал Бирон.

Авессалом, только притворявшийся спящим, злобно взглянул на него и ответил:

– Ты же сам выгнал меня отсюда. Я боялся войти. Почему я знаю, где он!

Бирон грубо выругался. Не было сомнений, что капитан бежал. Ему оставалось только доложить об этом императрице.

– Ну и отлично, – сказала Анна. – Теперь у нас руки развязаны. Дай ему Бог, добраться скорее до Москвы. Там мы вызволим его.

Бирон, взбешенный в душе, молча наклонил голову. Он предпочел бы, чтобы Сумароков был выдан здесь же. Решившись не прятаться от посольства Верховного совета, он готов был каким угодно унижением или низостью купить расположение своих врагов и тем предотвратить возможную опасность.

Зимний день погас.

Анна приказала ярко осветить дворец. На дворе и у ворот загорелись масляные фонари, Анна стояла у окна и с тревогой и грустью смотрела на загорающиеся звезды; Вспомни-

лось ей ее темное детство, дворец царицы Прасковьи, с дурами, шутами и скоморохами... жизнь нелепая, странная, с церковными службами, постами и ассамблеями, юродивыми, монахинями и театральными игрищами... Ярче всех вставал в ее памяти образ наиболее чтимого при дворе ее матери юродивого Тихона Архипыча, грязного, лохматого, грубого, предсказывавшего ей то монастырь, то трон... До сих пор звучит в ее ушах голос Тихона, когда, бывало, он, встречаясь с нею, вместо приветствия кричал нараспев: «Дон, дон, дон! Царь Иван Васильевич!»

В этом постоянном возгласе юродивого, казалось, было предсказание короны. А монастырь!..

Анна вздрогнула. Не стоит ли она теперь на роковом распутье? Разве не могут ей вместо короны предложить монастырь, если она не согласится на все требования ненавистных людей, захвативших сейчас власть в свои руки? Темная жизнь, полная унижений, сменится ли иной – светлой, свободной? Перестанет ли она вечно чувствовать над собою чужую, унижающую ее волю?

Все обиды, все унижения, все неоправданные надежды сердца – в эти минуты сливались в душе Анны в чувство мстительной злобы к тем, кто и теперь опять хотел сделать ее игрушкой в своих руках.

При мысли о Василии Лукиче, в свое время так легко и пренебрежительно игравшем ее сердцем, нехорошая улыбка пробежала по губам Анны.

Низко над горизонтом ярко горела вечерняя звезда.

«Вот моя звезда, – подумала Анна. – Она предвещает трон и власть, а не темную келью...»

– Едут, едут, – раздался тревожный шепот Бирона, вбежавшего в комнату.

Она повернула к нему бледное лицо.

– Да будет воля Божия, – торжественно произнесла она. – Ты, кажется, боишься, Эрнст?

– Анна! – воскликнул Бирон, целуя ее руки.

XIX

Несшиеся впереди конные громко кричали, хотя улицы Митавы были почти пустынные, передовой трубил в медный рожок, громко заливались колокольчики троек, и красным светом горели факелы в руках фореиторов.

На необычный шум выскакивали из ворот испуганные митавцы, уже расположившиеся в этот час за ужином, и с тревогой расспрашивали друг друга: кто это такие и что случилось? Не приехал ли новый русский резидент или посольство от польского короля?

Василий Лукич приказал остановиться у ворот.

Бирон, сообщив императрице о приближении депутатов, поспешил во двор. Он вышел как раз в ту минуту, как у ворот остановились тройки. Он немедленно велел раскрыть ворота и вызвал караул. Многочисленные фонари и факелы осветили двор. Красный отблеск факелов отражался на медных доспехах и касках неподвижно, как статуи, стоявших курляндских солдат с алебардами в руках, похо-

жих на средневековых рыцарей. На правом фланге стоял молодой граф Кройц с обнаженным палашом в руке.

Бирон, в блестящем золотом мундире, с непокрытой головой, поспешил навстречу посольству.

Василий Лукич отдал Дивинскому несколько коротких приказаний и вошел в ворота.

Как будто тень удивления и подозрения скользнула по его лицу при виде торжественной встречи, но Бирон не дал ему времени задуматься. Низко поклонившись, он произнес:

– По повелению государыни (Бирон употребил это общее выражение, не желая назвать Анну герцогиней и боясь назвать ее императрицей), по повелению государыни приветствую вас, сиятельный князь, и все посольство российского императорского двора, от коего Курляндия видела одни благодеяния. – И, предупреждая вопрос Долгорукого, он торопливо добавил: – От Митавской заставы государыне донесли полчаса тому назад, что приехало императорское посольство.

Это объяснение, по – видимому, удовлетво-

рило Василия Лукича. Он сразу узнал Бирона и холодно кивнул ему головой.

– Я прошу вас, – сказал он, – разместить моих людей. Мне сказали, что здесь в соседстве сдается дом, возьмите его для нас. Что касается солдат, то они могут сменить ваших молодцов в карауле.

Бирон поклонился, немедленно передал слова князя следовавшим за ним камер – лакеям и крикнул о смене караула графу Кройцу.

Дивинский подошел с преображенцами.

Бирон шел впереди, указывая путь; за ним следовал Василий Лукич, несколько позади Голицын и Леонтьев, а за ними Шастунов и Макшеев. В вестибюле они сняли верхнюю одежду и по узкой лестнице прошли на второй этаж. Бирон провел их в маленький зал, откуда предварительно ушли придворные Анны, которым она приказала ждать ее в тронном зале.

– Что должен я передать государыне? – спросил Бирон.

– Что князь Василий Лукич Долгорукий, сенатор Голицын и генерал Леонтьев прибыли

с первой же важности поручениями от имени всей России, – сказал Долгорукий;

Бирон вышел.

Несмотря на всю его выдержку, было заметно, что князь Василий Лукич волнуется. Тонкие ноздри его орлиного носа слегка вздрагивали, рука нервно сжимала рукоять шпаги, а другой он то и дело оправлял на груди красную ленту. Как Анна, так и он, словно два врага, ждали и боялись этой встречи. Долгорукий, помимо успеха официального, еще хотел прежнего успеха, успеха у женщины, и как ни странно, но предстоящая встреча больше всего волновала его именно с этой стороны. Голицын был совершенно спокоен: во – первых, он не был членом совета и не играл никакой активной роли, а во – вторых, был слишком уверен в могуществе своего брата, фельдмаршала Михаила Михайловича, и в уме другого брата, Дмитрия Михайловича. Был спокоен и Леонтьев, не чувствуя на себе никакой ответственности и вполне уверенный в успехе начинания.

Алеша Макшеев все украдкой зевал и из-

редка повторял: «Когда♦то Господь приведет выспаться». Даже за время этого пятидневного путешествия, с долгими стоянками, ночлегами и удобным экипажем, он и то ухитрился не выспаться. Везде и всегда он находил для себя какое♦либо развлечение, То затеет игру в карты, кости, а коли нет, так просто в чет и нечет с каким♦нибудь сержантом, начальником поста да и играет всю ночь, когда уже пора снова выезжать. Или пропадет в соседнем селе или городишке. Не раз Шастунов и Дивинский думали, что совсем потеряли его, но он был точен и всегда вовремя уже был на своем месте, распорядясь, хлопоча, исполняя свои обязанности и поручения генералов.

И теперь, казалось, его мало занимало происходящее перед его глазами, глубокого значения чего он не понимал.

Зато Шастунов и Дивинский, присоединившийся к посольству в малом зале после того, как расставил караулы, не могли скрыть своего волнения. Этот день был для них великим днем. На шаг, сделанный Верховным советом, они смотрели как на первый шаг на пути к осуществлению высоких идей осво-

бождения народа от рабства, уравниения условий и уничтожения привилегий высших классов. Проект Дмитрия Голицына и его взгляды и стремления – все говорило за то, что Россия быстро двинется по новому пути вперед, лишь бы теперь был перейден заветный порог.

Шастунов глубоко проникся идеями, уже начинавшими волновать общество во Франции, откуда он только что вернулся. Эти идеи уже носились в воздухе в лихорадочной жизни Парижа и всей Франции. Это было время, когда восемнадцатилетний юноша, швейцарский гражданин, пламенный Руссо еще бессознательно воспринимал их в свою юную душу, и они копились там, как зарождающиеся грома; когда Вольтер уже ковал свои смертоносные, отравленные стрелы...

В Дивинском Шастунов встретил единомышленника. Во время долгого пути юноши вели между собою нескончаемые беседы на эту тему. Со всей пылкостью и энтузиазмом двадцати лет они отдались, как им казалось, великому делу освобождения родины.

Дивинский был одинок и приходился

дальним родственником князю Юсупову. Но кроме увлечения идеей у Дивинского были и другие причины вмешаться в игру. Из разговора Шастунов понял, что Дивинский увлечен княжной Юсуповой, дочерью Григория Дмитриевича, Прасковьей Григорьевной. Юсупов же примкнул к верховникам. Их поражение было бы его гибелью и гибелью всех личных надежд Дивинского. В случае победы он мог рассчитывать и на личное счастье. Вот почему Федор Никитич волновался вдвойне.

Шастунов, в свою очередь, мечтал о Лопухиной. Кто в двадцать лет не хотел бы казаться героем в глазах любимой женщины...

Василии Лукич нетерпеливо передергивал плечами; ожидание казалось ему слишком продолжительным. Но вот дверь в тронный зал широко распахнулась, и Бирон с низким поклоном произнес:

– Ее величество изволит ждать вас.

Едва произнес он эти слова, как тотчас почувствовал, что проговорился, и до боли прикусил нижнюю губу.

Сделавший шаг вперед Василий Лукич вдруг остановился, нахмутив брови, и подо-

зрительным взглядом окинул Бирона. Бирон окаменел в своей почтительной позе. Это продолжалось одно мгновение.

– А! – сказал Василий Лукич. – Кто был до меня?

И, не дожидаясь ответа, он перешагнул порог тронного зала.

XX

В ярко освещенном зале, на возвышении, обитом малиновым бархатом, под балдахинном, увенчанным герцогской короной, стояла Анна. Бледность ее лица была скрыта под румянами. В белом платье с длинным шлейфом, с высокой прической Анна казалась выше и стройнее. Ее фигура, с гордо поднятой головой, не лишена была известной величавости. Вокруг нее стояли ее немногочисленные придворные. Прекрасные личики Юлианы и Адели выражали детское любопытство. Они, очевидно, с трудом сдерживались, чтобы не обменяться впечатлениями. Барон Отто стоял неподвижно, как каменное изваяние. Артур и граф Кройц, сдавший Дивинскому караул, хранили суровую важность на своих молодых

лицах. Один маленький Ариальд, то и дело наклонявшийся, чтобы расправить шлейф императрицы, весело и лукаво посматривал на окружающие важные лица. Прибывшие» враги» вовсенеказались ему страшными. Молодые офицеры так были красивы в своих красных мундирах с золотыми галунами, этот пожилой – самый главный по – видимому, такой стройный, с таким смелым, решительным лицом и гордыми глазами, ему действительно нравился, и два других с такими добрыми лицами... Нет, они совсем не страшны. Но, переведя взгляд на желтое, растерянное лицо Бенигны и неподвижное лицо Бирона, Ариальд чувствовал, что какая-то опасность будто и существует. Он весь был поглощен своими наблюдениями, когда раздался низкий, почти мужской голос Анны:

– Князь Василий Лукич, я не была заранее предупреждена о вашем приезде, чтобы более достойно встретить императорское посольство. Но если прием недостаточно торжествен – то чувства наши от этого не менее искренни и благосклонны. Редкие гости российского императорского двора, как при любез-

нейшем дедe моем, как при блаженной памяти тетке, так и возлюбленном племяннике нашем, ныне благополучно царствующем императоре Петре Втором, всегда были вестниками щедрот и милости. Мы издавна знаем ваши верноподданнические чувства, князь Василий Лукич, – продолжала она, – а также и вашу приверженность нашим интересам. Будьте уверены в моем благоволении и вы и вахни товарищи, – как доложили мне, сенатор Голицын и генерал Леонтьев, – и эти юные офицеры победоносной российской армии.

При этих словах она слегка наклонила голову и кинула благосклонный взгляд на Голицына и Леонтьева с молодыми офицерами, стоявших за спиной Василия Лукича. Те глубоко поклонились.

– Скажите же, – продолжала Анна, – вестником какой новой милости являетесь вы сюда?

Всю свою речь Анна произнесла с достоинством и большим самообладанием. Она говорила по – русски, и из всех присутствовавших ее поняли, исключая посольство, лишь Бирон

да отчасти Ариальд. Бирон скверно говорил по – русски, но понимал.

Василий Лукич сам был тонким дипломатом, но речь императрицы вызвала в нем искреннее удивление. Он ни одной минуты не сомневался, после обмолвки Бирона, что Анне все известно, что она была предупреждена о приезде депутатов, но где она нашла столько спокойствия, самообладания, чтобы так разыгрывать роль? Он не узнавал ее. Но, поддерживая комедию, он наклонил голову и торжественно начал:

– Простите, государыня (он тоже намеренно избегал титула), простите, что не вестником радости являемся мы. Мы приносим горестную весть. Мы вестники горя, хотя смягчаемого мудрым решением народа.

Он помолчал, выдерживая паузу, как искусный актер, потом продолжал:

– Имейте мужество, государыня. Приготовьтесь к тяжкому удару...

Анна стояла, опустив глаза.

– Ваш возлюбленный племянник, наш обожаемый монарх, император всероссийский Петр Второй волею Божиею скончался в ночь

на девятнадцатое сего января.

Анна подняла бледную руку к глазам.

– Но, – торопливо продолжал Василий Лукич, – если гнев Божий и излился над Русью, то Господь дал нам и утешение и надежды на счастливое будущее. Войска, Сенат, Синод, генералитет, весь народ провозгласил своей императрицей достойнейшую – вас, ваше императорское величество! – при этих словах Василий Лукич опустился на одно колено. – И зная, – продолжал он, – милосердное сердце ваше и высокий разум, пекущийся едино о благе народном, Верховный тайный совет, купно с Синодом, Сенатом, генералитетом и шляхетством, составил пункты, дабы облегчить бремя царственных забот милосердной монархини и дать свободу голосу народа вопиять о нуждах своих и принять народу участие в счастливейшем устройении судеб своих. Да укрепит ваше императорское величество царственным словом своим вечный союз между монархами и народом, да правите вы в мире и благоденствии, купно с советниками вашими и народом, на благо великой России, на грозу врагам ее!

Голос Василия Лукича дрогнул, и он низко склонил свою красивую голову.

Сердце Шастунова похолодело от восторга при этих словах князя. Он взглянул на Дивинского. Тот стоял бледный, с горящими глазами, сжимая рукоять шпаги. Заветное слово было сказано.

«Свершилось», – пронеслось в мыслях Анны. Это не письмо графа Рейнгольда, не письмо Ягужинского, сообщавших об избрании, но келейным образом. Нет, это послы от всего народа необъятной империи подносят ей корону ее отца, ее великого дяди. Корону России, вознесенной на высоту, могучей, грозной, непобедимой! И хотя этого момента Анна ждала почти сутки и готовилась к нему, все же она была потрясена. Барон Отто сделал к ней движение. Но Анна быстро оправилась, выпрямилась во весь рост, глаза ее загорелись, бледность лица виделась даже под румянами, и, глубоко потрясенная; она обратилась к Василию Лукичу:

– Горестную и неописанную печаль привезли вы нам известьем о преставлении его императорского величества Петра Второго,

нашего любезнейшего племянника и государя. И по близости крови и по доброте к нам покойного государя мы считаем эту печаль за Божье наказание для всей нашей фамилии, а также для всего народа. Но вы объявляете мне, что по соизволению всемогущего Бога, который токмо един определяет державы и скипетры монархов, мы избраны на российский прародительский престол. Что же, да будет воля Божия! Я повинуюсь Божеской воле, как бы ни было тяжело правление такой великой и славной монархии. И знаем мы, что к царственному труду нашему потребны благие советы, и для блага народа утвердим мы словом нашим, какими способами мы хотим вести правление наше купно с народом самим. И себя и всех вас вручаю всемогущему Богу. – Анна замолкла.

– *Le roi est mort, vive le roi!*[11] – произнес тихо Василий Лукич, поднимаясь с колен. – Да здравствует императрица всероссийская Анна Иоанновна! – громко крикнул он, обнажая шпагу.

Восторженные крики загремели в зале.

Бирон уже успел объяснить придворным,

что происходит, и они присоединили свои восторженные приветствия к кликам русских.

Со счастливой улыбкой Анна милостиво протягивала руку для поцелуев.

– Ваше величество, удостоьте меня аудиенции для подписания кондиций, указующих пути правления вашего, – твердо произнес Василий Лукич, глядя на Анну блестящими глазами.

Анна опустила глаза, и он не мог прочесть в них блеснувшей угрозы.

– Да, – тихо ответила она, – идите за мной.

Она сделала милостивый жест присутствующим, как бы предлагая им остаться, и вышла, сопровождаемая торжествующим Василием Лукичом и полными ревливой злобы и отчаяния взглядами Бирона.

По уходе императрицы князь Михаил Михайлович, как старший, подошел к барону Отто, представился ему и попросил его позволения представить членов посольства дамам.

Барон Отто отвечал с изысканной любезностью, и скоро в зале послышалась оживленная немецко – французская речь молодежи.

жи. Сам барон с Голицыным и Леонтьевым отошли в дальний угол и занялись дипломатической беседой, причем генерал Леонтьев, не зная никакого языка, кроме русского, смертельно скучал да, кроме того, устал с дороги, и ему хотелось только спать. Бирон, не прикнувшись ни к одной группе, нервно кусал ногти, не смея идти вслед за императрицей и не решаясь уйти домой. Бенигна с уходом императрицы поспешила домой к детям.

Наконец, чтобы как-нибудь заполнить время, Бирон вышел справиться, исполнены ли его распоряжения о приготовлении помещения для посольства. Ему предстояло еще позаботиться, чтобы помещение это было прилично обставлено и чтобы депутаты Верховного совета не имели ни в чем недостатка во время пребывания в Митаве. Для этого Бирону приходилось порядком опустошить хотя и обильно снабженные погреба герцогини да постараться достать денег. Впрочем, насчет денег он мало беспокоился. Он был уверен, что князь Василий Лукич привез их на нужды императрицы.

Тем временем молодые люди уже беседо-

вали, как друзья. Юлиана и Адель с большим интересом расспрашивали русских офицеров о Петербурге и Москве, о нравах общества, о костюмах дам. Граф Кройц и Артур больше интересовались формой и жизнью гвардейских офицеров. Молодые офицеры шутили, смеялись, заранее приглашая своих хорошеньких собеседниц на танцы на ближайший придворный бал по случаю коронации Анны.

Все радостно и с надеждой смотрели вперед. Молодость и жизнь улыбались им.

Но Ариальд, торопливо вошедший в зал, расстроил их дружескую беседу. Подойдя к капитану Дивинскому, он быстро проговорил:

– Сиятельный князь просит вас.

Дивинский извинился и поспешил за Ариальдом. В соседней комнате он застал Василия Лукича. Василий Лукич был, видимо, чем-то раздражен и взволнован.

– Слушай, – отрывисто произнес он, – нам изменили и, кажется, здесь (он указал рукою на дверь, за которой, по – видимому, находилась императрица) нас предают или хотят обмануть. Только хитры очень, – с усмешкой до-

бавил он. – Так вот, до нас здесь уже был послан от графа Ягужинского. Он уехал за несколько часов до нас. Капитана Сумарокова знаешь? – спросил князь.

– Лейб – регимента?

Князь кивнул головой.

– Хорошо знаю, – ответил Дивинский. – Петр Спиридонович.

– Ну, так это он, – продолжал князь. – Что он привез, мне не сказали, с чем уехал – тоже не говорят. Наше дело новое, дело страшное. На кону стоят головы. Что там делается в Москве, Бог весть, какой комплот составляют враги, – может, с ней вместе. Так вот, бери двух людей, что порасторопней, гони за Сумароковым и привези его сюда. Понял? Привези его сюда. Если он будет сопротивляться – убей его. Но живой или мертвый он должен вернуться в Митаву. Ступай.

Василий Лукич круто повернулся и скрылся за дверью.

«Бедный русский офицер, – подумал подслушивающий, по обыкновению, Ариальд. – Бедняга, кажется, теперь пропал совсем. Напрасно я старался. Старик с красной лентой

шутить не любит».

Ариальд еще раз вздохнул и вышел в зал.

Дивинский извинился перед новыми знакомыми, сказал, что князь дал ему маленькое поручение, и вышел.

«Поймать Сумарокова! – подумал он. – Это легче сказать, чем сделать. Уж коли пробрался в Митаву, когда стояли на дороге караулы, как же не проберется в Москву, когда сам же Василий Лукич приказал снимать их вслед за нами. И на чем ехать? Лошади устали...»

Встреча с Бироном вывела его из затруднения. Он вспомнил разговор про Бирона, как про страстного любителя лошадей, тратившего на них последние деньги.

К нему и обратился за лошадьми Федор Никитич. Дивинский сказал, что по поручению князя надо догнать и вернуть некоего человека, выехавшего из Митавы. Бирон, конечно, сразу понял, в чем дело, и с особой радостью заявил, что через несколько минут ему подадут дивных лошадей, достойных самого Саладина.

Дивинский приказал взять на всякий случай еще трех запасных лошадей из наименее

уоставших и выбрал себе в спутники двух лихих преображенцев.

Действительно, лошади Бирона оказались достойны его похвал. Бирон любовно потрепал каждую из них по шее, называя их ласкательными именами, заботливо осмотрел, хорошо ли они оседланы, и наконец сказал, обращаясь к Дивинскому:

– Они проскачут двадцать миль не уставая, за это я ручаюсь вам. Таких нет во всем герцогстве. Счастливого пути.

Через несколько мгновений Дивинский с солдатами уже несся во весь опор по пустынным улицам к рижской заставе.

XXI

Оживление во дворце продолжалось. Ша-
стунову казалось, что с его сердца скатил-
ся тяжелый камень. В ответной речи своей
императрица явным согласием ответила на
слова князя о совместном правлении. Вопрос
решен. Он чувствовал себя совершенно счаст-
ливым.

В девять часов по приказанию императри-
цы всех пригласили к ужину. Шастунов пред-
ложил руку Юлиане, а Макшеев, который уже
не зевал больше, – Адели. Императрица веле-
ла садиться без нее. Князь Василий Лукич все
еще был у нее.

Когда уселись за стол, лакеи, по приказу
князя Голицына, наполнили вином старин-
ные кубки. Голицын встал и, высоко подняв
кубок, громко произнес по – немецки:

– За славу и здоровье императрицы всерос-
сийской Анны! Да процветет под ее державой
великая Русь! Да благоденствует счастливая
Курляндия! За русский народ! За доблестных
курляндцев! Noch!

– Noch! Noch! Ура! – раздались восторжен-

ные крики.

Зазвенели дедовские кубки.

На тост Голицына ответил старый барон Отто пожеланием успехов гостям, привезшим весть о великой радости.

Развеселившийся Макшеев поднял кубок за курляндских красавиц, а Артур – за русских. Веселие царило самое непринужденное.

Наконец распахнулись двери, и на пороге появилась Анна. За ней следовал князь Василий Лукич. Жадным взором впился в лицо императрицы Бирон. Но лицо Анны сияло, князь еще выше и надменнее поднял голову. Все встали, и снова раздались восторженные крики.

Анна с улыбкой обвела всех блестящими глазами и взглянула на князя. Старый дипломат мгновенно понял ее желание. Он бросился к ее прибору, быстро наполнил ее кубок вином и на подносе подал его, низко кланяясь. Ан* на подняла кубок:

– За новых моих подданных и за старых друзей моих – курляндцев!

Восторженное» виват» раздалось в ответ.

Императрица пригубила вина и поставила

кубок на поднос, который держал в руках князь Василий Лукич.

– Благодарю вас, – сказала она. – Завтра мы еще увидимся.

Она улыбнулась, кивнула головой и вышла, что ♦то сказав Василию Лукичу. На этот раз князь не последовал за ней.

Глубоко затаив в себе обиды и опасения, Бирон подошел к Василию Лукичу и почтительно доложил, что помещение для господ депутатов готово и что весь штат дворца в его полном распоряжении.

Князь, не взглянув на Бирона, небрежно кивнул головой. Потом с любезной улыбкой подошел к старому барону, сказал ему несколько изысканных любезностей, сам представился девушкам и со свойственным ему умением разговаривать с женщинами успел произвести на них приятное впечатление. Дружески пожав руки молодым людям, выпил вина и, извинившись, ушел, оставив впечатление любезного, красивого и изящного придворного. С ним вместе вышли Голицын с Леонтьевым, горя нетерпением узнать подробности свидания с Анной. Скоро разо-

шлись по домам и другие.

Бирон действительно позаботился. Для депутатов был сейчас же снят рядом с дворцом просторный дом, про который говорил Василий Лукич. В дом втащили ковры, посуду, вина и всякой снеди: медвежьих, телячьих, свиных окороков, масла, яиц и прочего, что в изобилии доставлялись герцогине с ее обширных «амптов»[12], предоставленных ей в «диспозицию» на десять лет еще Петром I. Кроме слуг, приехавших вместе с депутатами, Бирон отправил туда еще повара и метрдотеля.

Бирон сам проводил депутатов до подъезда.

Нельзя передать чувства, наполнявшие душу Бирона. Рабский страх, заставлявший его унижаться перед Василием Лукичом, человеком, смертельно обидевшим его, ненависть, ревность, стыд, как змеи, сплелись в один отвратительный клубок в его душе. Он своими бы руками с наслаждением задушил этого надменного вельможу... но низко поклонился на небрежный кивок князя.

Василий Лукич прошел в отведенные ему

комнаты вместе с Голицыным и Леонтьевым; там он передал им свой разговор с императрицей и показал им кондиции, на которых крупным и четким почерком было написано: «По сему обязуюсь все без всякого изъятия содержать. Анна».

– Мы победили! – произнес Голицын, перекрестившись.

Василий Лукич молча посмотрел на него и покачал головой. Нельзя сказать, чтобы он чувствовал себя вполне победителем. Что-то уклончивое, затаенное, словно скрытую угрозу, чувствовал он под внешним благоволением и покорными словами Анны. С тайной досадой видел он, как она упорно и настойчиво отклоняла всякий осторожный намек его на бывшие когда-то между ними иные отношения.

Депутаты приступили к сочинению подробного донесения Верховному совету.

Подвыпивший Макшеев с наслаждением растянулся на пышной мягкой перине и с чувством радостного удовлетворения произнес:

– Слава те, Господи! Наконец-то я ото-

сплусь!.. Бедный прапорщик! Судьба зло шутила над ним.

Не прошло трех – четырех часов, как его уже разбудили и потребовали к князю.

Ворча под нос и ругаясь, Макшеев оделся и явился к Василию Лукичу. Василий Лукич был один; Голицын и Леонтьев отправились спать.

Василий Лукич, как всегда свежий и бодрый, встретил его словами:

– Ну, поручик, лети в Москву. Вот письма.

«Поручик! – подумал Макшеев. – Со сна, что ли, я пригрезил?»

Князь улыбался.

– Поручик, поручик, поздравляю, – продолжал он. – Свези письма князю Дмитрию Михайловичу и взамен получишь патент.

Последние остатки сонливости слетели с лица Макшеева...

– Ваше сиятельство! – воскликнул он. – Рад служить родине!

– Я знаю это, – произнес князь. – Потому и верю тебе! Спеш.

Шастунов, взволнованный, долго не мог заснуть, но едва он задремал, как в комнату

шумно вошел Макшеев.

– Шалишь, брат! – громко крикнул он. – Мы сами такие же поручики! ц

Шастунов поднял голову.

– Ты что это? – спросил он. – Спать надо.

– Кому спать, а кому ехать за фортунной, – весело говорил Макшеев, и в коротких словах он передал Арсению Кирилловичу о случившемся.

– Ну, желаю тебе успеха, очень рад, – искренно сказал князь.

– Смотри, брат, вернусь генералом, – шутил Макшеев, торопливо пряча в кожаный мешочек на груди драгоценные письма.

Он крепко пожал руку Шастунову, выпил стакан вина, предусмотрительно запасенного им с вечера, и ушел.

А Бирон, не решаясь уже без зова идти теперь к императрице, как побитая собака пробрался, избегая встреч, к себе. Он не пошел в спальню, чтобы избежать расспросов Бенигны, а прошел в свой кабинет. Там он, не раздеваясь, бросился на диван и, уткнувшись лицом в жесткую подушку, быть может, в пер-

вый и последний раз в своей жизни заплакал. Это были слезы бешенства, и за каждую ядовитую слезу, падавшую на подушку, вышитую самой нынешней императрицей, должны были пролиться потоки крови.

И не раз воспоминание об этих слезах погасит проблеск человеческого чувства, когда вспыхнет он в душе курляндского выходца в грядущие годы!

Бирон встал и тихо прошел в потайной покоей, где был спрятан им Густав Левенвольде, находившийся здесь уже целые сутки. Левенвольде не спал и спокойно читал Библию. На его сухом, твердом лице не отражалось никакого волнения. Напротив, он с удивлением взглянул на расстроенное лицо Бирона.

– Что случилось, Эрнст? – спросил он.

– Я погиб, Густав, – хриплым голосом ответил Эрнст, хватаясь за голову.

– Сядь, успокойся и расскажи, – спокойно сказал Густав.

Бирон в волнении начал передавать ему события дня.

– Ну что ж? – произнес Густав, когда он кончил. – Что же случилось? Все произошло,

как и надо было ожидать, Эрнст. Не думал ли ты, что князь Долгорукий бросится тебе на шею или императрица откажется от престола? – Он тихо засмеялся. – Анна – хитрая и умная женщина, – продолжал он, – и война только что началась. Здесь неудобное поле сражения – вот и все. Терпение, дорогой друг.

Уверенный, спокойный тон Густава подействовал на Бирона.

– Мы не спим, слушай, – и хотя в комнате никого, кроме них, не было, Левенвольде, нагнувшись к самому уху Бирона, стал шептать ему: – Надо начинать игру, – закончил он. – Якуб у тебя. Пришли его ко мне, я заготовлю письмо брату.

Бирон вышел заметно успокоенный. Он распорядился тихонько привести Якуба и уже хотел лечь спать, как явился доверенный камер – лакей герцогини Франц и сказал, что императрица ждет его.

Сердце Бирона преисполнилось надежды. Задним ходом через маленькую кухонную дверь, никем не замеченный, он прошел во дворец.

Он вернулся оттуда на рассвете, доволь-

ный и счастливый, и прошел в спальню, где верная Бенигна в тревоге ждала его... Нежные супруги еще не спали, когда на дворе началась обычная жизнь.

В это же утро князем Василием Лукичом было отдано строгое приказание никого не допускать к императрице без его разрешения. Узнав об этом, Анна только нахмурилась, но не сказала ни слова.

Если Бирон, желая доказать свою верность и покорность, выиграл в глазах князя Василия Лукича, дав Дивинскому действительно прекрасных лошадей, – то для Якуба Левенвольде приказал приготовить собственную лошадь Бирона, зная, что Бирон с радостью согласился бы на это.

Они действовали ради одной цели. Экономный Левенвольде, давая Якубу подробное письмо к брату, не поскупился на деньги. Кроме того, хорошо знакомый со всеми окрестностями Митавы, он объяснил ему кратчайший путь на Ригу помимо тракта.

Добравшись до домика вдовы Ленц, измученный и усталый, Сумароков не мог отказать себе в удовольствии выспаться. Напрасно Яков твердил ему, что надо ехать вперед, что лучше спать в дороге, напрасно он указывал ему на возможность преследования, Сумароков только отмахивался рукой, едва соображая от усталости слова Якова. Притом он был уверен, что все же императрица не выдаст его окончательно.

Старуха Ленц приготовила ему укромное местечко в задней кладовке. И когда Сумароков, сняв тяжелые сапоги, лег на мягкие перины, он мгновенно забыл обо всех опасностях и, обессиленный, заснул глубоким сном.

Яков разбудил его к вечеру, и, щедро заплатив старухе, Сумароков в скромном возке благополучно выбрался из Митава.

На рижской дороге он облегченно вздохнул, узнав, что посольство явилось в Митаву сравнительно недавно. Рассчитывая, что у него много времени впереди, Сумароков перестал торопиться. Но все же, добравшись до ближайшей почтовой станции, он бросил свой наемный возок и приобрел верховых ло-

XXII

Положение Дивинского было затруднительно. Представлялось нелегкой задачей преследовать в неизвестной местности человека, уехавшего за много часов раньше. Кроме того, ему было тяжело его поручение. Он хорошо знал Сумарокова, не раз водил с ним компанию и привык видеть в нем товарища. Но мысль о том, что это делается для блага родины, поддерживала его.

Кони Бирона действительно были хорошими скакунами. У заставы Федор Никитич узнал, что кроме возка, в котором сидел человек, назвавшийся купцом, с приказчиком, никто не проезжал. Очевидно, этим человеком мог быть Сумароков.

По ровной зимней дороге дружно неслись кони. Дивинский торопился. Гулко стучали копыта коней. Широкая дорога была ярко озарена луной. Было пустынно. Направо и налево чернел лес, и не виднелось признака жилья.

Но вот показался огонек. Это была почто-

вая станция. Дивинский направился к ней. Он успел заметить, как какой-то человек при его приближении быстро юркнул в маленькую калитку...

Чувствуя себя в безопасности, имея перед собой несколько часов, Сумароков, запасшись верховыми лошадьми, дал себе некоторый отдых.

Он ужинал. Перед ним стоял медвежий окорок, и он, не торопясь, отрезал от него лакомые куски, запивая рижским пивом. Чем больше он пил, тем больше приходил в хорошее настроение. Он чувствовал себя вне опасности. Добравшись до Москвы, он найдет себе сильную защиту в лице Ягужинского, все ему расскажет, и, быть может, Ягужинский пригласит к верховникам, и судьба его, Сумарокова, будет обеспечена.

Но радужное настроение камер – юнкера голштинского герцога было нарушено вбежавшим Яковом.

Яков вбежал испуганный и встревоженный.

– Едут! – крикнул он. – За нами погоня. Они настигли нас! Спасайтесь!

Сумароков вскочил:

– Что случилось?

В ответ на свой вопрос он услышал неистовый стук в ворота.

– Спасайтесь, – повторил Яков. – Это за вами. Испуганный хозяин выскочил из темной клетки. Яков

схватил его за руку.

– Что ты делаешь! – воскликнул Сумароков.

– Скажите ему, чтобы он не отпирал ворот, – быстро ответил Яков, продолжая держать толстого перепуганного немца.

Сумароков понял. Он вынул пистолет и, обратясь к дрожавшему от страха немцу, сказал ему:

– Не смей открывать ворота. Немец послушно опустил голову.

– Я бегу, – сказал Яков. – Я знаю здесь задний ход, я подведу лошадей к окну.

С этими словами он поспешно выбежал. Перепуганный насмерть немец забился в угол, весь дрожа. Собаки заливались на дворе бешеным лаем. Тяжелые ворота сотрясались под ударами.

Бледный и решительный Сумароков положил на стол пару пистолетов и взял в руку шпагу. Один за другим раздались два выстрела. Это по приказанию Дивинского перелезший через забор вахмистр разбил на воротах тяжелый замок. В комнату вбежал Яков.

– Скорей, в окно, – крикнул он. – Там лошади!

Сумароков бросился к окну, но едва вскочил на подоконник, как в горницу ворвался Дивинский и крикнул:

– Капитан, я буду стрелять. Стойте!

В то же мгновение вбежавший преображенец направил ружье на Якова: сопротивление было невозможно.

Сумароков все же хотел прыгнуть в окно, но, к ужасу своему, увидел у окна солдата, взявшего наперевес ружье со штыком.

Сумароков прыгнул назад. Со шпагой в руке, негодующий и озлобленный, он остановился среди комнаты.

– А, Федор Никитич, – произнес он. – Здравствуйте. Я думал, разбойники напали, а оказался свой же брат, офицер гвардии. Чего вам надобно?

Дивинский побледнел и обнажил шпагу.

– Капитан Сумароков, – сурово начал он. – Я не разбойник. Разбойник вы, что хотите зла России. Сама императрица против вас... Я должен арестовать вас и доставить в Митаву, по приказанию Верховного тайного совета.

Лицо Сумарокова исказилось судорожной улыбкой.

– А, – произнес он. – Так, значит, сама императрица против меня! Что ж, – продолжал он. – Ваше счастье...

– Вашу шпагу, – прервал его Дивинский.

– Мою шпагу? – насмешливо повторил Сумароков. – Нет, я не отдам ее вам. В чем обвиняют меня? И в чем виноват я? Я приехал по поручению, коего послушаться не мог. Вы сами знаете субординацию. Мог ли я послушаться!

– Это разберут те, кто приказал мне задержать вас, – сдержанно ответил Дивинский. И, заметя, что присутствие остальных, по – видимому, стесняет Сумарокова, он приказал увести Якова и немца.

Яков покорно последовал за солдатом.

Оставшись вдвоем с Сумароковым, Дивинский спокойно вложил шпагу в ножны и сел

к столу.

– А теперь, капитан, – начал он, – поговорим без помехи, начистоту.

Сумароков тоже спрятал шпагу и ответил:

– Я ничего лучшего не желаю. – Он сел и любезно предложил Дивинскому подкрепиться. – Я сам не успел кончить ужина, – с улыбкой добавил он.

Дивинский поблагодарил, и не прошло пяти минут, как молодые люди ели и пили, как добрые приятели. Сумароков был смел. Он понял, что ни бежать, ни сопротивляться невозможно, и мужественно глядел вперед. Он был уверен, что в Митаве его не казнят, а в Москве все же он надеялся на Ягужинского и его тестя великого канцлера Головкина и, главным образом, на императрицу. Не позволит же она казнить офицера гвардии только за то, что он ради ее пользы пренебрег верховниками!

– Вы победили, – говорил он Федору Никитичу. – Не знаю, будет ли то на благо России, но не будьте жестоки. Вспомните Меншикова. И что может ожидать вас! Императрица смела и лукава. Она не дастся без боя. Одно

хорошо затеяли господа министры – это не пускать в Россию этого подлого конюха Бирона!

– Ага, – ответил Дивинский. – Он стал как шелковый. Прямо как собака смотрит в глаза князю Василию Лукичу.

– Дай ему только воли, он покажет себя, – заметил Сумароков.

– Так едем? – спросил Дивинский.

– Слово дворянина – я не сделаю попытки к бегству, – ответил Сумароков. – Но... – добавил он. – Вы захватили меня, но кто♦то был у нее до меня, быть может, важнейший...

– Как так? – с тревогой спросил Дивинский.

Тут Сумароков подробно рассказал Федору Никитичу дорожные приключения Якова и свои подозрения. Дивинский внимательно выслушал его.

– От кого же он мог быть?

На этот вопрос он не находил ответа. Только тревожное чувство сжимало его сердце. Где♦то в темноте терпеливо и настойчиво кто♦то подготовлял им гибель. Нет врага страшнее незримого.

Яков, узнав об обещании своего господина,

заявил, что барина своего ни за что не оставит.

Солдаты с Яковом вывели за ворота лошадей и ждали офицеров. В это время вдали на дороге, ярко озаренной луной, показался несущийся во весь опор всадник.

– Надо задержать, – произнес один из солдат. Но едва он выехал на середину дороги и крикнул; – Стой! Кто едет? Как всадник уже наскочил на него.

– Прочь! – закричал незнакомец.

В ту же минуту блеснул огонек, раздался выстрел, лошадь преображенца встала на дыбы, шарахнулась в сторону, и незнакомец пронесся дальше.

– Он! Он! Это он! – как сумасшедший, закричал Яков. – Бей его, кто в Бога верует!

Почти одновременно раздалось два выстрела. Это выстрелили из ружей оба солдата. Кроме того, конный помчался за незнакомцем. Но сразу было очевидно, что погоня, если лошадь незнакомца не ранена, не может достигнуть никакого успеха.

– Это черт, а не лошадь, – произнес оставшийся вахмистр.

Действительно, незнакомец несся, как привидение. Лошадь расстилалась по земле, отбрасывая от себя и всадника резкую, черную тень на светлую дорогу.

Скоро незнакомец скрылся из глаз, а несшийся за ним преображенец все еще виднелся вдали.

На выстрелы выбежали офицеры. В нескольких словах Яков объяснил, что случилось. Он хорошо узнал незнакомца. Это был тот самый человек, который отнял у него лошадь и запер в клеть.

Сумароков вздохнул. Он подумал, что, если бы таинственные враги не опередили его, он был бы встречен иначе и не был бы в таком унижительном положении.

– Ну, что ж! – произнес Федор Никитич. – Теперь не поймаешь. Думаю, что и унтер сейчас вернется. Гайда! В Митаву!

Он вскочил на коня, и маленький отряд шагом направился по дороге в Митаву. И у победителя, и у побежденного были одинаково невеселые думы.

У самой заставы они встретили Алешу Макшеева. Радостный и возбужденный, Але-

ша пожал руку Сумарокову, выразил сожаление по поводу недоразумения с капитаном и коротко рассказал Дивинскому о своей удаче. Дивинский поздравил его и, в свою очередь, передал ему о встрече, посоветовал поторопиться и, если еще возможно, задержать подозрительного незнакомца.

– Поймаю – не вырвется, – ответил Макшев и, вздохнув, добавил: – Опять не спавши! Когда ♦ то Бог приведет выпасться!..

Он попрощался и понесся дальше.

Пока Дивинский докладывал князю Василию Лукичу подробности ареста Сумарокова и встречу с таинственным гонцом, бывшим в Митаве раньше Сумарокова, князь Шастунов дружески приветствовал Петра Спиридоновича и от всей души жалел его.

– Но, – говорил он, – конечно, все, выяснится. По всей справедливости в ответе должен быть граф Ягужинский. Вы его адъютант, вы не смели его послушаться.

Сумароков, по правде говоря, не очень тревожился. Во всяком случае судьба его решится не здесь, а в Москве.

Дивинский вернулся мрачный и озабоченный.

Князь очень сурово отозвался о Сумарокове. Он приказал немедленно отправить его в острог и заковать в цепи. А завтра утром подвергнуть допросу. Сумароков сильно побледнел. Он не ожидал такого унижения. Острог! Цепи!

И Дивинский и Шастунов находили эту меру слишком суровой.

– Я не отправлю вас теперь в острог, – решительно произнес Дивинский. – Я не тюремщик, да и не знаю, как здесь отправляют в острог и где он. Завтра утром я представлю ему вас для допроса. А теперь вы мой гость.

Сумароков от души поблагодарил молодых офицеров.

Василий Лукич не спал. Отправив Макшеева и приняв рапорт Дивинского, он снова углубился в работу. Он снова писал Верховному тайному совету. В письме он предлагал произвести самое строгое следствие, кто и от кого был этот таинственный первый гононец; сообщал о предательстве Ягужинского и поимке Сумарокова. В каждом слове его пись-

ма чувствовалась тревога, неуверенность за прочность достигнутых результатов. По его мнению, только неумолимой строгостью, даже жестокостью можно закрепить достигнутое. Особенно надеялся на сурового князя фельдмаршала Василия Владимировича Долгорукого.

Побледнело небо, редел мрак, а князь Василий Лукич все еще не спал. «Скорее из этого осинового гнезда, на простор, в Москву», – думал он. Спать ему не хотелось. Он приказал подать плащ и вышел ко дворцу пройтись и, кстати, проверить караулы. На улице было пустынно. У ворот и калитки дворца неподвижно стояли часовые. Они узнали князя и вытянулись.

Через калитку князь вошел во двор. В окнах дворца было темно. У подъезда тоже стояли часовые. Князь усмехнулся. Ему показалась забавной мысль, что он, министр Верховного тайного совета, держал свою императрицу в почетном заточении; что эти солдаты слушаются только его приказаний и не смеют слушаться приказаний императрицы всероссийской!

Он обошел двор. Но вдруг он услышал за стеной неясный шум. Василий Лукич остановился за выступом. В полусумраке зимнего утра он увидел, как открылась в стене незаметная дверь и появилась высокая стройная фигура, закутанная в плащ. Князь без труда узнал Бирона. Он нахмурил брови. «Вот как, – подумал он. – Игра началась». И, плотнее закутавшись в плащ, сумрачный и решительный, он вышел за ворота дворца.

Часть вторая

I

В последние дни граф Павел Иванович Ягужинский заметно осунулся. Он стал нервен и раздражителен. Отношения его с министрами Верховного тайного совета были натянуты. К нему относились недоверчиво и подозрительно. С той минуты, как он отправил Сумарокова к герцогине Курляндской, теперь уже императрице всероссийской, он не знал покоя. Черная туча повисла над его головой. По его расчету, Сумароков уже должен был вернуться. Ягужинский почти раскаивался, что затеял игру, быть может, преждевременно.

Крупными шагами ходил он взад и вперед по своему кабинету в то время, как его секретарь, молодой, худощавый человек с быстрыми черными глазами, Семен Петрович Кротков, раскладывал на столе бумаги. Это были дела из Сената, взятые графом еще при жизни Петра II для рассмотрения. Секретарь, больше

для вида и по привычке, в порядке раскладки ввал их. Он отлично знал, что Павел Иванович и не прикаснется к ним.

Действительно, не до них теперь было Ягужинскому. Да к тому же со смертью Петра прекратилось всякое движение дел и в Сенате, и во всех коллегиях. Государственная машина остановилась.

Семен Петрович искоса поглядывал на графа, на его озабоченное, похудевшее лицо и, хотя был уже не нужен Павлу Ивановичу, медлил уходить, словно чего-то дожидаясь. И он дождался.

Павел Иванович остановился и, очевидно желая отвлечься от своих тяжелых дум, обратился к своему секретарю:

– Ну, что слышно в городе?

Семен Петрович словно ждал этого вопроса. Он оживился.

– В городе, ваше сиятельство, все по-прежнему, только господа фельдмаршалы распорядились, чтобы после девяти часов вечера в обывательских домах огня не было, да усилили дозоры... Боятся чего-то.

– Вот как, – задумчиво произнес Ягужин-

ский.

– Дошло до Верховного совета, – продолжал Кротков, – что шляхетство противу них волнуется. Еще бы, – продолжал он. – Кто не с ними – тот враг им! А всякая душа калачика хочет. Шляхетство тоже не обсевок в поле. Его не выкинешь. Намедни у командира Вятского полка Зарубова офицеры собрались. Тоже надо знать про себя ♦ то, что ожидает? Так сами знаете, что сказал Василий Владимирович: «Негоже ♦ де офицерам собираться для рассмотрения политических вопросов. Про то ♦ де ведает Верховный совет». Ну, и разогнали всех, кого куда!

Ягужинский, мрачно нахмурившись, слушал слова своего секретаря. Действительно, Москва переживала необыкновенное время. Словно раскрылись какие ♦ то ворота, около которых толпился безмолвный народ, и все сразу заговорили. Все слои общества, начиная со стоящих во главе его знатных лиц, через шляхетство, мелкое дворянство, «la petite noblesse» [13], как называли этот круг иностранные резиденты, до последних дворовых, – все понимали, что они стоят на рубеже,

за которым их ожидает новая жизнь. Какая? Никто не мог бы сказать. Слух о том, что Верховный совет решил ограничить самодержавную власть, быстро распространился сверху донизу. И все с жадностью ожидали своей доли.

Знатные лица хотели присвоить себе власть, шляхетство мечтало принять участие в правлении, холопы и крепостные бредили свободой. Все казалось доступно и близко. Получился кипящий котел, в котором кипела Москва.

Верховники вызвали это движение и, как древний чародей, который призвал демонов и не мог совладать с ними, беспомощно стояли среди разыгравшихся страстей.

Дворовые подняли головы, шляхетство громко выражало свое негодование на поведение верховников, задумавших дело самовластно, ни с кем не делаясь своими планами. Настала полная анархия, и на эту анархию верховники ответили крутыми мерами. Всякие собрания были строго запрещены. Заставы закрыты. В Москве усилены караулы.

Ягужинский все это знал. Но знал он и еще

больше. Ему было известно, что сношения с Митавой запрещены под страхом смертной казни, что он нарушил этот приказ и что верховники не постесняются с ним. По крайней мере, находясь в их положении, он не задумался бы предать смерти своих врагов.

Он снова тревожно заходил по комнате.

Семен Петрович замолчал и стоял, опустив глаза, ожидая или новых расспросов, или позволения уйти.

В эту минуту в соседней комнате раздались быстрые, легкие шаги, запахнулась дверь, и на пороге появилась очаровательная девушка лет шестнадцати, почти ребенок, с темно – русыми мягкими кудрями и большими голубыми глазами.

Кротков почтительно склонил голову, и на озабоченном лице Ягужинского мелькнула счастливая улыбка.

Это была его любимица, дочь Маша. В его суровом сердце было только одно теплое чувство – и это чувство принадлежало этой нежной, прекрасной девушке, его дочери. Во дни фавора Долгоруких он мечтал для своей дочери о возможности породниться с ними, и де-

ло было уже почти слажено. Покойный отрок – император благоволил к нему, как к одному из сподвижников своего деда. Его фаворит, князь Иван Алексеевич Долгорукий, юный и легкомысленный, не мог оставаться равнодушным к красоте едва расцветающей Марии. Он влюбился в нее и хотел жениться. Павел Иванович торжествовал. Но, упоенный своим положением, отец фаворита и государыни – невесты, князь Алексей Григорьевич, восстал против этого брака. Ему казалось унижительным, ему, будущему тестю императора, породниться с Ягужинский, хотя и графом, но, по его мнению, худородным человеком.

Свадьба расстроилась. Он просватал сыну Наташу Шереметеву, чей род, в своей гордости, считал достойным породниться с Долгорукими, тем более что Шереметевы были богаты.

Этого не мог простить ему Ягужинский. Еще раз он почувствовал, до какой степени чужд он тем, кто составлял собою высший придворный круг, в котором знатное имя заменяло все таланты.

С этой поры не было у Долгоруких врага

злее Ягужинского! Иван скоро забыл свое мимолетное увлечение, а Маша никогда и не увлекалась этим бледным, преждевременно истощенным юношей.

Маша с ласковой улыбкой ответила на поклон Кроткова и, обращаясь к отцу, быстро проговорила:

– Я увидела из окна, – дедушка едет.

Дедушка – отец ее матери, Гаврило Иванович Головкин.

– Я хотела сказать тебе это, батюшка, – продолжала девушка. – Может, встретишь его? Я бегу к нему.

И с этими словами Маша повернулась и убежала, оставив после себя благоуханье свежести и молодости.

– Граф Гаврило Иваныч, – с затаенной тревогой произнес Ягужинский. – Что это значит?

Старый граф очень редко навещал семью Ягужинского, и каждый его приезд знаменовал какое-либо событие.

Павел Иванович поспешил старику навстречу. Он встретил его в большой зале. Граф ласково здоровался с Машей и своею до-

черью, женой Павла Ивановича Анной – красивой, средних лет женщиной.

Старик дружески пожал руку Павлу Ивановичу и с улыбкой произнес:

– А, какова внучка! Да она, право, лучшая из внучек! Какой красавицей растет! Что Иван Долгорукий! Мы тебе принца сосватаем...

Маша покраснела до слез.

– Дедушка! – воскликнула она, прячась за мать.

Ягужинский внимательно глядел на тестя. Да, его тесть пользовался завидной репутацией среди иностранных резидентов как сдержанный, хорошо владеющий собой, всегда ровный и Тактичный дипломат. Но Ягужинский слишком хорошо знал его, чтобы не заметить тех усилий, какие делал старый дипломат, притворяясь веселым.

Граф непринужденно проговорил еще несколько минут и наконец сказал:

– С вами и о делах забудешь. А мне надо с Павлом Иванычем поговорить. Времена теперь необычные.

– Прошли бы к себе, – сказал Павел Ивано-

вич. Женщины поднялись.

– Прощай, батюшка!

– Прощай, дедушка!

Старик ласково поцеловал дочь и внуку. Лишь только скрылись они за дверью, улыбка исчезла с его лица; оно приняло серьезное, озабоченное выражение.

– Что случилось, Гаврил о Иваныч? – с тревогой спросил Ягужинский.

– Сейчас был у меня князь Дмитрий Михайлыч. Получены вести из Митавы.

Лицо Ягужинского выразило мучительное беспокойство.

– Ну? – слегка побледнев, спросил он. Опершись рукой о поручни кресла, весь подавшись вперед, он с волнением ожидал ответа.

– Рано утром, – начал Головкин, – к нему приехал от Василь Лукича прапорщик Макшеев, – знаешь лейб – регимента?

Ягужинский кивнул головой.

– Он привез письмо от Василь Лукича. Вот оно...

И Головкин вынул из кармана камзола толстый пакет, запечатанный пятью восковыми печатями, с государственным гербом.

Острым, жадным взглядом впился Ягужинский в этот серый пакет.

– Нет, нет, – торопливо проговорил старый граф, угадывая его желание. – Дмитрий Михайлыч вручил его мне как президенту Верховного тайного совета. Пакет должен быть распечатан в присутствии всех членов совета сегодня, в час дня.

Ягужинский опустил голову и молчал.

– Прапорщик Макшеев, – продолжал Таврило Иваныч, – передал, что посольство было принято отменно ласково, что императрица на речь Василь Лукича ответила якобы согласием и долго потом наедине беседовала с Василь Лукичом, и по окончании разговора Василь Лукич был очень весел. А в ночь приказал Макшееву скакать в Москву с донесением. Нечего и разгадывать – императрица согласилась на кондиции.

Ягужинский молчал. Он был готов к этому. Он сам в своем письме умолял императрицу пока согласиться на все. Но... Макшеев приехал, а Сумарокова все нет! Эта мысль тяжелым камнем легла на его сердце. Кроме того, по озабоченному лицу канцлера он видел,

что это еще не все вести.

– Этого мы могли и должны были ожидать, – продолжал Головкин. – Но дальше речь уже о тебе.

Ягужинский словно обратился в статую, широко открытыми глазами глядя в лицо тества.

– Да, – тихо, почти шепотом сказал Головкин. – Макшеев у заставы встретил арестованного капитана Сумарокова, твоего адъютанта...

– Ах! – вырвалось из стесненной груди Ягужинского. – Арестованного!

Головкин пристально смотрел на него.

– Да, его арестовали, когда он обратно ехал из Митавы на Москву. Говорят, он был у императрицы... Ты знаешь что-нибудь об этом?..

Ягужинский молчал. Но его бледное лицо, угрюмые глаза, вся его вдруг опустившаяся грузная фигура говорили яснее слов. Да ответа и не надо было Головкину. Для него не было ни одной минуты сомнения, лишь только он узнал об аресте Сумарокова, о той роли, какую играл в этом деле его зять.

Он приехал к Ягужинскому с единственной целью предупредить его о том обороте, какой приняло дело. Для него была ясна та опасность, какой подвергался Павел Иваныч. А старик так любил свою дочь, свою внучку и, кроме того, в глубине души сочувствовал зятю и не сочувствовал верховникам. Старость умудряет и делает людей скептиками. И со своей старческой мудростью граф не верил новшествам. Но теперь, когда победа верховников, хотя, быть может, и временная, была несомненна, – они были всемогущи. Чтобы укрепить свою власть, они не останутся ни перед чем!

Довольно долго длилось тягостное молчание. Наконец Ягужинский медленно поднялся с кресла.

– Да, – начал он, и Головкин не узнал его голоса, ставшего вдруг хриплым и глухим, – да, Таврило Иваныч, я проиграл... но совсем ли? Да, это я посылал из Москвы, потайно, через крепкие караулы, капитана Сумарокова. Да, это я хотел предупредить императрицу о составленном противу ее комплоте! Я поставил на кон свою голову и, может, проиграл

ее! Теперь я в руках своих злейших врагов. Если успеют, если осмелятся, – они теперь же, не дожидаясь приезда императрицы, казнят меня. Если отложат до ее приезда, она, в каком бы порабощении ни была у них, не позволит им этого. Я верю в это! Да, – с силой продолжал он, – я это все сделал, я, друг покойного великого императора, благодетеля Руси, его» око»! И это» око», его око, много видело в немногие годы! Не все самодержцы – Петры Великие. Я сам страдал под игом надменного Меншикова, моего врага и гонителя. Я сам, при императоре, терпел унижения от Долгоруких. Отрок – император умер. Они, как волки, бросились делить его власть. Я тоже знаю бедствия, от фаворитов проистекающие. Я тоже хотел бы мирной жизни, без боязни какого-нибудь Ваньки Долгорукого! А с чего они начали! Они отринули меня!.. Пренебрегли!.. Чего же можно было ждать мне?.. Мне надо было спастись!.. И я, вопреки их самовластным приказам, все высказал императрице! Я сделал это! Сделал это потому, что нет для меня людей ненавистнее Долгоруких и Голицыных! Я не меньше их послужил ро-

дине... И чем кичатся они? Они Рюриковичи, они Гедиминовичи, им неместно сидеть рядом с каким-то Ягужинским, вчерашним графом, хотя и другом великого императора! Они готовы были заплевать меня!.. О, нет! – страстно закончил он. – Я не могу, я не хочу быть под рукой их! Лучше один деспот, тиран, если такой будет самодержавная Анна, чем восемь деспотов и тиранов... В ней все же есть хоть капля Петровой крови!..

Граф Головкин тоже встал. Обычная маска холодного равнодушия спала с его лица. Глаза засветились теплым чувством.

– Крепись, Павел Иванович, – сказал он, кладя ему на плечо руку. – Они не кровожадны, и потом, я все же среди них. Страшен только Василь Владимирович. Ты знаешь его суровость. Дмитрий Михайлыч все проектами занят. У Алексея Долгорукого своего горя не оберешься. Легко ли его отцовскому сердцу! Катерина сама на себя не похожа. А Михал Михалыч только на поле брани грозен... Но будь наготове, – серьезно закончил он. – Я предупредил тебя, а теперь мне пора. Ну, будь здоров.

Дмитрий Михайлович кончил свой доклад до приезде Макшеева, о присылке письма Василия Лукича и подробностях приема. При этом Дмитрий Михайлович с умыслом упустил пока сообщение об аресте Сумарокова, чтобы не разбивать настроения собрания, ожидающего известий первой важности. По прочтении письма самый арест Сумарокова получил новое освещение. Его выслушали с напряженным вниманием, не прерывая ни единым словом.

Вслед за ним поднялся Головкин с толстым, серым, запечатанным пакетом в руке. Стало тихо. Так тихо, словно большая палата не служила местом собрания живых людей, а была комнатой музея со скульптурной группой, исполненной гениальным художником.

Слова Макшеева еще не были тем документом, который рассеял бы все сомнения и определил победу или полу победу.

Скрестив на груди руки, грозно сдвинув брови, как бы готовясь, в случае неудачи, на отчаянное сопротивление прямо, во весь

рост, стоял за своим креслом фельдмаршал Василий Владимирович. Рядом с ним в кресле сидел Алексей Григорьевич с выражением мучительного ожидания на лице. Ему угрожала наибольшая опасность в случае неудачи. Никто не был вознесен на столь головокружительную высоту в прошлое царствование, а с такой высоты падение всегда смертельно. Будет ли спокойно смотреть самодержавная государыня на его дочь – «высочество», «государыню – невесту», чье имя поминалось на ектении рядом с императорским и кого все же пытались, хотя попытка и была жалкой, возвести на престол...

Князь Дмитрий Михайлович, душа и разум всего дела, положил в него всю жизнь, и в случае крушения его мечтаний ему нечем было бы жить.

После своего доклада он тяжело опустился в кресло. На его благородном лице, теперь бледном, действительно как лицо статуи, жили только глаза, необыкновенно расширенные, полные сосредоточенного, жадного ожидания. По – видимому, спокойнее всех был другой фельдмаршал, Михаил Михайлович

Голицын. На его твердом, сухом лице было одно выражение – железной воли. Победа? – он привык к ним. Смерть? – но он так часто видел ее рядом с собой.

– Всё, – только не бесчестие!..

Таким, должно быть, было выражение его лица, когда в роковой день 20 ноября 1700 года он с полками Преображенским и Семеновским под Нарвой остановил бешеный натиск победоносных шведских войск, предводимых самим королем, чтобы дать спастись остаткам русской армии, решившись умереть, но не допустить врага отрезать единственный путь отступления – плавучий мост через Нарву! Таким, должно быть, было оно и тогда» когда под градом картечи, пуль и ручных гранат, с короткими штурмовыми лестницами он безумно бросился на высокие стены Нотебурга и на приказ царя Петра отступить ответил посланному: «Скажи царю, что я теперь не его, а Божий!»

В глубокой тишине послышался шорох осторожно разрываемого графом Головкиным пакета. Гаврило Иваныч медленно развернул письмо:

– «Приехали мы в Митаву 25-го сего месяца, – начал он тихим голосом, – в седьмом часу пополудни и того же числа донесли ее величеству...»

Головкин читал медленно, и каждое слово его жадно ловили слушатели...

Князь Василий Лукич писал о приеме, о печали государыни при вести о смерти ее племянника...

Головкин продолжал монотонно читать. Но вот голое его словно окреп:

– «...повелела те кондиции пред собою прочесть и, выслушав, изволила их подписать своею рукою так: «Посему обещаюсь все без всякого изъятия содержать.

Анна».

Граф Головкин остановился и опустил руку, державшую письмо. Словно вздох облегчения вырвался у присутствовавших.

Повинуясь невольному порыву, все поднялись со своих мест.

– Виват императрица Анна Иоанновна! – с восторженно загоревшимися глазами крикнул князь Дмитрий Михайлович. – Да будет

благословенна она!

– Виват императрица Анна Иоанновна! – раздались клики остальных.

Тяжелый камень спал с сердца. Вопрос был решен. Но глубже всех и сознательнее всех был счастлив князь Дмитрий Михайлович. Словно при блеске молний озарился перед ним широкий, свободный путь, по которому отныне пойдет Русь. Заветная мечта его жизни, казалось, осуществилась.

Трижды раздался торжественный возглас...

Когда все несколько успокоились, Головкин продолжал чтение письма.

Дальше князь Василий Лукич сообщал, что он побоялся послать подлинные кондиции с курьером, а привезет их сам или пришлет с генералом Леонтьевым; что государыня располагает выехать 28-го или 29-го; сообщал о своих распоряжениях для следования императрицы и спрашивал указаний, какой предполагается церемониал при въезде императрицы в Москву. В заключение в особой приписке Василий Лукич просил произвести прапорщика Макшеева в поручики и наградить

его.

Последняя часть письма была выслушана с заметным нетерпением.

Едва кончилось чтение, все заговорили разом. В тревожном ожидании ответа накопилось много дел, связанных с этим ответом и требующих неотложного решения. О форме присяги, об оповещении иностранных послов, об указах в губернии. Но начавшиеся разговоры прекратил князь Дмитрий Михайлович. Он попросил слова и, когда все затихли, произнес:

– Я не все сказал вам, что передал мне прапорщик Макшеев, или, вернее, поручик Макшеев. Он донес мне, что под Митавой арестован капитан Сумароков, адъютант графа Павла Ивановича Ягужинского... Подробностей он не знает. Но, кажется, Сумароков видел императрицу ранее, чем депутаты... Пусть Верховный совет обсудит сие...

Граф Головкин опустил голову, потому что невольно все глаза устремились на него. Несколько мгновений длилось молчание.

– Арестовать и допросить Ягужинского, – раздался резкий, решительный голос фельд-

маршала Василия Владимировича.

Граф Головкин поднял голову.

– Не слишком ли скоро? – сухо и твердо произнес он. – Сумароков не Ягужинский. Ежели, князь, провинится твой адъютант и тебя надо арестовать? Да?

– Я – это я, – сурово возразил фельдмаршал. – А Ягужинский волком смотрит.

– Хотя бы Павел Иваныч и не был моим зятем, – снова начал Головкин, – я бы говорил то же! Надо знать, что скажет еще Василий Лукич. Надо подождать.

Головкин знал, что скажет Василий Лукич, но хотел выиграть время. Остальные члены совета присоединились к нему.

– Ну что ж, подождем, – пожав плечами, согласился Василий Владимирович. – Чай, ждать теперь недолго!

– Да, недолго, – нетерпеливо сказал Дмитрий Михайлович. – Будет еще время потребовать отчета от Павла Иваныча... Наша главная забота теперь, получив подлинные кондиции, немедля приступить к устройению земли Русской, двинуть ее на путь гражданской свободы, снять тяготившие оковы.

Разбудить спящую Русь! Всем, – с чувством закончил он, – всем найдется дело теперь, у кого есть любовь к родине. Нам надлежит снять теперь с себя упрек в властолюбии, обнародовать кондиции, призвать выборных шляхетства и генералитета и предъявить им проект широкого гражданского устройства, в коем приняли бы свою долю равно все сословия...

– Да, – произнес Василий Владимирович. – Но также надлежит принять меры для общего спокойствия. Ежели нашелся Ягужинский, найдутся и другие...

– Теперь все кончено, – живо прервал его Дмитрий Михайлович. – Мы обнародуем кондиции, и кто тогда посмеет идти против воли государыни!..

– Я ручаюсь за спокойствие Москвы, – медленно и решительно произнес Михаил Михайлович.

– Прошу у Верховного совета разрешения, – отозвался Василий Владимирович, – действовать сообразно обстоятельствам.

– Не будь только очень крут, Василий Владимирович, – заметил Головкин. – Не время теперь озлоблять людей и наживать новых вра-

ГОВ.

Дмитрий Михайлыч весь ушел в свои мечты, и его мысль работала в определенном направлении. Он горел желанием снова вернуться к работе над своим проектом, в котором еще не все детали были им разработаны.

Алексей Григорьевич слушал разговоры вполуха. Почувствовав под собою твердую почву, он только желал поскорее вернуться домой, чтобы успокоить свою семью, и главным образом свою несчастную дочь Катерину. Несмотря на свое легкомыслие, он признавал себя виновным перед ней. Он отнял у нее любовь ради честолюбивых надежд, когда отказался выдать ее замуж за графа Миллезимо, племянника цесарского посла графа Братислава. Он советовал ее императору. Он составлял завещание от имени покойного императора о поручении ей престола... В своей легкомысленной жизни он играл своей дочерью, видя в ней крупную ставку. Судьба смешала все карты, и дочь была проиграна...

И вот теперь, когда ему казалось, что императрица в руках Верховного совета, а сам он член совета, – с его души упало тяжелое

бремя... Теперь он считал свое положение упроченным. Он глубоко верил в ум Дмитрия Голицына, в ловкость Василия Лукича и энергию фельдмаршалов. Он чувствовал себя как за каменной стеной.

Василию Владимировичу были даны самые широкие полномочия. На Дмитрия Михайловича совет возложил составление ответа Василию Лукичу и формулы присяги и манифеста.

Был уже поздний вечер, когда верховники, ликующие, полные горделивых замыслов, по пустынным, словно вымершим улицам Москвы разъезжались по домам. С тяжелым сердцем возвращался домой только один старый канцлер, граф Гаврило Иваныч...

III

Макшеев чувствовал себя бесконечно счастливым. Он с полным удовлетворением мог сознаться, что блестяще исполнил свое поручение. В мороз, в бурю, в снег, по темным дорогам, почти не отдыхая, и днем и ночью скакал он из Митавы в Москву; даже ни разу не поел как следует, только подкреплялся вином, которого он проглотил за это время невероятное количество.

Помня слова и просьбу Дивинского постараться нагнать таинственного посланца, он на всех стоянках расспрашивал, не проехал ли кто до него? Но незнакомец как в воду канул.

Не зная, в чем дело, и не имея никаких инструкций, Макшеев не передал об этом князю Дмитрию Михайловичу.

Обласканный Дмитрием Михайловичем, который сказал ему, что Верховный совет достойно наградит его, в ожидании производства Макшеев чувствовал себя на седьмом небе.

Отпуская его, князь сказал:

– Иди отдыхай. Чай, устал с дороги. Раньше завтра не понадобишься. Отсыпайся.

«Слава те, Господи, наконец-то ото-сплюсь», – думал свою любимую думу Алеша. Выйдя от князя, он хотел направиться домой, в свою одинокую квартиру к Варварским воротам. Но солнечный зимний день был так хорош. У возбужденного и радостного нового поручика и сон прошел. Он с ужасом подумал о своей, наверно, теперь холодной, нетопленной квартире. Его человек, Фома неверный, как он шутя называл слугу, походил на своего барина. Любя выпить и поволочиться за девками, он и в присутствии Макшеева иногда пропадал на целые дни, за что и был прозван Алешей неверным. Теперь же, когда его господин исчез на десять дней, Фому, наверно, и с собаками не сыщешь.

Притом день велик, впереди еще ночь.

Размышления поручика кончились тем, что он решил зайти в остерию, тем более что чувствовал немалый голод. Мысль о теплых, уютных комнатах остерии, о горячей еде, о хорошем вине и доброй компании очень улыбалась ему.

С удовольствием дыша свежим воздухом, чувствуя себя свободным, не имея надобности торопиться, Алеша медленным шагом направился к гостеприимному убежищу вдовы Гопен.

Едва вошел он в теплую, накуренную залу остерии, как сразу почувствовал себя как рыба в воде. Из-за буфета на него глянуло суровое лицо старухи Марты, обрамленное белым плоеным чепчиком? сделав ему книксен, пробежала мимо него цветущая, улыбающаяся Берта.

Несмотря на ранний час, остерия была полна. Красные и синие камзолы офицеров, веселые знакомые голоса, громкий смех, звон посуды – все было так мило и привычно Алеше.

Не успел он оглядеться, как его уже узнали:

- Алеша!
- Алексей Иваныч!
- Сюда!
- Откуда?
- Да жив ли ты?

Со всех сторон слышались возгласы.

– Я, я сам, – весело закричал Алеша, плохо различая после яркого солнца в полутемной остерии лица присутствовавших.

Из за стола поднялся и двинулся ему навстречу красный камзол, и только когда он подошел совсем близко, Алеша узнал в нем своего приятеля, кавалергарда Ваню Чаплыгина. Они облобызались.

– К нам, к нам, – говорил Ваня, увлекая его к своему столу.

За большим столом сидели офицеры, частью знакомые Макшееву, преображенцы, семеновцы и его товарищи по лейб – регименту, частью незнакомые, из армейских, недавно прибывших в Москву полков, Копорского, Вятского и других. Офицеры шумно поднялись навстречу. Макшеев радостно здоровался с ними; с приятелями целовался.

После взаимных приветствий Алеша уселся рядом с Чаплыгиным и, по привычке подмигнув хорошенькой Берте, спросил вина и «фрыштык».

Алеша давно был общим любимцем. Он легко и быстро сходился с людьми, и не прошло пяти минут, как разговор стал общим.

Поездка Макшеева в Митаву была известна в его полку, а через сослуживцев по полку и офицерам других полков. И так как все интересы в данный момент были сосредоточены на действиях Верховного тайного совета, то, естественно, Алешу со всех сторон засыпали вопросами:

– Что привезли императрице депутаты? Как она отнеслась к ним? Какова она?

Хотя Алешу Василий Лукич и не предупреждал о том, что надо все держать в тайне, но Алеша инстинктивно чувствовал это.

Он избегал отвечать на прямые вопросы. Но молодое чувство рвалось наружу.

– Одно скажу, – воскликнул он. – Обещалась государыня полегчить нам. Не будет измываться над нами каждый Ванька... (Этим он намекал на фаворита покойного императора Ивана Долгорукого.) Так♦то...

– А будут измываться Долгорукие да Голицыны? – вдруг раздался с конца стола резкий, насмешливый голос. – Хрен редьки не слаще, а часто еще горчее.

Макшеев взглянул на говорившего. Это был молодой худощавый офицер в армейской

форме. Какого полка, Макшеев не мог разобрать. Сукно на камзолы армейских полков покупалось не всегда одинаковое, а в зависимости от иностранных фирм, поставлявших его.

– Да, – продолжал офицер. – Один Ванька или восемь – легче не будет.

Чаплыгин наклонился к Макшееву и прошептал:

– Это Новиков, Данило Иваныч, Сибирского полка подполковник. Чуть ли не республику учреждать хочет!

– Зачем офицеров Вятского полка перехватили? – продолжал Новиков. – Уж если Верховный совет полегчить хочет – так не самовластуй!.. Мы такие же дворяне! Нельзя мимо нас новым устройением заниматься! Должно помнить, что Долгорукие и Голицыны – еще не вся Русь. Довольно того, что, никого не спрашиваясь, препоручили престол герцогине Курляндской. А почему не Елизавете? А почему не принцу Голштинскому или Екатерине Мекленбургской? Как еще не успели стовориться – не Екатерине Долгорукой?

– Молчи, молчи, Данило Иваныч, – произ-

нес Чаплыгин, желая прервать этот разговор. – Поживем – увидим.

Макшеев молчал. Он вообще не занимался политикой. Ему было всегда хорошо; но под влиянием Шастунова и Дивинского он мало – помалу смутно начал понимать, что что-то следует изменить, что надо как-нибудь обезопасить себя от какого-нибудь Ваньки. Как это сделать, он не знал, да и не хотел рассуждать об этом.

«Там разберут!» – думал он, разумея под словом «там» членов Верховного тайного совета, особенно фельдмаршалов, о подвигах которых слышал еще в детстве.

Сидевший рядом с Новиковым молодой поручик что-то тихо стал шептать ему на ухо. Новиков нетерпеливо передернул плечами и встал.

– Ужо потолкуем, – резко произнес он.

С конца стола к Макшееву подошел юный гвардейский офицер.

– Мы, кажется, знакомы уже, – произнес он. – Я Преображенского полка Иван Окунев.

Вглядевшись в лицо юного прапорщика, Макшеев сразу узнал его. Вообще надо ска-

зять, мало было в Москве гвардейских офицеров, которых не знал бы Макшеев. То в острее, то на парадах при покойном императоре, то в каких-нибудь веселых местах, а то и в дружеской компании на частых пирушках он перезнакомился почти со всеми.

– Как же, как же, – отозвался Макшеев. – Знаю, знаю, помню. На крещенском параде рядом стояли.

Он дружески пожал руку прапорщику.

– Еще мы встречались у Петра Спиридоныча, – сказал прапорщик.

– У Сумарокова? – спросил Макшеев, пристально глядя на Окунева.

– Да, – ответил Окунев. – Мы с ним ведь оба адъютанты у графа Павла Иваныча.

– Фью! – свистнул подвыпивший Макшеев. – Вот оно что! Вы счастливее вашего приятеля, – рассмеялся он.

Окунев недоумевающе и тревожно взглянул на него.

– Я давно не видел Петра Спиридоныча, – сказал он, бросая быстрый взор на прислушавшегося Чаплыгина. – Вы что-то знаете? Разве с ним случилось несчастье?

– Ну что, коли вы друг его, – отвечал Макшеев, – вам скажу. Друг ваш арестован в Митаве...

– Арестован! – в один голос воскликнули Окунев и Чаплыгин.

– Да, – продолжал Макшеев. – В Митаве. Чем бедняга провинился, про то знает Василь Лукич, только заарестовали его.

Побледневший Чаплыгин низко наклонился к Макшееву.

– Алеша, – сказал он, – не утай, что знаешь. Друг нам Сумароков.

– Ей – ей, ничего не знаю, – ответил Макшеев. – Не успел ничего узнать. Как выехал из Митавы, так и встретил его.

И в кратких словах он передал все, что знал.

– Я обо всем уже доложил князю Дмитрию Михайлычу, – закончил он.

Окунев сидел как опущенный в воду. Чаплыгин, бледный, в волнении, пил стакан за стаканом. И Окунев и Чаплыгин хорошо знали, зачем был отправлен в Митаву Сумароков, и знали, что теперь грозило ему, а с ним вместе и Ягужинскому, и всем близким к

нему людям.

Кавалергарды хорошо звали графа Павла Ивановича, а Чаплыгин был одним из самых энергичных офицеров, имевшим большое влияние на своих товарищей. С домом Ягужинского его связывали давние дружеские отношения, существовавшие между его отцом и графом. Отец Чаплыгина был сенатором и умер незадолго до кончины императрицы Екатерины. Так же, как и Ягужинский, он ненавидел Меншикова и по мере сил противодействовал ему, в числе немногих, наряду с Ягужинским. После его смерти Ягужинский принял под свое покровительство сына Ивана и сумел привязать его к себе. Ягужинский был сильным и властным человеком, и все окружающие считали его положение непоколебимым.

Чаплыгин, веря в его могущество и значение, благодарный ему за оказанное покровительство, естественно, был на его стороне. Также и Окунев, избранный Ягужинским в адъютанты.

Судьба этих офицеров оказалась связанной с судьбой графа. И Окунев, и Чаплыгин отлич-

но уяснили себе, что значит арест Сумарокова. Но к чести их надо сказать, что ни тот ни другой ни на миг не подумали покинуть Павла Иваныча и примкнуть к победителям. Кроме того, они верили в ум и находчивость графа.

Окунев встал и, наклонясь к Чаплыгину, быстро шепнул ему:

– Теперь я должен быть при нем. Чаплыгин кивнул головой.

Окунев отошел, замешался в толпе офицеров и через несколько минут незаметно скрылся. Шум в остерии рос.

– Заприте двери! Никого больше не пускать в остерию, – крикнул кто-то.

Марта уже и сама тревожилась. Безнадежно махнув рукой, она заперла двойные двери.

В одном углу, окруженный офицерами, Новиков громко говорил, размахивая руками:

– Мы тоже хотим своей доли. Пусть верховники призовут нас, и мы скажем, чего хотим. Мы не отдадим им в руки всей власти! Мы хотим жить не по их указке! Для них все – власть, слава! Над ними – никого! Кто может обуздать их своевласть? Никто! Не надо нам

их, злобных олигархов! Пусть все вершит общенародие!..

– Пусть тогда сама императрица позволит нам сказать, чего мы хотим! – протискиваясь к Новикову, кричал бледный молодой офицер.

– Молчи, Горсткин, – остановил его другой офицер.

– Да как они смели избрать императрицу! – кричал в другом углу залы высокий офицер. – Кто право им дал? Они» выкрикнули» императрицу, как бояре – Василия Шуйского. А что вышло из того? Нет, выбирать так общенародно, как выбирали Михаила Романова...

– Перехватать бы их, да и делу конец, – слышалось чье♦то замечание...

– Подождем приезда государыни, там виднее будет, – слышался чей♦то примирительный голос.

Шум стоял невообразимый. Суровая Марта беспокойно поглядывала вокруг'. Хотя двери были закрыты, но, наверное, шум был слышен и на улице. Среди азартных споров то и дело слышался звон стаканов и бутылок, со-

провожаемый криками:

– Вина!

Берта, как Геба, в сопровождении двух мальчишек – ганимедов едва успевала удовлетворять желание гостей.

– Ну, брат, и каша же здесь, – почесывая за ухом, сказал Макшеев своему соседу, угрюмому старому армейскому капитану, не сказавшему за все время ни слова и молча тянувшему вино. – Прямо голова пухнет...

– Я бы дал им, – Хриплым басом ответил капитан. – Я бы пустил их к Наревскому мосту, где я рядом стоял с Михал Михалычем! Поговорили бы! Я бы их!.. Умны очень. А я скажу, – вдруг закричал он, – что коли фельдмаршал Михал Михалыч что делает – оно так и нужно!

Он с такой силой ударил стаканом по столу, что стакан разбился вдребезги.

– Гвардия! Маменькины сынки! В колыбели еще сержанты! – продолжал капитан. – Нет, ты послужи честь честью! Ты солдатом побывай под Нарвой, повоюй со шведом, сломай Прутский поход с Петром Алексеевичем – тогда и поговорим! Брехуны! А ни настолечко

не знают, что надо нам! Знаю я, сами лезут, зависть берет... А Михал Михалыч все знает. Петр Алексеевич ему за Полтавскую викторию десять тыщ серебряных рублей отвалил... Шутка ли! А знаешь, что Михал Михалыч сделал? А? У меня где, говорит, солдаты без сапог, да на руках много вдов их и сирот... Да и роздал все десять тыщ. Вот каков Михал Михалыч! Брехуны проклятые!

Старик злобно сплюнул и, взяв у соседа стакан, налил себе вина.

– Опять то же, – заговорил он снова. – Все речь идет – генералитет, бояре, шляхетство. Все только о себе мыслят. Потому что? В гвардии что ни рядовой, то дворянин. У папеньки да у маменьки дворовые. Ну, с жиру и бесятся. А ты поди в Астраханский полк. Загляни в Тобольск да в Пелым... Тогда и подумай... Я ведь тоже дворянин. А за что? Под Нарвой ноги прострелены, под Лесным палец оторвало, под Полтавой саблей по башке полоснули – тут Петр Алексеевич и дал мне чин сержанта да и дворянство...

К словам старика уже прислушивались.

Капитан замолчал и угрюмо уставился в

свой стакан.

– О том и речь идет, чтобы полегчить народу, – промолвил молодой офицер, сидевший рядом с капитаном.

Капитан после своей речи заметно ослабел. Он ничего не ответил соседу, только неопределенно махнул рукой.

В голове Макшеева тоже все перепуталось. До сих пор все казалось ему так ясно и просто, весело и радостно. Все, по его мнению, было «по – хорошему», а тут Бог весть что говорят. Ничего не поймешь, и никто не доволен. «Голова моя плоха, – подумал он. – Пустить бы сюда Арсения Кирилловича или Федора Никитича – те живо разобрались бы...»

Короткий зимний день уже кончался. Берта и мальчики зажгли лампы. Споры стихли. Офицеры разбились на группы и уже спокойнее беседовали между собой. Марте дано было позволение открыть двери, что она и поспешила сделать с истинным облегчением. Мало – помалу присутствовавшие стали расходиться.

В сопровождении нескольких офицеров ушел и Новиков; поднялся отяжелевший ка-

питан и угрюмо, прихрамывая, подошел к углу, где лежали в куче плащи и верхние камзолы, выбрал свой поношенный, легкий, неопределенного цвета камзол, кряхтя, надел его и вышел. Остерия постепенно пустела. Незаметно исчез и Чаплыгин. Осталось только несколько человек, которым, очевидно, некуда было деться.

– Что же теперь делать? – произнес, вставая, Макшеев.

– Знаешь, Алеша, – обратился к нему сержант Ивков, его товарищ по лейб – регименту. – Я знаю хорошее местечко. – И, наклонясь к уху Макшеева, он оживленно начал шептать ему.

– Ой ли? – весело отозвался Макшеев... – И карты?..

– И иное прочее, – подмигнул Ивков.

– Так гайда, братцы! – крикнул Макшеев. – Кто с нами?

Расплатившись, веселая компания вышла на улицу. У остерии постоянно толпились извозчики. Молодые люди взяли несколько саней и полетели по пустынным улицам в знакомое Ивкову укромное местечко, каких по-

явилось в Москве множество со времени переезда туда двора юного императора, окруженного кутящей, веселой гвардейской молодежью во главе с Иваном Долгоруким.

Часу в четвертом, сильно навеселе, проигравшись до последнего рубля, вернулся Алеша домой. Ему еще немало пришлось пробыть на морозе, пока на его отчаянные стуки ему открыл дверь его неверный Фома. Обругав его всякими словами, на что Фома резонно и спокойно ответил ему: «Сам♦то хорош», – Макшеев завалился спать. Фома заботливо раздел его, прикрыл одеялом и, покачав головой, отправился к себе.

Но положительно судьба преследовала поручика. Не было и семи часов, как от князя Дмитрия Михайловича пришел за ним вестовой. Фома с трудом растолкал барина.

– А, черт! – выругался Алеша. – И поспать не дадут.

Однако он торопливо вымылся, оделся, велел подать верховую лошадь, на всякий случай перекинул через плечо сумку, осмотрел

пистолеты и через полчаса, бодрый и свежий, уже стоял перед князем.

Князь поздравил его с производством в поручики и, к неожиданной радости Алеши, подавая ему кошелек, сказал:

– По приказу Верховного совета жалуются тебе сто рублей серебром.

«Вот это славно, – подумал Макшеев. – Не было ни гроша, и вдруг алтын». Он поблагодарил князя.

– Ну, а теперь, – продолжал Дмитрий Михайлович, – ты, я вижу, уже отдохнул. Вот тебе пакет к Василь Лукичу. Скачи немедля к нему навстречу. Верно, уже на дороге встретишь его. Отдай в собственные руки. Ну, с Богом!

Макшеев поклонился, взял пакет и вышел.

– Отдохнул, выспался, черта с два, – бормотал он, садясь на лошадь. – Должно, отоплюсь на том свете. Ладно, хоть деньги♦то есть, – закончил он свои размышления, ощупывая в кармане кошелек.

IV

Обстановка комнаты производила странное впечатление. Мягкие смирнские ковры покрывали пол, и на них были в беспорядке брошены вышитые золотом и цветными шелками подушки. Низкие тахты с пестрыми мутахи», низкие кресла, большой аквариум с золотыми рыбками, с искусно устроенным фонтанчиком, вокруг невысокие, широколистные пальмы в кадках, – и в углу икона с тихо теплящейся перед ней лампадкой. Тонкий, но удушливый аромат поднимался от золотой высокой курильницы чеканной работы в виде острого трилистника. О потолка на золотых цепочках свешивался матовый фонарь. Отблеск заходящего зимнего солнца играя в воде аквариума, где резвились рыбки, и на золотых цепочках фонаря.

Если бы не икона в углу, эта теплая, наполненная пряным ароматом комната могла бы показаться уголком, перенесенным из дворца какого-нибудь калифа. В низком кресле сидела молодая девушка, а у ее ног примостилась на ковре старая женщина в типичном

татарском уборе на голове, в шитой золотом чухе.

Эта девушка была княжна Прасковья Григорьевна Юсупова, дочь подполковника Преображенского полка, первого члена Военной коллегии князя Григория Дмитриевича, внука Абдул – мирзы, потомка ногайского князя Юсуфа. Ее чисто русское имя Прасковья также казалось странным, как и икона с мирной лампадкой в этой убранной по – восточному комнате.

Прасковья Григорьевна, Паша, как звали ее близкие, была красива нерусской красотой. Большие черные глаза, едва заметно выдающиеся скулы, резко очерченный, но небольшой и тонкий орлиный нос выдавали ее происхождение. Черные волосы были заплетены в две тяжелые косы, перевитые цветными лентами.

Во всем лице ее, прекрасном и суровом, было выражение дикой и упрямой воли.

Сидевшая у ее ног женщина была выкормившая ее татарка Сайда, которую князь окрестил, назвав Софией. Несмотря на свои тридцать пять лет, Сайда выглядела почти

старухой. Она была страстно привязана к княжне, и, кажется, это была единственная привязанность в ее жизни. Муж ее давно умер где-то на стороне, умер и ребенок, едва родившись.

Хотя при чужих Паша всегда называла свою старую кормилицу Софьей, но наедине звала ее Сайдой. Это имя предпочитала и кормилица, и сам отец – князь нередко называл ее так.

Прасковья Григорьевна сидела глубоко задумавшись, сдвинув черные брови, опустив руки. На коленях у нее лежал кусок синего бархата, который она вышивала серебром.

Солнце зашло. В комнате потемнело.

– Зажечь огонь, моя звездочка? – тихо спросила Сайда.

– Оставь, – коротко ответила Паша к, словно пробуждаясь от своих мыслей, тихо вздохнула.

– А ты не томись, – заговорила Сайда. – Что ты все сидишь да молчишь и думаешь. Нехорошо много думать. Судьбы не изменишь. Сама знаешь.

– Оттого-то и думаю, – ответила Паша, –

что судьбы не изменишь, а что будет – не знаю.

– Будет счастье, много счастья, – сказала Сайда. –носишь камень?

– Ношу, – произнесла Паша и вынула из за пазухи висевший на тонкой золотой цепочке вместе с крестом и образком черный плоский камень с узорной надписью.

И это – крест и амулет на одной цепочке – было так же странно и неподходяще одно к другому, как обстановка комнаты и икона, как сама княжна и ее имя.

–носишь, так и не бойся, – уверенно сказала татарка и, поднявшись с ковра, положила тихо руки на колени княжны и радостно продолжала: – Чего томишься? Он будет твой, он любит тебя. Вот скоро вернется...

– Любит? – страстно воскликнула Паша. – Любит? Почему знаешь?.. Смотри, сколько красавиц сейчас на Москве... Лопухина, Нарышкина, Измайлова... Да всех и не перечесать... А я... Ведь они меня зовут черномазой.

И на ее смуглом лице проступил румянец.

– А ты лучше всех, – ответила Сайда.

– Ах, Сайда... любит, любит!.. Ты все болта-

ешь. Зажги огонь.

Княжна резко встала.

Сайда поднялась, опустила фонарь, подошла к курильнице, зажгла от углей палочку душистого алоэ и засветила фонарь. Потом опустила тяжелые занавеси окна. После этого она снова села на ковер, поджав под себя ноги.

Матовый свет фонаря с легким зеленоватым оттенком производил впечатление лунного света; Лицо Паши казалось бледным, и ярче горели на бледном лице черные глаза.

Она ходила по мягкому ковру, сжав за спиной тонкие руки.

А Сайда тихо и монотонно говорила:

– Сайда все видит. Сайда ночи не спит, все молится и гадает. И разве мужчина может спрятать любовь? Любит он тебя... И сама ты это знаешь...

Княжна вдруг улыбнулась. Да, это правда, разве может мужчина, особенно юный, скрыть свою любовь от любящей женщины?

– Сайда, милая Сайда, – воскликнула Паша и, подбежав к татарке, крепко обняла ее и поцеловала в морщинистую щеку. – Любит, лю-

бит... Федя, милый, – в неудержимом порыве прошептала она.

И она вспомнила робость Дивинского в ее присутствии, его загорающиеся глаза, трепетное пожатие его руки. Она не знала, не задумывалась и знать не хотела, какая сила потянула ее к этому стройному, юному офицеру с серыми смелыми глазами, смотревшими на нее с таким робким обожанием. Между ними еще не было сказано ни слова, но они поняли друг друга. Князь смотрел, по – видимому, благосклонно на их зарождающееся чувство.

Но новая мысль опять омрачила ее настроение.

– Двенадцать дней его нет, – упавшим голосом сказала она. – Что с ним, вернется ли?

– Почему не вернется? – возразила татарка. – Он не дитя, да и не один поехал.

– Ах, ты ничего не понимаешь! – с досадой крикнула княжна, топнув ногой. И снова беспокойно заходила по комнате.

От отца она знала все значение посольства, и хотя не вполне понимала создавшееся положение, но, видя отца озабоченным и тревожным, сама не зная чего, боялась.

Последние два дня Григорий Дмитриевич был до такой степени озабочен, что с утра, пока еще дочь спала, исчезал из дому и возвращался, когда она опять уже спала. По получении известия от верховников о согласии Анны на кондиции, князь принял самое деятельное участие в обсуждении вместе с верховниками, которые его особенно чтили и уважали, вопросов, касающихся дальнейшего устройства управления.

Под влиянием смутных опасений Паша решила пойти узнать не дома ли отец.

– Я пройду к отцу, – сказала она и вышла из комнаты.

По узкой лестнице она спустилась на первый этаж, где были приемные комнаты и деловой кабинет. Многочисленные лакеи уже зажигали огни.

Через ряд просторных зал, где Григорий Дмитриевич не раз устраивал волшебные празднества в честь юного императора, через огромную столовую Паша прошла к кабинету отца. У дверей она встретила приближенного лакея князя, Константина.

– Сиятельный князь еще не вернулись, –

почтительно доложил лакей.

– Как вернется, хоть ночью, сейчас же оповестить меня, – приказала княжна.

Она повернулась и медленно направилась назад.

Она подходила к приемной зале, как вдруг услышала голос, при звуках которого у нее похолодело сердце и словно отказались служить ноги. Волнение ее так было велико, что она оперлась о косяк двери.

– Так когда же вернется князь? – спрашивал молодой громкий голос Дивинского.

– Неизвестно, Федор Никитич, – ответил старческий голос дворецкого Тихона.

– Ну, так я подожду, – отозвался Дивинский.

– Притомились, батюшка, – говорил Тихон. – Не выкушаете ли винца с устатку?

– Вот это дело, старик! – весело ответил Дивинский. – И устал я очень, да и есть охота.

– Сейчас, сейчас, батюшка Федор Никитич, – послышался голос Тихона.

Вся дворня любила Дивинского за его приветливый, всегда ровный нрав, за его щедрость. Его отец Никита Ефимыч был близким:

другом князя Григория Дмитриевича и по жене приходился ему дальним родственником. Последние годы Никита Ефимович был по болезни в абшиде. Он умер в чине генерал – поручика в своем родовом имении близ Тулы в начале царствования Петра II, оставив своему сыну большое состояние; своей матери Федор Никитич не помнил. Умирая, Никита Ефимыч поручил своего сына заботам князя Юсупова. И тогда же Григорий Дмитриевич обласкал сироту, бывшего уже поручиком гвардии, и при переезде двора в Москву взял его с собой в качестве адъютанта.

В Петербурге юный Дивинский, ведя праздную и рассеянную жизнь, сравнительно редко бывал в доме Юсупова, но с переездом в Москву отношения стали теснее, и Федор Никитич стал уже вполне своим у князя. Своим считал его князь, своим считали его дворовые и слуги князя, и сам он чувствовал себя в доме князя как у себя.

Красота Прасковьи Григорьевны не могла не произвести на него впечатления, а постоянная близость во время непрерывных празднеств при Петре II обратила это впечатление

в более глубокое чувство.

Паша услышала тяжелые, шаркающие шаги Тихона, спешившего распорядиться. Шаги затихли. Дивинский остался, видимо, один.

Паша уже овладела собой. Она смело раскрыла дверь и вошла в залу. На большом мягком кресле, вытянув ноги в грязных ботфортах с раструбами, сидел Дивинский. Шляпа валялась вместе с крагами на ковре. Голова Дивинского опущена на грудь. Очевидно, он очень устал, и им сразу овладела дремота... Он был без парика, который ввел в форму офицеров покойный император. Короткие, темно – русые кудри были встрепаны. Глаза закрыты.

Княжна на цыпочках, затаив дыхание, подошла к нему. Но привычка бодрствовать и во сне, приобретенная за последние тревожные дни, сказалась. Как ни были легки ее шаги, Дивинский раскрыл глаза, поднял голову и мгновенно вскочил на ноги.

С улыбкой, сияющими глазами глядела на него княжна.

– Княжна! Прасковья Григорьевна! – радостно воскликнул Дивинский, и яркая крас-

ка залила его лицо.

Он сделал шаг вперед, но тотчас смущенно остановился, опустив глаза на свои грязные сапоги. Его камзол также был не особенно чист. Сразу было видно, что он приехал сюда прямо с трудной дороги.

Несколько мгновений они, смущенные, молча стояли друг перед другом. Как всегда бывает в таких случаях, женщина скорее овладела собою.

– Здравствуйте, Федор Никитич, – почти спокойно произнесла она, протягивая ему руку.

Но рука ее была холодна и дрожала. Дивинский почтительно ж робко едва прикоснулся к ней.

– Ну, как... вы здоровы? Слава Богу!.. – говорила Паша, не спуская с него глаз.

Мало – помалу и Дивинский овладел собою. Он поднял голову.

– Я прямо с дороги, мне надо видеть Григория Дмитриевича, – начал он. – Яне ожидал увидеть вас сегодня. Простите за мой вид.

И он опять взглянул на свои сапоги.

– Я всегда рада вам, – тихо ответила Паша,

и ее голос слегка дрогнул. – Слава Богу, что вы вернулись, – еще тише добавила она. – Я так ждала вас! Но садитесь же, вы устали.

– Так вы ждали меня? – повторил Дивинский, приближаясь к ней и осторожно беря ее за руку.

– Я ждала вас, – тяжело дыша, ответила Паша, не отнимая руки.

– А я, – шепотом произнес Федор Никитич, – я только о вас и думал... Только и ждал встречи с вами... Я ни на минуту не забывал о вас. И в мечтах о своей судьбе я всегда видел вас рядом с собой...

Он крепче сжимал руку княжны и ближе подвигался к ней. Он чувствовал на своем лице жар ее пылающего лица.

– Давно, давно, не знаю когда, мне кажется, всегда, только о вас и думал, мечтал, надеялся, любил...

Последнее слово вырвалось у него, и словно порвалась какая-то узда, удерживавшая его. Магическое слово сразу сделало близким и доступным то, о чем он мечтал бессонными ночами, что казалось ему так бесконечно далеким.

И это слово сладкой болью отозвалось в страстном сердце внучки Абдул – мирзы, чья огненная кровь кипела в ее жилах.

С тихим, блаженно – страдальческим вздохом Паша вся подалась вперед и судорожно крепко обняла Федора Никитича.

– Федя, милый!..

Шум шагов нарушил очарованье. Тихон в сопровождении двух лакеев входил в залу. Лакеи несли за ним подносы с вином и закуской. Увидя княжну, Тихон заметно удивился.

– Тихон, – весело воскликнула княжна. – Отчего один прибор? Я тоже голодна!

– Княжна, голубушка, я мигом, – отвечал старик. – Разве знал я!..

– Ну, ладно, ладно, – прервала его княжна, – Вели дать скорее прибор и бокал.

Пока лакеи устанавливали на столиках блюда и бутылки, Тихон сам поспешил за прибором для своей княжны.

Дивинский счастливыми глазами глядел на Пашу.

Тихон принес прибор и бокал и по знаку княжны удалился. Дивинский остался наедине с Пашей. Она сама налила ему вина и при-

губила его. Они ели с одной тарелки, смеялись, о чем-то говорили и забыли обо всем в мире. Чем-то далёким казались Дивинскому и его поездка, и Анна, и те важные вести, с которыми он так спешил к Григорию Дмитриевичу. Все это было для него сейчас не важно. Важно было для него только его собственное чувство, первый поцелуй, эти минуты наедине, это дорогое лицо, эти глаза, волосы, тонкие руки... Не было ни прошлого, ни будущего.

Бесконечной нежностью светило это дорогое лицо, на которое он не мог налюбоваться. Это были минуты, когда раскрылись их сердца, и вольные, счастливые, томные слова текли, как ручей. Они говорили, и им все казалось, что осталось сказать бесконечно много и что никогда они не выскажут всей души...

Сколько прошло времени... Час, два – никто из них не мог бы сказать. —

Удивленный князь остановился на пороге, пораженный необычайной картиной. За маленьким столиком рядом с Дивинским сидела веселая и оживленная Паша, перед ней

стоял бокал вина, Дивинский что-то с жаром говорил.

– Ай да дочь! – воскликнул весело Григорий Дмитриевич. – А ты, Федька, с луны, что ли, свалился?

При звуке голоса князя Федор Никитич так стремительно вскочил с места, что чуть не опрокинул столик. Паша тоже встала, открытым взором глядя на отца.

– Князь Григорий Дмитриевич! – взволнованно произнес Дивинский. – Я привез важные вести!..

– Батюшка! – воскликнула Паша, бросаясь к отцу и крепко обнимая его.

– Ах ты! – произнес князь, целуя дочь. – Оставь, потом, потом, – добавил он, ласково отстраняя ее. – Вижу уж, знаю... Ну, иди к себе, а мы с Федором Никитичем посчитаемся. А тебе уже попадет...

– Отец, он все скажет, – тихо и серьезно произнесла Паша.

– Ладно, ладно, ступай, – сказал князь.

Паша радостно улыбнулась Дивинскому и вышла из залы.

– Ну, что, говори, – нетерпеливо начал Юс-

упов. – Это потом... – и он махнул рукой вслед ушедшей дочери.

Он подошел к столу и один за другим выпил два бокала вина. Казалось, его нисколько не удивила такая близость его дочери к Федору Никитичу.

– Когда ты приехал? – спросил он.

– Мы приехали сегодня днем, – смущенно ответил Дивинский.

– Кто?

– Я, генерал Михаил Иванович, да Сумарокова привезли.

Григорий Дмитриевич нахмурился.

– Генерал привез подлинные кондиции, – продолжал Дивинский, – а Сумарокова захватили под Митавой.

Дивинский подробно рассказал о всем происшедшем в Митаве, о допросе Сумарокова, который признался, что его отправил в Митаву граф Павел Иванович, дабы прежде всех оповестить императрицу об ее избрани и действиях Верховного совета. Василь Лукич и распорядился после допроса отправить его в Москву, в Верховный совет. Кроме того, по-видимому, был от кого-то еще гонец. Но его

не успели поймать, и Василь Лукич писал произвести о сем строжайшее расследование. А сейчас Дмитрий Михайлыч приглашал князя Григория Дмитриевича приехать к нему. В ночь будут допрашивать Сумарокова и обсуждать, что делать.

Князь Григорий Дмитриевич молча выслушал Дивинского.

– Так подлинные кондиции здесь? – спросил он.

– Генерал передал их Дмитрию Михайлычу, – ответил Дивинский.

– Ну, слава Богу, – поднимаясь во весь рост, произнес Юсупов. – Пора! А Ягужинский!.. Ну, что, с ним мы теперь справимся! – закончил он, и его лицо приняло жестокое, страшное выражение. Глаза загорелись, широкие ноздри раздулись.

– Не время щадить врагов, – снова начал он. – Их много, ой как много!.. Дадим же им кровавый урок! Вспомним Петра Алексеевича. Тот никого не пощадил бы для блага отечества!

Князь тяжелой поступью заходил по комнате, изредка останавливаясь, чтобы выпить

бокал вина, до которого был великий охотник. Глядя на его грозное лицо, Дивинский не смел нарушить молчания. Но вдруг лицо князя просветлело и сразу стало добрым и ласковым.

– А ты, ферлакур, что здесь напевал Паше? – спросил он, останавливаясь перед Дивинским и глядя на него смеющимися глазами.

Несмотря на ласковый тон его слов, Дивинский оробел.

– Князь, – дрожащим голосом начал он. – В последний год вы заменили мне отца... Я вечно благодарен вам, я бы... я... хотел бы стать вашим сыном...

Он взволнованно замолчал. Князь уже не смеялся. Он серьезно и задумчиво смотрел на стоящего перед ним с опущенными глазами Федора Никитича.

– Да, – медленно начал он. – Я давно видел, что слюбились вы. Я видел это, может, раньше, чем вы сами про то узнали. И по тому как я относился к тебе, ты должен понять, что не я помешаю вашему счастью.

Дивинский сделал к нему движение.

– Постой, – остановил его князь. – Ты честный и смелый офицер и дворянин... Я готов назвать тебя своим сыном. Но, говорю тебе, повремени! Смутно теперь, и болит мое сердце. Рано торжествовать еще победу. Подожди, и когда мы отпразднуем победу, – Паша твоя! Вот тебе рука моя.

Дивинский крепко пожал протянутую руку. Князь обнял его и поцеловал.

– Ты хороший офицер. Исполни же до конца свой долг. Ну, теперь иди, отдыхай. Отдохну к я часок, а там пойду к Дмитрию Михайлычу. Ты ночуй у меня.

Это был счастливейший день в жизни Федора Никитича.

Был ранний час, и на улице еще царила тьма. Просторный кабинет Ягужинского был ярко освещен многочисленными свечами. За столом сидел Кроткой и разбирая бумаги.

Накануне, поздно вечером, из Верховного совета была получена повестка, приглашавшая графа Павла Ивановича к девяти часам утра в большой кремлевский дворец на собрание. Какое собрание – в повестке не было указано. На всякий случай Семен Петрович, всегда аккуратный, подобрал бумаги, касавшиеся последних распоряжений, отданных Верховным советом графу. Верховный совет возложил на Ягужинского предварительные приготовления к предстоящему погребению покойного императора, заготовку траурных карет, устройство гробницы, выработку в общих чертах церемониала погребения соответственно бывшим» прискорбным случаям» и другие столь же несложные, но хлопотливые дела.

Кротков составил уже небольшую записку

о мерах, принятых графом к исполнению поручений совета. Он делал свое дело механически, по привычке, и на его худощавом, спокойном лице нельзя было прочесть тревоги, пожиравшей его душу. Едва ли у Ягужинского был более преданный человек, чем Кротков. И это было понятно. Семен Петрович был всем обязан Павлу Ивановичу. И не только он, но и его отец, и его дед.

Старый органист московской лютеранской церкви, отец Павла Ивановича, принял участие в судьбе своего соседа, такого же бедняка, каким был сам дед Семена Петровича. По мере сил помогал ему, бедному» ярыжке» Судного приказа (это было во времена правительницы Софии), и, когда этот» ярыжка» умер, взял к себе на воспитание его единственного сына Петрушу. Петруша провел свое раннее детство вместе с нынешним графом. Но судьба рано разделила их. Талантливый и живой Павел случайно привлек к себе внимание царя Петра Алексеевича, когда в то время еще юный царь посетил кирку и заговорил с не по летам развитым сыном бедного органиста.

С тех пор Павел Иванович стал быстро подниматься в гору, между тем как Петр Кротков поступил писцом в тот же Судный приказ.

Шли годы. Умер старый органист. Преждевременно умер от запоя и Петр Кротков, оставив юного сына Семена. Это было в конце царствования Екатерины.

Когда юный Семен, помня и зная от отца о всех благодеяниях, оказанных их семье старым Ягужинским, с трепетом явился в приемную графа, генерал – адъютанта и камергера Павла Ивановича, он встретил и участие и ласку. В память своего отца, в память детской дружбы с отцом Семена Ягужинский тотчас же устроил его в Сенат, а заметя трудолюбие, способности и скромность молодого писца, взял его к себе в секретари. Семен Петрович платил ему за все самой горячей признательностью. И теперь, разбирая бумаги, он болел сердцем за своего благодетеля. Он видел тревогу графа и знал ее причину. Он сам помогал Павлу Ивановичу писать письмо к герцогине Курляндский, знал о посылке Сумарокова и об его аресте. И повестка Верховного совета казалась ему зловещей. Теперь он ждал выхо-

да графа.

Но кроме него в кабинете присутствовали еще двое. Это были Окунев и Чаплыгин – адъютанты Ягужинского, которые должны были сопровождать его в совет. В полной парадной форме, в напудренных париках, офицеры нетерпеливо ходили взад и вперед по кабинету. У них был вид людей, идущих на сражение. И действительно, они после последних известий были готовы ко всему.

Кротков молча сидел, уткнувшись в бумаги. Чаплыгин не выдержал.

– Семен Петрович, – крикнул он. – Да брось к дьяволу свои бумаги. Бросил бы их в печку. Больше бы прибыли было. Ты лучше скажи, что граф?

Кротков с улыбкой отодвинул от себя бумаги.

– Граф! Что граф? Вчера ночью, как получил повестку, поехал к канцлеру. Вернулся чернее тучи.

– Да, – задумчиво произнес Окунев. – Почернеешь тут. Ну, а ты что?

– Я? – ответил Кротков. – Я там, где граф.

– Хорошо сказать, – воскликнул Чаплы-

гин. – Граф – все же граф, генерал – прокурор, генерал – адъютант... А мы? С нами, брат, церемониться не станут.

Семен Петрович покачал головой.

– А с Меншиковым поцеремонились? – сказал он.

Окунев махнул рукой:

– И охота вам каркать! Может, поговорят, поговорят – и только.

– А Сумароков? – спросил Чаплыгин.

– Велика важность, – ответил Окунев. – Отпустят. Разве что в гарнизон переведут, с глаз подальше. Вот и все.

– Кажется, идет граф, – вставая, произнес Кротков.

В соседней комнате слышались твердые, поспешные шаги.

И действительно, на пороге в полной парадной форме, с голубой лентой Андрея Первозванного через плечо, со шляпой и перчатками в руке появился Ягужинский. Офицеры вытянулись.

Лицо Ягужинского было спокойно и решительно. Он тоже был готов к борьбе. Он уже знал от Головкина, в чем дело. Сегодня торже-

ственное объявление кондиций, утвержденных императрицей. Особыми повестками были приглашены: «Синод, Сенат, генералитет до бригадира, президенты коллегий и прочие штатские тех рангов».

Но верховники не посвятили Головкина в подробности допроса Сумарокова, хотя Головкин и знал, что Сумароков в цепях доставлен в Москву. Это было зловещим признаком.

Он не скрыл от Павла Ивановича самых мрачных опасений. Советовал даже ему временно уехать в какую-нибудь вотчину, тайно ото всех, и пробыть там время до прибытия императрицы.

Но при всех своих недостатках, воспитанный в суровой школе Петра, Ягужинский не был трусом.

– Нет, Гаврило Иваныч, – возразил он на его убеждения. – Я не убегу. Я никогда не бежал от врага, и я не боюсь их...

Войдя в кабинет, Ягужинский ласково ответил на поклоны молодых людей.

– Вот, ваше сиятельство, – начал Семен Петрович. – Я приготовил премеморию для Верховного совета касательно погребения

праха покойного государя.

– Оставь, Семен, это вздор! Тут, пожалуй, о наших головах идет речь. Сумароков в цепях, – с ударением повторил он, – привезен в Москву и допрошен господами министрами. – Ягужинский горько усмехнулся. – Так до бумаг ли теперь? Пожалуй, надо ехать, пораньше буду – побольше узнаю. Прощай, Семен Петрович, – ласково проговорил граф, как будто мгновенно охваченный тяжелым предчувствием.

Он протянул Кроткову руку, и, когда тот в волнений хотел поцеловать ее, граф не допустил и обнял его. Офицеры горячо пожали Семену Петровичу руку.

– С Богом, счастливого пути, – взволнованно говорил он, идя залами следом.

В большой зале графа встретили жена и дочь, обе встревоженные. Но граф сейчас же принял веселый вид.

– Чего вы поднялись такую рань?

– Не спалось, – серьезно ответила Анна Гавриловна. – Ты поздно вернулся вчера. А вчера вечером заезжал Степан Васильич. Видно, тревожен.

– Ну, ну, нечего тревожиться, – торопливо проговорил Ягужинский. Видно, присутствие жены и дочери было тяжело ему. Если он был дурным и неверным мужем, что было известно всем и что подозревала Анна Гавриловна, зато был очень нежным отцом.

– Ну, до свидания, до свидания, – сказал он, целуя жену и дочь.

Маша почему-то особенно нежно поцеловала отца.

– Довольно, Маша, пусти, – растроганно произнес граф.

Глаза Маши были полны слез. И она и Анна Гавриловна вчера узнали от Лопухина о той опасности, которая грозила Ягужинскому.

Но Анна Гавриловна, по натуре сдержанная и энергичная, могла владеть собой; Маша же едва могла сдержаться от рыданий. Офицеры стояли в стороне, и трудно было решить, чьи глаза выражали больше восторга, глядя на Машу, – Окунева или Чаплыгина.

Попрощавшись с Павлом Ивановичем, женщины протянули руки молодым офицерам и с чувством пожелали им счастливого пути. Лишь только затихли шаги ушедших,

Маша с громкими рыданиями бросилась на грудь матери.

– Маша, Маша, не плачь, – успокаивала ее мать. – Бог милостив...

Проводив до подъезда графа, Семен Петрович вернулся в кабинет и, глубоко задумавшись, начал ходить взад и вперед. Через несколько минут он позвонил и приказал вошедшему лакею затопить камин. Когда разгорелся огонь, Кротков запер дверь кабинета на ключ, открыл стол, вынул из него связку бумаг и, медленно переворачивая каждую, одну за другой бросал их в огонь.

Это были черновики письма к Анне, инструкции Сумарокову, заметки для памяти, что сказать ему для передачи новой императрице, список кавалергардских офицеров, преданных и чем-нибудь обязанных своему бывшему подполковнику, также и семеновских и Преображенских офицеров и многих вольных людей – помещиков и шляхетства, так или иначе связанных с Ягужинским.

Когда сгорела последняя бумага, Кротков облегченно вздохнул и самый пепел смешал с пылающими углями. Потом открыл кабинет,

еще раз осмотрел внимательно стал, запер бумаги и направился к себе. Он жил наверху, в тесной комнатке, всю обстановку которой составляли деревянная постель с тощим тюфяком, простой стол с бумагами и книгами, несколько стульев.

Конечно, Семен Петрович мог бы завести и тюфяк получше, и стулья понаряднее, в богатом доме Ягужинского не было недостатка в мебели, но Кротков не считал нулевым менять обстановку. Он вполне довольствовался ею. На столе лежали разные петровские регламенты, указы об учреждении коллегий, собрание манифестов и церемониалов, включительно до «суплемент», носившего подзаголовок: «В воскресенье 12 декабря 1729 года реляция о высоком его императорского величества обручении, коим образом оное 30-го дня ноября сего 1729 года в Москве счастливо совершилось», и целая кипа «С. Петербургских ведомостей».

Взглянув на «суплемент», Кротков тяжело вздохнул. Как недавно все это было! И как страшно все изменилось!.. И как темно впереди для всех!..

Дверь комнаты тихонько приоткрылась, и просунулась чья-то голова.

– Семен Петрович, дозвольте войти! – произнес голос.

Кротков узнал старшего камердинера графа, Евстрата.

– Войди, войди, Евстрат, – произнес он.

Он привык к тому, что вся дворня обращалась к нему за советами, с просьбами и за разъяснениями. Семен Петрович никому не отказывал: кому поможет советом, за кого попросит у графа. Его любили и ему доверяли.

Евстрат вошел несколько смущенный.

– В чем дело, Евстрат? – спросил Кротков.

– Да вот, – опасливо начал Евстрат. – К вам, Семен Петрович. Не откажите.

Кротков молча ждал. Наконец Евстрат овладел собою и решительно сказал:

– Смутно нынче стало. Ну, и всякие такие разговоры. Дворня беспокойна... В кухне что творится – не приведи Бог!

– Что ж творится? – спросил с любопытством Семен Петрович.

– Словно неладное! – отвечал Евстрат. – Повар Тимошка прямо говорит, что не будет бо-

лее холопов, что всемоде Верховный совет положил волю дать. Я, говорит, скоро сам буду вольный человек, женюсь на Малашке, никого не спрашаючись, и в Съестной улице лавку открою. Конюх Никита в деревню уйти хочет, дескать, обрадуют всех, вольные люди будем...

Евстрат помолчал.

– Ну, и волнуются, а тут вечер приходил к брату человек от князя Василь Владимировича. Веселый такой. Говорит, сама царица – матушка, дай ей Бог здоровья, царским словом обещала волю нам дать... Оно, конечно, Семен Петрович, – взволнованно говорил Евстрат. – Воля... Надо воли... Конечно, грех Бога гневить, хорошо у нашего барина... А только, того... воли бы нам.

Молодое лицо Евстрата разгорелось.

– Скажи ради Бога, Семен Петрович, дала царица волю или так брешут только? Куды ни придешь, везде про то говорят, и у самого графа – батюшки тоже.

Графом – батюшкой называли в доме Головкина, как отца Ягужинской.

Евстрат в волнении замолчал.

Молчал и Кротков, пораженный тем, что услышал. Он не думал, не ожидал, что «затейки» верховников (это выражение он слышал от Ягужинского) найдут отклик среди бессловесных рабов. Он сам не знал, была ли в этом правда, думали ли об этом верховники, ограничивая самодержавную власть императрицы, но эта мысль ослепила его. До сих пор он смотрел на разгоравшуюся борьбу, как на борьбу, в которой замешаны только могущественные, стоявшие на самом верху люди. И вдруг оказывается, что эта борьба отозвалась глубоко внизу и возбудила мечты и надежды тех, кто за долгие века рабства, казалось, привыкли видеть свою судьбу в полной зависимости от произвола своего господина.

Кротков долго молчал и наконец ответил:

– Я ничего не слышал об этом, Евстрат; напрасно волнуются. Как бы не стало потом хуже.

– Так, значит, пустое, одна брехня, – уныло и угрюмо ответил Евстрат. – Я так и полагал. Ну ж я покажу им, как брехать, – злобно добавил он, и в его словах чувствовалась обида человека, обманутого в своих надеждах.

– Погоди, Евстрат, – остановил его Кротков. – Время теперь смутное, надо подождать, когда приедет императрица. Она полегчит вам.

– Полегчит, – с сомнением ответил Евстрат. – Спасибо, Семен Петрович, – закончил он и, махнув рукой, вышел вон.

Новые мысли, новые чувства пробудили слова Евстрата в душе Кроткова. Верховники могущественны, они ограничили самодержавие императрицы, они теперь могущественнее ее самой. Почему бы им и не сделать этого? А может, они думали о том? А почто же тогда восстал против них Петр Иванович?

Мысли бурей налетели на Семена Петровича. По своему рождению он был близок к этим дворовым. Его бабушка была из дворовых Олсуфьевых, брат его деда был дворовым Шереметевых. Ему были близки и слезы, и горе рабов. Но Павел Иванович говорил, что Долгорукие лишь о себе мыслят, а дворовый Долгоруких говорит, что они не для одних себя воли хотят...

Кротков так взволновался, что не мог сидеть дома. Он оделся и вышел на улицу, на-

правляясь к Кремлю.

На улицах было большое движение, и тем оживленнее, чем ближе к Кремлю. Цветными лентами тянулись по прилегающим улицам армейские и гвардейские полки, ехали сани и кареты, на перекрестках стояли военные посты. У большого кремлевского дворца толпился народ. День был морозный и сумрачный. На площади кое – где горели костры.

Странное впечатление производила Москва. Это был будто осажденный город. Чего ждали все эти люди, толпившиеся у дворца?

То здесь, то там слышались сдержанные разговоры. В одном месте говорили, что сегодня Верховный совет объявит всем волю; в другом – что собираются судить Долгоруких – Алексея Григорьевича и его сына, любимца покойного императора Ивана; в третьем – шепотом передавали, что императрица Анна умерла и что сейчас объявят императрицей цесаревну Елизавету.

Слухи один нелепее другого передавались из уст в уста.

Кроткову удалось проникнуть до самой ли-

нии солдат, темным кольцом охвативших дворец. Подходили все новые и новые отряды. Они оцепляли площадь, шпалерами становились вдоль прилегающих улиц, частью входили в самый дворец под командой офицеров. Среди шпалерой выстроенных солдат подъезжали ко дворцу непрерывной цепью сани и кареты приглашенных лиц. Кучера и фореиторы кричали и ругались, и потом, высадив господ, отъезжали в сторону на особо отведенное для них место. Проезжали некоторые кареты, не останавливаясь у подъезда, прямо к месту стоянки пустых карет. Это были большей частью кареты резидентов иностранных дворов. По распоряжению Верховного совета ни один иностранец не был приглашен на это историческое заседание 2 февраля.

Проехали французский резидент Маньян, испанский герцог де Лирия и де Херико, саксонско – польский – Лефорт и некоторые другие.

Они хотели видеть настроение народа и получить сведения о происшедшем и о первом впечатлении для донесений своим дво-

рам.

Внушительное и грозное впечатление производили пестрые ряды стоявших у дворца в боевой готовности войск.

VI

Огромная зала дворца, ярко освещенная, потому что утро было сумрачное и туманное, едва вмещала всех приглашенных. Слышался гул сдержанных голосов.

Собрание было более многолюдно, чем двенадцать дней тому назад, когда так же представители Сената, Синода и генералитета ждали властного слова верховников об избрании Анны.

И настроение теперь было напряженнее. Теперь решались будущность империи, судьбы всех сословий, падение одних, возвышение других. Полная ломка старого государственного здания, под развалинами которого, быть может, погибнут многие и многие жертвы.

Перед закрытой дверью из большой залы стояли неподвижно часовые. Это был почетный караул. За дверью происходило совеща-

ние Верховного тайного совета. Перед дверью, несколько в стороне, был поставлен большой стоя, покрытый красным сукном, и около него кресла.

Ягужинский нашел в первых рядах Алексея Михайловича Черкасского, Ивана Федоровича Барятинского» фельдмаршала Ивана Юрьевича Трубецкого и других высших сановников. Все они были раздражены и не скрывали своего раздражения.

– Что, мальчик, я им дался! – говорил Иван Юрьевич. – Я, слава Богу, фельдмаршал. Уйду, верно, уйду.

Толстый Алексей Михайлович сердито пощипывая свою бороду и угрюмо посматривал на запертую дверь. Ягужинский старался казаться спокойным, но это ему плохо удавалось. Он то и дело нервно оправлял на себе голубую ленту, беспокойно озираясь кругом. Он увидел мало утешительного. На лицах большинства высших чинов была полная растерянность.

Угрюмо, с мрачным видом стоял во главе представителей Синода новгородский архиепископ Феофан. Он казался погруженным в

глубокие и печальные размышления и, видимо, не слушал что-то оживленно говорившего ему невысокого, беспокойного, нервного коломенского архиепископа Игнатия Смолу. Ростовский владыка Георгий бросал тревожные взгляды то на Феофана, то на стоявшего рядом с ним Ивана Ильича Дмитриева – Мамонова, мужа царевны Прасковьи, друга Феофана. Нелюбовь Дмитрия Голицына к духовенству была хорошо всем известна, и потому представители Синода чувствовали себя особенно плохо.

Бодрее смотрели люди невысоких рангов, представители служилого шляхетства. Им нечего было бояться личной вражды со стороны министров Верховного совета. Напротив, ограничение самодержавия, задуманное верховниками, давало им возможность расширить свои права и получить свою долю в управлении империей.

Но взоры всех с ожиданием, тревогой, надеждой или ненавистью были устремлены на заветную дверь, около которой, в красных мундирах, с обнаженными палатами в руках, стояли два кавалергарда.

А за этой заветной дверью верховники с нервным напряжением уже с шести часов утра обсуждали подробности сегодняшнего выступления, являвшегося решительным и бесповоротным, как им казалось, ходом в их игре.

Верховники знали существовавшее против них раздражение в известных кругах и могли сегодня ожидать резких выступлений против себя. Василий Владимирович на всякий случай занял караулами внутренние переходы дворца.

Обсудив положение дел и составив общий план обращения: к собранию, отношения к некоторым лицам, выдающимся по своему положению, как Черкасский и Иван Трубецкой, и подготовив, на случай распросов, разъяснения относительно кондиций и своего участия в составлении их, верховники приступили к подписанию протоколов и проверке списков приглашенных, подсчитывая силы своих сторонников и силы своих врагов.

Почти все члены совета были налицо, за исключением вице – канцлера Остермана и

Василия Лукича.

– Андрей Иваныч опять захворал, – насмешливо произнес Дмитрий Михайлович.

– Да, – отозвался его брат – фельдмаршал. – Андрей Иваныч ждет, чтобы положение окрепло, – тогда он выздоровеет. Но он очень умен и необходим в делах. Пусть хворает. Он всегда на стороне победителей. А победители мы, – уверенно закончил он.

– Да, мы победим, – произнес Василий Владимирович. – Никто не посмеет поднять голоса против воли императрицы, а если кто и задумал бы что, так на то есть у нас войско.

– Здесь ли Ягужинский? – спросил Дмитрий Михайлович.

– Здесь, – ответил сидевший в стороне за маленьким столиком правитель дел Василий Петрович.

Граф Головкин беспокойно поднял голову.

– Итак, это решено? – дрогнувшим голосом спросил ой.

Дмитрий Михайлович нахмурился.

– Мы окружены тайными врагами, – сказал он. – Кто они? Мы не знаем. Кто первый предупредил императрицу? Мы так и не до-

знались. Тем строже мы должны поступить с тем, кто уличен. Василий Лукич прав.

– Подумайте, что вы делаете! Он одно из первых лиц в государстве, – продолжал в волнении канцлер. – Он связан родством со знатнейшими персонами!..

– Тем хуже. Тем он опаснее, – сурово произнес Василий Владимирович. – Мы покажем, что благо отечества для нас дороже всего, что мы достаточно сильны, чтобы не бояться никого.

– Так пусть тогда императрица решит его участь! – воскликнул Головкин.

Никто не ответил взволнованному старику. Наступило тяжёлое молчание. Его прервал Михаил Михайлович:

– Мы достаточно сильны, – сказал он, – чтобы не прибегать к жестокости. Успокойся, Таврило Иваныч. Мы не сделаем ничего сверх того, что требует благо отечества. Мы еще выслушаем Павла Иваныча.

– Вы будете справедливы, – ответил Головкин, овладевая собой. – А я, как канцлер, исполню свой долг.

Дмитрий Михайлович крепко пожал его

руку. Василий Владимирович тихо отдал приказ Степанову вызвать в соседнюю залу караул с офицером.

Ровно в девять часов распахнулись двери в большую залу, и пять верховников во главе с канцлером вышли. За ними с бумагами следовал Василий Петрович. Верховники прямо прошли к столу и, не садясь, остановились около него. В середине поместился граф Головкин. Степанов положил перед ним бумаги. Верховники низко поклонились собранию. Среди глубокой тишины раздался голос канцлера:

– Господа представители Сената, Синода и генералитета! По общем избрании на престол Российской империи дочери государя Иоанна Алексеевича Анны Иоанновны, бывшей герцогини Курляндской, отправлено было в Митаву посольство с извещением о сем. Ныне из Митавы прибыл генерал Леонтьев и привез радостную весть, что герцогиня Курляндская Анна Иоанновна всемилостивейше соизволила принять наследственную корону державы Российской. Да здравствует императрица Анна Иоанновна!

– Да здравствует императрица Анна Иоанновна! – раздались голоса, но без особого воодушевления.

Все уже давно считали вопрос об избрании решенным. Это было, так сказать, официальное приветствие.

Когда смолкли крики, граф Головкин продолжал при настороженном внимании всего собрания:

– Но сего мало. В неизреченном милосердии своем, в заботах о верных подданных своих императрица решила облегчить участь всех сословий, оградив их честь и животы новыми благими законами, без своевластия и произвола. Князь Дмитрий Михайлыч доложит высокому собранию собственноручное письмо императрицы Верховному совету, а также и условия правления всемилостивейшей государыни.

Среди собравшихся произошло движение, и снова все замерли.

– «Любезно верным нашим подданным, присутствующим в Тайном верховном совете...» – громко и медленно начал читать Дмитрий Михайлович.

Его напряженно слушали.

В своем письме Анна отчасти повторяла то, что говорила при приеме депутатов в Митаве. Но так как письмо было отправлено с ведома Василия Лукича, то он предложил Анне внести в него некоторые дополнения.

Любопытство собрания достигло своего предела, когда Дмитрий Михайлыч прочел заключительные слова письма:

– «Дабы всяк мог ясно видеть горячность и правое наше намерение, которое мы имеем ко отечеству нашему и верным нашим подданным, елико время нас допустило, написали, какими способами мы то правление веста хотим...» -

Наступила самая важная минута. Наконец то стане! ясно, чего хотели, чего добивались верховники, какими путями ограничили они верховную власть, что дали другим и что оставили себе.

Сами верховники чувствовали приближающуюся грозу. И в эти минуты Дмитрий Михайлович пожалел, что все содержалось в такой тайне, что он не посвятил в проекты своих преобразований широкие шляхетские кру-

ги. Сейчас уже не время говорить о них... а условия всю волю дают только Верховному совету.

Он медленно взял со стола лист и начал читать.

Представители Синода с чувством удовлетворения выслушали стоящее на первом месте» накрепчайшее обещание» хранить и распространять православную веру греческого исповедания.

Но мгновенный ропот прошел по собранию, когда Голицын дошел до места об утверждении Верховного тайного совета в постоянном составе» восьми персон». И снова все затихли.

Но уже открытый ропот слышался при чтении пункта четвертого: «Гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета».

– Мы не хотим служить Верховному совету, – раздался голос из толпы армейских офицеров. – Мы служим императрице!

– И я буду служить вам? – сверкая глазами, произнес фельдмаршал Иван Юрьевич Трубецкой, стоявший возле самого стола.

Граф Головкин поднял руку:

– Прошу высокое собрание выслушать до конца.

Ропот стих, и Дмитрий Михайлович дочитал кондиции.

– Но каким образом то правление быть имеет? – спросил Черкасский. – Тут видно только, что правление будет в руках верховников.

– Удивительно, откуда государыне пришло на ум так писать, – с насмешливой улыбкой произнес Ягужинский.

– А тебе это не нравится, Павел Иваныч? – с затаенной угрозой спросил его фельдмаршал Долгорукий.

Собрание, видимо, было крайне возбуждено, но никто не решался выступить открыто против верховников.

Утренняя тьма уже рассеялась. Через большие окна лился яркий свет зимнего солнца, и в его лучах бледнели желтые пятна горящих ламп и свечей, и этот смешанный свет придавал странный, призрачный оттенок лицам присутствующих.

Чтобы загладить неприятное впечатление

и высказать свои заветные мысли, Дмитрий Михайлович обратился к собранию с речью.

– Нет, – горячо заговорил он. – Не о благе своем, не о самовластии думал Верховный совет, предлагая императрице кондиции. Но о благе всего народа... Эти кондиции, – произнес он, высоко поднимая лист, – это первая ступень. Мы хотим воли равно всем сословиям. Мы все, как дети одного отечества, будем искать общей пользы и благополучия государству. Эти кондиции развязали нам руки. Мы вольны теперь сами изыскивать лучшее управление. И вы, представители Сената, Синода и генералитета и шляхетства, ищите общей пользы, представьте свои мнения и проекты, и мы вместе обсудим их... Сам Бог вдохновил императрицу подписать для своей славы и блага отечества эти кондиции. Отсюда будет счастливая и цветущая Россия! – закончил он.

Его слова произвели значительное впечатление, особенно на шляхетский кружок. Но угрюмо молчали высшие сановники. Этими кондициями у них были вырваны всякая власть и значение. Помимо императрицы,

ими будет распоряжаться Верховный совет, то есть Долгорукие И Голицыны. И верховники инстинктивно почувствовали, что наступает час борьбы упорной, беспощадной, борьбы на смерть. Самый решительный в своих поступках, не останавливающийся ни перед чем, фельдмаршал Долгорукий громко сказал:

– Это воля императрицы. Исполнение этой воли возложено на Верховный тайный совет. И Верховный тайный совет исполнит свой долг. Это говорю я! Подполковник Преображенского полка, фельдмаршал российской армии! Как бы высоко ни поднималась голова, непокорная воле императрицы, я достану ее.

И фельдмаршал грозным движением положил руку на рукоять шпаги. Враждебное молчание встретило его слова.

Ягужинский стоял, опустив голову. Несколько мгновений Долгорукий молча смотрел на него. Казалось, он колебался, но, взглянув по сторонам и увидя полные нескрываемой, невысказанной ненависти лица высшего генералитета, он наклонился к уху Дмитрия Михайловича и что-то прошеп-

гал. Дмитрий Михайлович бросил быстрый взгляд на Ягужинского и в свою очередь что-то тихо сказал фельдмаршалу Михаилу Михайловичу.

Тот медленно и важно наклонил голову. Только этого, казалось, и ждал Долгорукий. Обратившись к собранию, он снова начал:

– Мы не можем и не смеем щадить врагов отечества и ее величества. Перед высоким собранием я исполню тяжелый долг. – Он помолчал.

Стоявшие в первом ряду знатнейшие сановники тревожно переглядывались.

– Павел Иванович, – сурово продолжал фельдмаршал. – От имени Верховного тайного совета, властью, доверенной ему императрицей, за письмо, отправленное тобою императрице и направленное против блага отечества и интересов ее величества, объявляю тебя арестованным впредь до суда!

Упавший с потолка гром не так поразил бы собрание, как эти грозные слова. Слово «протяжное, глухое» о – о-ох» пронеслось по собранию.

Арестовать всенародно графа, генерал –

адъютанта, Андреевского кавалера, человека, связанного родством и свойством с Трубецкими, Бярятинскими, Ромодановскими, Черкасскими! Это было неслыханно.

Ягужинский, страшно побледневший, поднял голову и воскликнул:

– Вы не судьи мои! Пусть судит меня императрица! Канцлер, смотри!

Головкин с жаром убеждал в чем-то Дмитрия Михайловича. В невольном движении вокруг Ягужинского столпились Черкасский, Трубецкой, Бярятинский и недавно приехавший Лопухин. Казалось, они готовы были оказать прямое сопротивление. Лицо Василия Владимировича словно окаменело. Он сделал Степанову знак. Распахнулась дверь, и с ружьями наперевес тяжелыми шагами в залу вошли солдаты во главе с капитаном Лукиным, командовавшим в этот день караулом.

– Возьмите его, – повелительно произнес фельдмаршал, указывая на Ягужинского.

– Меня, меня? – крикнул, не помня себя, Ягужинский.

– Василий Владимирович, остановись, – произнес фельдмаршал Иван Юрьевич.

Солдаты молча двинулись вперед и остановились перед Ягужинским. Отсалютовав обнаженной шпагой, капитан Лукин произнес, обращаясь к Ягужинскому:

– Ваше сиятельство, извольте следовать за мной.

Глухой ропот пронесся по собранию.

– Именем ее величества я объявляю графа Ягужинского изменником отечества, – громким голосом произнес фельдмаршал Долгорукий.

При этих словах в зале наступило молчание.

– Я не тать, не разбойник, – дрожащим голосом начал Ягужинский. – Я генерал российской армии и верный подданный императрицы. Не признаю суда вашего надо мною. Вы ли сейчас говорили о свободе! Не вы разве восстали против бедствий самовластья! Хорошо, я повинуюсь силе!..

– Да, – ответил Дмитрий Голицын. – Мы хотели свободы, ты хотел неволи! Мы хотели стать свободными людьми, и императрица соизволила даровать нам свободу! Ты хотел остаться рабом и оставить других в рабстве!

Так и оставайся же рабом! – закончил он.

В последний раз окинул Ягужинский взглядом окружающих. Фельдмаршал Трубецкой стоял как оглушенный громом. Лицо толстого Черкасского налилось кровью, и было страшно за него. Барятинский и Лопухин стояли бледные и безмолвные.

– Я готов, – упавшим голосом произнес Ягужинский и сделал шаг вперед.

Солдаты замкнулись за ними, и среди глубокой тишины слышались шаги и бряцание ружей. Окруженный солдатами, нетвердой поступью вышел Ягужинский.

Закрылись двери, и замолкли шаги, но долго все собрание было как бы в оцепенении. Это молчание прервал голос Феофана:

– Пусть господа министры Верховного совета отдадут отчет всемилостивейшей государыне за свои деяния. Нам же надлежит совершить благодарственное Господу Богу молебствие.

Эти слова нарушили оцепенение. Собрание зашумело, слышались голоса:

– В Успенский собор! В Успенский собор!
Люди разбились на группы, оживленно об-

суждая события.

– Чрезвычайное заседание совета объявляю закрытым! – крикнул Дмитрий Михайлович.

Верховники поклонились собранию и медленно вышли из зала.

Адъютанты Ягужинского, Окунев и Чаплыгин, с беспокойством ждали исхода заседания. Они не имели права войти в залу совещания и в числе других адъютантов высокопоставленных лиц оставались в нижнем помещении, малой приемной зале. Туда же вышел и Федор Никитич Дивинский, только что приехавший с Григорием Дмитриевичем. На князя Юсупова верховники возложили на этот день командование всеми войсками московского гарнизона, и он с раннего утра ездил по волкам, проверял наряды и распоряжался расположением войск.

Федор Никитич, веселый и радостный, непринужденно беседовал с Окуневым и Чаплыгиным. Настроения этого дня совсем не коснулись его. Он весь был полон своим личным счастьем.

– Кажется, кончилось, – сказал Окунев. –

Будто снимают караулы.

Действительно, в соседней комнате послышались мерные шаги солдат. У дверей шум шагов умолк, и в комнату вошел Лукин.

– А, Григорий Григорьевич, – приветствовал его Дивинский, встречавший Лукина не раз у Юсупова. – Ну что, как там? А?..

Но Лукин очень сдержанно поздоровался с ним и, не отвечая, обратился к стоявшим Окуневу и Чаплыгину.

– Прапорщик Окунев, капитан Чаплыгин, – произнес он. – Прошу следовать за мной.

– За вами, капитан, куда? – спросил побледневший Чаплыгин.

– По приказанию Верховного совета вы арестованы, – тихим голосом ответил Лукин. – Караул за. дверью.

Молодые офицеры сразу поняли, в чем дело.

– А Павел Иваныч? – спросил Окунев.

– Граф Ягужинский арестован тоже, – ответил Лукин, не возвышая голоса, чтобы не привлекать внимания окружающих.

– Да? Мы идем за вами, капитан, – после некоторого раздумья сказал Чаплыгин.

Со стороны казалось, что молодые офицеры ведут между собой обычную беседу. «Вот оно что, – думал Дивинский. – Началось!» И он вспомнил слова и грозное выражение лица Григория Дмитриевича, когда он говорил о Ягужинском и других врагах Верховного совета. Да, господа министры не шутят.

– Прощай, Федор Никитич, – сказал Окуяев. Чаплыгин молча пожал ему руку, и оба последовали за Лукиным.

С тяжелым вздохом посмотрел им вслед Дивинский. «Я на стороне победителей, – пронеслось в его голове. – Я счастлив... А что ожидает их? И разве я не могу очутиться в их положении?» И смутная тревога, как черное предчувствие, вдруг овладела им.

VII

— Я болен, совсем болен, дорогой граф, видите, мои ноги почти не действуют, глаза почти не видят. Не могу даже встать вам навстречу.

И барон Генрих – Иоганн Остерман, или попросту Андрей Иванович, протянул худую сморщенную руку человеку в фиолетовом камзоле, с золотой звездой на груди. Этот человек был граф Вратислав, представитель немецкого императора Карла VI – цесарский посол, как его называли.

Остерман сидел в кресле перед горящим камином. Ноги его были прикрыты меховым одеялом, глаза защищены зеленым зонтиком. Комната была освещена только светом каминной лампы под зеленым колпаком, стоявшей на столе в другом углу большой комнаты.

– Глубоко огорчен вашей болезнью, барон, – ответил граф Вратислав. – И никогда не решился бы вас беспокоить, но меня направил к вам канцлер. Я должен исполнить поручение моего всемилостивейшего государя;

несмотря на мои представления, я до сих пор не получил ответа от российского императорского кабинета.

– Да? – протянул Остерман. – Садитесь, дорогой граф. Ведь речь идет о договоре 1726 года? Ваш император гарантировал тогда права принца Голштинского на Шлезвиг. Но, дорогой граф, ведь мы не имеем ничего общего теперь с Голштинским домом, вместо l'enfant de Kiel[14] у нас императрица, племянница de Pierre farouche[15], как именовали не раз за границей великого императора.

– Пусть так, но договор остается в силе, – ответил граф Вратислав. – Испания заключила трактат с ганноверскими союзниками в Севилье. Согласно договору Российская империя должна иметь на границе вспомогательный корпус.

Из под зеленого зонтика зорко смотрели глаза Остермана.

– Да, – задумчиво произнес он. – Но ведь всякий договор, дорогой граф, действителен только до той поры, пока существует правительство, его заключившее. Существует хотя бы преемственно. Чего вы хотите, – дружески

продолжал он. – Быть может, сама форма правления будет у нас изменена. Захочет ли новое правительство соблюдать устаревшие трактаты? Я знаю, – продолжал он, – что как вы, так и представители Голштинии, Бланкенбурга и Швеции хотели бы видеть на российском престоле этого l'enfant de Kiel под регентством цесаревны Елизаветы Петровны. Вы все, не сердитесь, милый граф, хотели бы урвать по кусочку от обширной империи. Так, самую малость. Дания – балтийское побережье, Швеция – провинции, отвоеванные Петром Первым, и так далее. Но судьба распорядилась иначе.

Граф Вратислав нервно поднялся с кресла.

– Значат ли ваши слова, господин барон, – сказал он, – что российский императорский кабинет отказывается от трактата 1726 года?

– Нисколько, – устало возразил Остерман. – Это значит только, что существующие трактаты подлежат пересмотру. Но, впрочем, я могу гарантировать вам вспомогательный корпус на западной границе. И хотя я совсем болен, как вы видите, я сегодня же представлю об этом меморию в Верховный совет.

– Я могу только благодарить вас, господин барон, вы единственный человек в России, понимающий ее интересы и интересы других держав, – с поклоном произнес граф Вратислав.

На тонких губах Остермана появилась легкая усмешка. Вспомогательный корпус на западной границе! Конечно, он будет. Разве там нет войска? Корпус понятие растяжимое, и притом никто не знает, что готовит ближайшее будущее!..

Наклонением головы он поблагодарил графа Братислава.

– Верховный совет уведомит ваше сиятельство о своем согласии и последующих распоряжениях, – официальным тоном произнес он.

– Так я имею ваше слово, господин барон? – спросил граф Вратислав.

– Я обещал, – коротко ответил Остерман, закрывая глаза.

– Я вижу, вы очень устали, – сказал граф.

– Да, мне нехорошо, – ответил Остерман. – Вы сами знаете, этот мальчик был моим учеником, моим воспитанником... Великие воз-

возможности умерли с ним...

– Это удар для всей империи, отозвавшийся тревожным эхом в Европе, – произнес граф. – Простите, господин барон, что я утруждал вас.

Он пожал сухую, маленькую руку Остермана и с поклоном удалился.

«О, страна варваров, великая, страшная страна, непобедимая, если пойдет по своему пути, – думал Остерман. – Но для этой дикой и великой страны нужна единая воля и единый разум...»

Он глубоко задумался, глядя на пылающие угли камина. В комнату тихо вошла женщина лет под тридцать.

– Андрей Иванович, – шепотом произнесла она.

– Марфутчонка, это ты? – отозвался Остерман. – Нет, нет, я не сплю.

Вошедшая женщина, высокая и стройная, с приветливым лицом и добрыми глазами, была жена Остермана, урожденная Стрешнева, Марфа Ивановна, выданная за него замуж по воле императора Петра Великого в 1721 году, желавшего» закрепить» талантливого

иноземца к его новому отечеству, соединив его кровным родством со старинным русским боярством. Русская знать была недовольна этим браком.

Но русская барышня Марфуша Стрешнева, или Марфутчонка, как она обычно подписывалась под письмами к мужу, и немец Остерман, на удивление всем, жили бесконечно счастливо, и Марфа Ивановна обожала своего мужа.

Марфа Ивановна подошла к мужу.

– Ну что? – спросил Остерман.

– Я хотела бы предложить тебе кофе, – сказала Марфа Ивановна. – Ты очень устал, а тебе все не дают покоя. Как твои глаза?

В ее голосе слышалась заботливость. Несмотря на разницу лет, между мужем и женой были самые нежные, дружеские отношения.

– О, они хорошо видят мою милую Марфутчонку, – произнес весело Остерман, целуя руку жены. – И кофе я с удовольствием выпью, только здесь. Мне надо– работать. Они прямо одолели меня. Утром был Маньян, заезжал Лег форт, сейчас ушел граф Вратислав... Они

все бегут ко мне, потому что верховники потеряли голову.

– Ты устал, – сказала ласково Марфа Ивановна. – Если еще кто приедет, я скажу, что ты болен.

– Нет, нет, – замахал руками Остерман. – Именно теперь я всех должен видеть, все знать.

Марфа Ивановна вздохнула.

– Так я принесу тебе кофе, – сказала она.

– И пришли ко мне Густава, – крикнул ей вслед Остерман.

Густав Розенберг был его секретарем, он был родом из Вестфалии, как и сам Остерман.

Марфа Ивановна сама принесла кофе, поставила прибор на столик около мужа, заботливо поправила на его ногах меховое одеяло, поцеловала его в лоб и вышла.

Этот могущественный министр, державший в своих руках нити всех интриг, в ком заискивали резиденты иностранных дворов, кто по своей воле направлял внешнюю политику великой империи, был в семейной жизни типичным немецким бюргером, и добрая Марфутчонка едва ли понимала все значение

своего Андрея Ивановича.

Густав не заставил себя ждать. Это был настоящий представитель германской расы: высокий, крепкий, розовый, с голубыми глазами несколько навывкате, с белокурыми волосами и маленькими рыжеватыми усиками.

– Ну, что нового, Густав? – спросил Остерман. – Затвори покрепче дверь. Вот так. Ну? Что натворили еще господа министры?

– Повестка вам, господин барон, – ответил Густав. – От Верховного совета с приглашением явиться завтра в заседание.

– Завтра в заседание? – задумчиво произнес Остерман. – Да, для объявления кондиций и письма императрицы Верховному совету. Мне известно и то и другое. Мне говорил канцлер. – Он подумал несколько мгновений и потом сказал: – Напиши: болен.

Густав сделал на повестке пометку.


– Что еще?

Густав оглянулся на запертую дверь, осторожно вынул спрятанное на груди письмо и, близко подойдя к Остерману, шепотом произнес:

– Письмо из Митавы. Только что принесли.

Ни малейшего удивления не отразилось на сухом, остром лице Остермана. Он не торопясь взял конверт и положил его на колени.

– Кто привез? – спросил он.

– Какой  то человек, назвавшийся рижским аптекарем Блумом, господин барон, – ответил Густав. – Теперь по распоряжению Верховного совета сняты заставы и приказано беспрепятственно пропускать ординарную заграничную почту. Он воспользовался этим. Этот человек обещался зайти; когда – не сказал.

Остерман низко наклонился к камину, рассматривая адрес, написанный крупным, размашистым почерком по – немецки. Остерман, очевидно, забыл, что у него болят глаза. Густав зажег свечу и поставил ее рядом на столик. Остерман слегка кивнул головой.

– Этот Блум довольно счастливо пробрался. Ловкая шельма, – равнодушно сказал Остерман. – Мне канцлер говорил, что в Митаве арестовали адъютанта Ягужин – ского. Я бы не хотел быть теперь в положении графа Павла Ивановича.

Он все еще вертел в руках конверт, словно

колеблясь, распечатать его или нет. Наконец медленным движением тонких, крючковых пальцев он разорвал конверт и вынул аккуратно сложенный лист серой бумаги. Наклонясь к свече, он внимательно начал читать. Густав с невольным любопытством несколько раз взглядывал на Андрея Ивановича, но он по опыту знал, что на сухом лице вице – канцлера никогда нельзя было подметить отражения чувств, волновавших его.

Остерман читал долго. Потом снова перечел письмо и наконец, опустив его на колени, откинулся на спинку кресла, закрыв глаза. Это письмо было для него неожиданно и крайне важно. Оно давало ему ценные указания. Письмо было от Густава Левенвольде.

Остерман имел случай познакомиться с Густавом во времена Екатерины I, когда младший Левенвольде, Рейнгольд, был в фаворе, а Густав приезжал по делам герцогини Курляндской. Остерман тогда же обратил внимание на его обширный ум, ловкость и умение вести интригу. Он сразу же предложил ему остаться при нем, но Густав не решился поме-

нять свое хотя и скромное, но верное положение при курляндском дворе на блестящее, но опасное положение в стране, где тогда неограниченно царил надменный и самовластный Меншиков. Во время своих редких наездов в Петербург Густав всегда посещал Остермана, и старый вице – канцлер находил большое удовольствие в беседах с ним.

Напоминая о всегдашнем дружеском расположении к нему вице – канцлера, Густав сообщал теперь ему подробности митавских событий. Полагаясь на тонкий ум Остермана, он выражал надежду, что Остерман сумеет в трудные минуты помочь императрице. Императрица глубоко оскорблена поведением верховников. Вынужденная обстоятельствами, она подписала кондиции, но сердце ее болит за Россию, отданную на произвол верховникам.

Густав писал, что письмо императрицы совету сочинено Василием Лукичом и противоречит чувствам государыни. Василий Лукич держит свою императрицу словно под арестом. Он отстранил от нее ее ближайших людей. Не пускает к ней Бирона. Разлучил с ма-

люткой Карлом. Вынудил согласие не брать с собой в Москву ни одного чужестранца. Даже сам он, Густав, принужден скрываться.

«Императрица, – писал дальше Густав, – делает вид, что на все согласна, но недавно со слезами воскликнула: «Ужели среди моих подданных не найдется никого, кто избавил бы меня от этого несносного порабощения?» И тут государыня изволила поминать вас, вашу близость к ее матери и всему дому...»

Затем Густав просил Остермана сообщить верным людям истинные чувства государыни, чтобы помочь ей, для блага России, вырваться из рук верховников.

Интриги, «конъюнктуры» придворные и дипломатические были настоящей стихией Остермана. В них он не знал себе соперников. Уклончивый, хитрый, решительный, когда надо, он всегда бил наверняка, сам неуловимый и скользкий, как змея. Последней победой его было падение Меншикова.

Но в последнее время ему начало казаться, что влияние ускользает из его рук, что на пути вырастает какая-то преграда, что на смену ему идут новые люди. Его мнения как буд-

то не имели уже прежнего первенствующего значения... И чувство неопределенности и словно растерянности нередко овладевало им в эти тревожные дни.

Письмо Левенвольде оживило его. Оно ясно и определенно указывало ему путь. Да, он переживет и этот поворот и займет еще более прочное и высокое положение. Его деятельный ум уже комбинировал людей и обстоятельства. Он учитывал и настроение Анны, и ошибки верховников, и недовольство соперников всевластных Долгоруких и Голицыных, и ропот шляхетства на самовластье Верховного совета.

«Варвары, варвары! – думал он. – Не пускать чужестранцев в Россию! Дикари!» По тонким губам Остермана скользила презрительная улыбка. «Пожалуй, они найдут, что и Иоганну Остерману не место в делах правления. Что ж! Посмотрим! Слабые люди подчиняются событиям, сильные – подчиняют – их себе...»

Он так задумался, что совершенно забыл о Густаве. Наконец Розенберг. решил напомнить о себе.

– Господин барон мне ничего не прикажет? – спросил он.

Остерман очнулся от своих мыслей.

– Нет, Густав, ты не нужен мне сегодня, – ответил он. – Доброй ночи.

– Доброй ночи, господин барон.

Когда Розенберг ушел, Остерман еще раз перечел письмо. Потом тщательно разорвал его на мелкие клочки и бросил в камин...

VIII

Чувство беспокойства, тоски, душевной пустоты и постоянного раздражения овладели Лопухиной после отъезда Арсения Кирилловича.

Мужа она почти не видела. Он целые дни проводил у царицы – бабки, где обычно собирались «Ивановны» – Екатерина Мекленбургская и Прасковья – со своими приближенными, где тоже растерянно и с недоумением смотрели на развертывающиеся события. Там бывали Черкасский, Бярятинский, Дмитриев – Мамонов, как муж царевны Прасковьи, монахи, юродивые, какие-то древние стольники и бояре, словно вставшие из могил, быв-

шие приближенные царя Ивана, старые друзья молодости Царицы Евдокии, жизнь которых остановилась вместе со смертью царя Ивана, в свое время боявшиеся и ненавидевшие царя Петра Алексеевича. Главой и пророком этого кружка был Феофан, примкнувший к нему во имя кровных связей, соединявших этот кружок с новой императрицей. Хотя сам он был далек от них по своим взглядам, как ученик и сподвижник Петра Великого, но его соединяла с ними теперь общая цель – борьба с Верховным советом. Там жили мыслями и идеями семнадцатого века, ненавидели всякие новшества, проклинали верховников и их» затейки» и не хотели верить, что Анна согласится на отречение от самодержавных прав, так как, по мнению кружка, эти права имели божественное происхождение.

Феофан со свойственной ему проницательностью понял, что этот кружок, это» темное царство», это» воронье гнездо», как выражался о нем Дмитрий Михайлович, представляет собою силу как по родству с императрицей, так и по своему консерватизму и верности древним традициям, еще глубоко коренив-

шимся в широких кругах общества.

По родству Степан Васильевич был своим в этом кружке так же, как и по убеждениям.

Наталья Федоровна мало обращала внимания на деятельность мужа. Она была слишком женщиной, чтобы увлекаться отвлеченными идеями. Жизнь сердца всегда была у нее на первом плане.

Рейнгольд почти не показывался. Раз или два он украдкой на несколько минут заходил к Лопухиным, поздно вечером, всегда опасаясь и торопясь. Ему было теперь не до любви.

Раздражительность и тревожное настроение Лопухиной он объяснял в свою пользу. Он слишком был занят своими делами, чувствуя себя под дамокловым мечом. После ареста Ягужинского он с трепетом ожидал, что обнаружатся его сношения с братом. Ему было известно, что Верховный совет назначил строгое расследование о всех лицах, кто так или иначе мог иметь сношения с Митавой, и отдал распоряжение об отыскании какого-то таинственного гонца, предупредившего и приезд Сумарокова, и приезд депутатов, то есть его гонца – Якуба.

Если природа не наделила Рейнгольда смелостью и большим умом, то взамен этого дала ему инстинкт чисто звериной хитрости, ловкости и искусство в интриге. Для своей безопасности Рейнгольд избрал самый верный путь. Он не появлялся ни в одном кружке, на какой косились верховники. Он делал вид, что все происходящее сейчас вокруг чуждо ему и нисколько его не интересует. Но зато во всех укромных уголках, где кутили и играли в карты офицеры, на всех попойках он был первым гостем. По видимости веселый и беспечный, он проводил ночи за карточным столом, сорил деньгами, вообще вел жизнь игрока и кутилы, казавшуюся тем более естественной, что у него уже давно была определенная репутация веселого прожигателя жизни.

В письме, присланном с Якубом, брат писал ему подробно о всем происшедшем и возложил на него поручение искусно распространять слухи о том угнетении, которому подвергается императрица со стороны членов Верховного совета в лице князя Василия Лукича, как она тяготится этим, как верхов-

ники лишают ее всякой власти и что все надежды ее сосредоточены на верной армии, что она не пожалеет никаких наград для тех, кто поможет ей свергнуть ненавистное иго.

Из своего далека проницательный Густав составил план, который так утешил и ободрил его отчаявшегося друга Бирона в ту ночь унижений и страха, когда Бирон считал свою карьеру конченной и плакал от бешенства и отчаяния. Недаром Остерман так ценил дипломатические способности и ум Густава. Хитроумный Густав, с одной стороны, действовал на Остермана, открывая лукавому и честолюбивому вице – канцлеру широкие перспективы в расчете, что при своем влиянии в известных кругах Остерман сумеет образовать сильную партию, сплотить вокруг себя все недовольные элементы в высшем придворном кругу, среди сильных своим именем, высоким положением, а также близких по крови к императрице лиц.

С другой стороны, он через брата хотел создать военную партию. Для офицеров, особенно гвардейских, тоже открывались широкие горизонты. Ведь на престоле была женщина,

сравнительно молодая, и от нее можно было ожидать больших наград, чем от суровых боевых фельдмаршалов. В этом случае Густав надеялся, что, несмотря на ничтожество, личность его брата будет живым примером возможной» фортуны». Успех на скользких полах дворцовых зал при Екатерине I был достижимее и легче, чем на полях сражений под знаменами ее грозного мужа.

И надо сказать, что Рейнгольд чрезвычайно успешно действовала этом направлении. За бокалом вина в дружеской беседе, между двумя сдачами карт за игрой он успевал сказать небрежно, мимоходом несколько слов о» пленной» царице, об ее доброте, об ее страданиях, и не один юный прапорщик уже начинал воображать себя рыцарем, освобождающим ее от ее» дракона», как некоторые называли князя Василия Лукича.

Верный Якуб зорко следил вокруг. Заводил знакомства с дворовыми Долгоруких, угощал их по кабакам, разведывал, разнюхивал, как ищейка, чтобы при первом намеке на опасность предупредить своего господина. При малейшей опасности граф Рейнгольд решил

бежать куда-нибудь за границу. На этот случай у него была припасена значительная наличность в золоте и особенно в драгоценных камнях, по преимуществу в бриллиантах, что было очень практично, так как камень было легче прятать и везти, чем тяжелые мешочки с золотом.

Если арест Ягужинского и торжество верховников повергли в ужас Рейнгольда и возбудили негодование и тревогу в Степане Васильевиче, то с души Натальи Федоровны эти события сняли тяжелый гнет. Значит, ее «предательство» не принесло зла Арсению Кирилловичу, этому доверчивому, восторженному юноше, так беззаветно отдавшемуся ей. Она повеселела, оживилась.

«О, только бы он скорее вернулся, – думала Наталья Федоровна. – Я искуплю перед ним свою вину. Я дам ему счастье, о котором он грезит...»

И в гордом сознании своей красоты она смотрелась в зеркало. Зеркало отражало ее лучистые глаза, тяжелые волны темных волос, нежное лицо, на котором ни сердечные

бури, ни бессонные ночи не оставили ни малейшего следа.

Наскучившись сидеть дома, успокоив свою совесть, Наталья Федоровна прекратила свое добровольное затворничество и каждый день с утра уже обдумывала, у кого побывать. Она навестила Настасью Гавриловну, жену князя Никиты Юрьевича Трубецкого. Там она узнала все подробности постигшего семью Ягужинского горя. Со слезами на глазах рассказала Настасья Гавриловна о несчастье своей сестры, жены Ягужинского.

– Бедная Анна совсем больна, – говорила она. – Машенька бродит как тень. В доме произвели обыск. Все бумаги опечатали. Захватили секретаря графа Кроткова и его доверенного, второго секретаря, Аврама Петровича, и увезли в тюрьму... Где сам Павел Иваныч – никто не знает. Одни говорят: в тюрьме, другие, что он под караулом в отдаленных комнатах кремлевского дворца. Отец, канцлер, ничего не может сделать. Всем заправляют Долгорукие да Голицыны. Они не остановились на аресте Ягужинского. По всем полкам они отдали распоряжение объявить в присут-

ствии всех чинов, торжественно, при барабанном бое, что подполковник гвардейских полков, генерал – адъютант граф Павел Иванович Ягужинский уличен в государственной измене.

Лопухина делала сочувственный вид, но в глубине души была совершенно равнодушна.

Потом она побывала у Черкасского. Там она встретила молодого Антиоха Дмитриевича Кантемира, известного ей как пиита, зло осмеявшего в свое время Ивана Долгорукого под именем Менадра. Она много слышала о Кантемире, когда во время фавора Долгоруких при юном императоре Петре II ходили по рукам его стишки, направленные против фаворита. Она даже помнила некоторые строки, особенно имевшие успех в обществе, настроенном враждебно против Долгоруких:

*Не умерен в похоти, самолюбив,
тщетной
Славы раб, невежеством наипаче
приметной,
На ловли с младенчества воспитан
с псарями,
Как, ничему не учась, смелыми*

*словами
И дерзким лицом о всех хотел
рассуждати
(Как бы знанье с властью раздельно
бывати
Не могло), на всеми свой совет почитати
И чтительных сединой молчать
заставляя...*

Кантемир имел свои причины ненавидеть верховников. Он был лишен майората по милости князя Дмитрия Михайловича, нашего притязания в этом запутанном деле, как наследника молдавских господарей, неосновательными. Долгорукие были возбуждены против него за его сатиры, направленные против них. Естественно, что юный Кантемир примкнул к их врагам. Кроме того, он был увлечен красавицей Варенькой, единственной дочерью князя Черкасского, богатейшей невестой в России.

Варенька, по молодости лет, обожала Лопухину, считая ее образцом красоты и изящества. Это льстило самолюбию Натальи Федоровны, и она охотно бывала у Черкасских.

Там теперь она слышала те же жалобы на

самовластье Верховного совета и сочувствие Ягужинским и увидела страх и растерянность перед решительными мерами Верховного совета.

Все это был один круг, сплетенный из родственных и свойственных отношений. Ягужинский женат на дочери канцлера, брат фельдмаршала Трубецкого – на другой дочери, Черкасский – на сестре Трубецкого и так далее.

В эти дни Наталья Федоровна побывала и у Салтыковых, и при дворе царицы Евдокии и везде видела непримиримую ненависть к «затейкам» верховников и тот же страх перед ними. Встретила Феофана, который с особым удовольствием дал ей свое архипастырское благословение. Еще молодой владыка – ему едва ли было сорок восемь лет – был неравнодушен к женской красоте.

Из всех своих посещений Лопухина вывела заключение, что, во всяком случае, страх перед верховниками был сильнее ненависти к ним. Эти посещения развлекали Лопухину и сокращали для нее время ожидания приезда Шастунова, сопровождавшего императри-

цу.

А императрица, видимо, торопилась. Выехав из Митава 29 января, она 2 февраля была во Пскове, 4-го в Новгороде, 7-го в Звенигородском Яме, 8-го в Вышнем Волочке и 9-го вечером уже в Клину. Курьеры непрерывно скакали к сопровождавшему ее князю Василию Лукичу и от него на Москву. Верховный совет собирался и днем и ночью, распоряжаясь и заготовкой подвод, и церемониалом, и следствием по делу Ягужинского, и переговорами с представителями знати и шляхетства, являвшимися по приглашению князя Дмитрия Михайловича подавать свои мнения о государственном устройстве.

Князь Дмитрий Михайлович только хватался за голову. Проекты сыпались один за другим. И все проекты, не отвергая или обходя вопрос об ограничении самодержавия, на первый план ставили ограничение власти Верховного совета.

– Господи! – восклицал Дмитрий Михайлович. – Да разве в моем проекте нет шляхетской палаты... Я говорил, что надо обнародовать мой проект. Ведь они, – говорил он

фельдмаршалу Василию Владимировичу, – смотрят на Верховный совет как на врагов шляхетства. Это вы виноваты! Смотри, Матюшкин, какой-то Секиотов, князь Алексей Михайлович, скрытый враг, вот проект, подписанный тринадцатью, и еще, и еще...

Дмитрий Михайлович с озлоблением перебирал гору бумаг, лежавших на его столе.

– И все они говорят о правах шляхетства. А крестьяне? Вот смотри, что о них говорится. – Он в волнении взял лист и прочел: – «Крестьян сколько, можно податьми облегчить, а излишние расходы государственные рассмотреть» А, что скажешь? Облегчить податьми! Да в том ли дело! Не податьми только облегчить, а волю, волю, слышишь, князь, волю дать! То дело грядущего. Сычи! Совы! Дай время – все сделаем! Не могут понять, что первый шаг важен!..

И Дмитрий Михайлович в волнении заходил по комнате.

– Я дам тебе время, – сурово и важно сказал Василий Владимирович. – Ты голова, ты и думай. Я говорю тебе, что дам тебе время. Ты только не мешай. Ты голова – мы руки. Все

возможно, когда войско в руках. Иди, не останавливайся, не задумывайся. Великий император говорил: «Промедление безвозвратной смерти подобно». Не останавливайся. Не надо жалеть их! Мы их сметем, и они замолкнут навеки! Не на один день замышляем мы дело...

Семидесятилетний фельдмаршал встал с горящими глазами:

– Пусть не понимают они, поймут их дети...

– Да, – останавливаясь, произнес Голицын. – Ты прав. Нужно время для работы, и ты дашь мне это время. Василь Лукич писал, что арест Ягужинского поразил императрицу. Она в наших руках.

– А ежели, – медленно произнес фельдмаршал, – ежели она восстанет противу нас, то» лишена будет короны российской». Это подписала она сама.

– Да, – ответил Голицын. – «Лишена будет короны российской».

– А что сделал Феофан! – вдруг с оживлением продолжал он. – На молебне в Успенском приказал провозгласить ее самодержавной!

Теперь весь народ будет считать ее так! А в «Петербургских ведомостях»? А? То же самое опубликовано! Это начало смуты!

– Ну, что ж? Говорю тебе, сие не важно, – возразил старый фельдмаршал. – Пусть говорят, пусть служат молебны – мы приведем их к присяге на верность императрице, народу и отечеству. Даю тебе слово, что они присягнут. И этот антихристов служитель Феофан, и Сенат, и генералитет – все присягнут.

– Пусть будет так! Это ваше дело, фельдмаршалы, – сказал Голицын.

Действительно, после заседания 2 февраля, когда Дмитрий Голицын предложил собравшимся подавать свои мнения о государственном устройстве, Верховный совет походил на крепость, осаждаемую врагами. Все тайные надежды, все скрытые чувства нашли себе исход. Больше всех волновалось шляхетство. Оно просило себе льгот и свободы и было охвачено боязнью, что в лице родовитых верховников оно встретило врагов, желающих оставить за собою отнятую от императрицы власть, а им бросить от своего пиршества об-

глоданные кости.

Высшая знать со стороны видела в верховниках соперников, захвативших власть в свои руки.

С утра до ночи были раскрыты двери Мастерской палаты для всех желающих подать свое мнение. Это право подучили генералы, бригадиры и полковники, все члены Сената и коллегий, с чином не ниже полковника, и духовенство. В палате царил невообразимый хаос. Василий Петрович едва успевал принимать» мнения». Слышались споры, ожесточенные нападки на верховников, угрозы, крики.

– Это ты виноват, – говорил фельдмаршал Долгорукий Голицыну. – Я бы разогнал их с ротой преображенцев!..

– Не надо, – отвечал Голицын. – Выслушаем всех... Императрица будет на днях. Ей мы поднесем проект. Теперь уже поздно. Надо было опубликовать наш проект раньше. Это вы не хотели... Но, я полагаю, императрица не будет спорить с нами...

– Да, я думаю, что она не будет спорить с нами, – медленно и решительно ответил ста-

рый фельдмаршал.

IX

За все свое одиннадцатидневное путешествие из Митавы Анна была сумрачна и молчалива. Окруженная внешним почетом, она все же чувствовала себя пленницей под зорким наблюдением Василия Лукича.

Хотя Верховный совет распорядился, чтобы Василий Лукич не допустил Анну взять с собою в Москву приближенных ей лиц, но Василий Лукич не мог противиться настойчивому и упорному желанию императрицы. Она твердо решила взять с собою обеих фрейлин – Юлиану и Адель, брата Алели – Артура, маленького Ариальда и Авессалома, злые шутки которого очень любила.

Зная, что распоряжение Верховного совета направлено почти исключительно против камер – юнкера Анны Бирона, Василий Лукич не считал нужным особенно противиться желанию императрицы взять с собою этих безобидных» детей» и шута. Кроме них, императрицу сопровождала ее неизменная Анфиса.

Всю дорогу Анна почти не спала. Несмотря

на надежды, пробужденные в ней письмом Ягужинского, планами Густава, переданными ей Бироном, будущее страшило ее, а сердце ее изнывало при мысли об оставленном Бироне, при воспоминании об его отчаянии при разлуке, при воспоминании о маленьком златокудром Карле. Она так привыкла целовать и благословлять его на ночь, встречать по утрам его светлый невинный взор, целовать его мягкие кудри...

В бессонные ночи на пути она нередко приходила в отчаянье, плакала, молилась и проклинала тех, кто отнял у нее все действительные радости жизни за призрак власти и обманчивое сияние короны, которую держали над ней враждебные руки.

Последний удар нанесло ей известие, переданное ей Василием Лукичом об аресте Ягужинского. Василий Лукич, передавая ей это известие, тонко намекнул, что она, поддерживая сношения с врагами отечества, может сама подвергнуться опасности.

«Лишена буду короны российской», – промелькнуло в голове Анны. Вернуться опять в Митаву! Вернуться невенчанной и уже раз-

венчанной императрицей! Или вовсе не вернуться, а зачахнуть в глухом монастыре! И в суеверном страхе она припомнила темные пророчества юродивого Тихона при дворе матери – царицы...

После этого разговора она впала в мрачное отчаяние.

Василий Лукич понимал ее настроение и с выражениями усиленного почтения докладывал ей сообщения Верховного совета о всеобщей радости всех сословий за дарованные ею благодеяния, спрашивал подробных распоряжений относительно дня погребения покойного императора, встречи ее самой, в каких одеждах ее встречать – в черных или «цветных», где она изволит остановиться до входа в Москву и погребения императора, в Земляном городе или во Всесвятском? Поднес ей роскошнейшие соболя, взятые Верховным советом из Сибирского приказа, предоставил в ее распоряжение десять тысяч золотом... Но Анна не была обманута этими внешними изъявлениями повиновения и покорности. Она была совершенно равнодушна и к встрече, и к соболям, и к золоту. Одно скорбно по-

разило и окончательно убило все надежды, если только они оставались у нее, – это сообщение о радости всех сословий, с какой, по словам Василия Лукича, была принята весть об ограничении ее власти, даже не ограничении, а полном лишении ее.

«Никого! Значит, никого!» – скорбно думала она. Напрасно также старый очарователь попытался повлиять на нее, как на женщину. Анна с едва скрываемой ненавистью смотрела на него. Это путешествие было для нее ныткрй.

Но зато для ее юного штата оно было истинным наслаждением.

Маленький Ариальд с детским любопытством смотрел на чуждых ему людей, на бесконечные глухие леса, снежные равнины, убогие деревни. Россия казалась ему какой-то необъятной сказочной страной, полной чудес и неожиданностей.

«И все это принадлежит ей!» – с изумлением и восторгом думал он.

Не менее наслаждались поездкой и девушки. Торжественные встречи, колокольный звон, пушечная и ружейная пальба в городах,

которые они проезжали, почет, их окружающий, как приближенных к государыне, – все это казалось им сказочным сном. Артур Вессендорф ко всему присматривался, с любопытством расспрашивал о каждой мелочи князя Шастунова. Когда, бывало, императрица уйдет к себе на покой, молодые люди соберутся все вместе тесной и дружной компанией, и далеко за полночь слышатся их веселые разговоры, смех и шутки. Юлиана с застенчивым восторгом украдкой поглядывала на Арсения Кирилловича и потом долго ночью мечтала и шептала его имя. Но Арсений Кириллович, в ожидании встречи с Лопухиной, не замечал ее взглядов.

Иногда показывался и Макшеев» который все время птицей летал с донесениями Василия Лукича в Верховный: совет и от совета опять к Василию Лукичу. Новый поручик являлся всегда веселый, оживленный, привозил кучу новостей о московской жизни, безбожно фантазировал, ухаживал за Аделью, которой, по – видимому, начал серьезно увлекаться, и, засидевшись в компании чуть не до света, по обыкновению, горестно восклицал:

– Опять не выспался!

И через три – четыре часа снова скакал в Москву, бодрый и свежий, захватив на дорогу неизбежную флягу с вином.

Никто не мешал молодежи веселиться. Михаил Михайлович Голицын редко показывался за общим столом. Чаще всего императрица приглашала его и Василия Лукича, к своему столу. Остальное время он проводил в занятиях и беседах с Василием Лукичом, по указаниям его Михаил Михайлович вел всю переписку с Верховным советом.

Из штата императрицы только один Авессалом был мрачен. Он ехал с прислугой, целыми днями молчал и на стоянках всегда прятался куда-нибудь в угол, избегая всяких разговоров. Анна ни разу не выразила желания видеть его, чему он был очень рад. Маленького горбуна одолевали тяжелые предчувствия. Печальна была доньше его жизнь, и что могло изменить ее в будущем? Он всей душой ненавидел Бирона; по – видимому, Бирон навсегда остался в Митаве. Так, по крайней мере, думали все. Но тайный голос шептал Авессалому, что он еще встретит своего

мучителя. Да и Анна, разве она не была его по щекам под сердитую руку? Разве шестилетний Петр Бирон не хлестал его кнутом, как собаку... Кто будет там распорядиться его судьбой?.. Бить его? – с горечью думал Авессалом. Всю жизнь он не знал ласки.

Императрица, по совету Василия Лукича, решила остановиться, до погребения императора и своего входа в Москву, в селе Всесвятском, где было подходящее помещение – дворец имеретинской царевны, дочери грузинского царя Арчила.

В десять часов утра 10 февраля поезд императрицы прибыл в Чашники – последняя стоянка до Всесвятского. Тут же для встречи ожидало посольство из Москвы.

С невыразимым волнением и сердечным трепетом, но внешне спокойно приняла Анна приветственную депутацию.

Посольство состояло из князя Алексея Михайловича Черкасского, кого верховники отправили навстречу императрице, несмотря на возбуждаемые им подозрения, как одного из наиболее видных представителей знати,

генерала Льва Васильевича Измайлова, Григория Дмитриевича Юсупова, Феофана, как первенствующего члена Синода, Крутицкого архиепископа Леонида и архимандрита знаменитого Чудова монастыря Арсения.

Составом депутации верховники хотели показать императрице, что на их стороне и влиятельная знать, и главенствующее духовенство. Анна поняла это.

С Юсуповым приехал и счастливый Дивинский. Он крепко пожал руку Шастунову и шепнул ему:

– Все хорошо! Победа наша! Я счастлив!

Шастунов ответил ему крепким пожатием.

Василий Лукич тоже понял, для чего совет избрал именно этих лиц для приветствия императрицы. Он уже был осведомлен верховниками о начавшемся в Москве движении и зоркими глазами следил за Черкасским, и особенно за Феофаном.

Но на тупом лице Алексея Михайловича не выражалось ничего, кроме обычных надменности и самодовольства. А на сухом, строгом лице Феофана нельзя было ничего прочесть.

Первым произнес приветствие Феофан.

– Вечер водворится плач, а завтра радость, – начал он словами псалма. – Помрачила скорбь сердца наши, а завтра воссияло в сердцах великое веселье, когда всех высших чинов согласиём, паче же Самого, иже владеет царством человеческим, увидели мы: скипетро Российское определено вашему величеству...

При этих словах Анна подняла голову и быстро взглянула на Василия Лукича, как будто хотела сказать:

«Слышишь, Бог дал мне корону!»

Но Василий Лукич неподвижно стоял, прямо смотря на Феофана.

Дальше Феофан говорил о тех гонениях, которым подвергалась Анна со стороны» неблагодарного раба»(он разумел Меншикова), об ее одиночестве и сиротстве в дни, когда она была лишена» любезнейшего подружия»...

Анна слушала его опустив голову. «А теперь, Боже, теперь! – с закипевшей на сердце тоской думала она. – Разве я не в сиротстве, разве я не лишена любезнейшего подружил!

Господи, помоги мне!«И она кусала губы, чтобы сдерживать слезы.

Напомнив, что имя Анны, как и имя ее отца Иоанна, значит по – еврейски» благодать», Феофан закончил свою речь, призывая Божие благословение навеки» на столь уже прославленное от Бога лицо, великодушную героиню, правосудную и исполненную достоинств монархиню, мать благоутробную, милостивую и милосердную!»

Эта речь произвела заметное впечатление на императрицу. В словах Феофана о Божьей воле, призвавшей ее на престол, она увидела как бы некоторую поддержку в борьбе с теми, кто думают, что дали ей скипетр своей волей. А чувство, с которым Феофан говорил об ее печальной прежней судьбе, внушало ей мысль о том, что в лице духовенства она не встретит врагов.

Зато не был доволен этой речью Василии Лукич. По его мнению, Феофан должен был упомянуть хотя бы вскользь об условиях избрания Анны. Кроме того, не понравились ему слова о гонениях, утеснениях и» неблагодарном рабе», о сиротстве и прочее. Все это

походило на отдаленный намек.

Вслед за Феофаном от лица Верховного совета и генералитета приветствовал императрицу Алексей Михайлович. Он кратко сказал о радости, объявшей всех при милостивом прибытии государыни, и выразил чувства верноподданнической преданности. Василий Лукич остался также недоволен и этой речью.

Императрица милостиво благодарила депутацию и заявила, что сегодня же прибудет во Всесвятское, где, по распоряжению Верховного совета, для нее уже отделали помещение во дворце и все было готово к ее приему. —

Х

Как вырвавшаяся на волю птица, летел Шастунов в Москву. Молодой офицер не мог сдержать своего нетерпения и, еще не доезжая Всесвятского, отпросился у Василия Лукича в Москву. Предварительно он переговорил с Федором Никитичем, который обещал, в случае надобности, подежурить за него и принять на себя командование почетным караулом императрицы. Но Василий Лукич предупредил его, чтобы он завтра рано утром уже вернулся, так как императрица назначила на 11-е число погребение императора.

В сопровождении Васьки Шастунов прежде всего отправился на свою квартиру, чтобы переодеться и узнать, не было ли без него писем от отца.

Его немного беспокоила мысль, что за все время он послал отцу только одно письмо в самые первые дни, а потом, по легкомыслию, откладывая со дня на день, не удосужился написать ему, а потом уже и не мог, так как Верховный совет распорядился задержать всю почту и писать было бесполезно. Кроме того,

и деньги уже приходили к концу.

Дома он был встречен очень радушно старухой Гоопен и раскрасневшейся от радости Бертой. Он дружески поздоровался с Мартой и ласково справился о здоровье Берты.

У себя он нашел письма. Одно от виконта де Бриссака, другое – от отца. Бриссак уже выехал из остерии. За торопливым завтраком Шастунов занялся чтением писем.

В коротком письме де Бриссак сообщал, что принужден был лишиться приятного соседства, так как его старый друг, французский резидент Маньян, настоял на переезде к нему. Де Бриссак прибавлял, что ему многое надо сообщить князю, и усиленно звал посетить его.

Письмо Кирилла Арсеньевича было странно, и в нем чувствовалась некоторая тревога. «Дошло до меня, – писал старик, – что у вас чуть не республику хотят учредить. Диву я дался, и непонятно мне сие. Исстари царство Русское управлялось самодержавными государями по воле Божией и процветало во славе и спокойствии. Ужели есть безумцы, что по образу Польши восхотели самодержав-

ную государыню тению сделать? То, истинно, прискорбля достойно и измышлено врагами России. Бог влагает разум и мудрость в помазанных самодержавных государей, от них же вся слава отечества. Сих безумцев нещадно искоренить следует, зане замышляют погибель. Но за тебя я спокоен, Арсений. Ты, я знаю, оплотом станешь за императрицу и не посрамишь честного рода Шастуновых. Стой грудью за императрицу! На том мое благословение тебе. О деньгах не тревожься. Знаю, что они бесполезны в сем деле и имеют большой резон. А я, несмотря на свои немощи, в скором времени прибуду в Москву, дабы отдать свои слабые силы и живот свой на защиту всемилостивейшей, самодержавнейшей императрицы нашей. Шлю тебе отцовское благословение.

Размышления сии передай, с низким поклоном, друзьям моим – фельдмаршалу Михал Михалычу, с коим мы рядом бились под Лесным, и брату его Дмитрию Михалычу, с коим мы в заморских краях были, и сородичу нашему Василию Владимировичу. Я по приезде не премину быть у них...»

Бог весть какими путями в ближайших к Москве провинциях стали известны события на Москве. Кто распространял слухи? Когда шумит под бурей лес, кто— скажет, какой лист зашумел первым?

Арсений Кириллович не задумывался над этим вопросом.

Глубоко и скорбно поразило его это письмо. Он увидел с ужасом, что между ним и отцом разверзлась бездна, что отец и не подозревает о той роли, которую он играет в настоящих событиях; что отец видит в сыне не только наследника рода, но и наследника тех убеждений, какие испытывал сам.

Тяжелая тоска омрачила радостное настроение Арсения Кирилловича. А приезд отца? Что он скажет ему? При обострившейся борьбе партий, быть может, ему придется выступить открытым врагом отца? Быть может, придется видеть, как больной, но упрямый старик, его отец, падет жертвой, как Ягужинский? И одним из его палачей, торжествующих победителей, будет его сын?

В комнату тихо вошла смущенная Берта, за ней следовал высокий, загорелый старик, в

котором князь узнал камердинера своего отца, Авдея.

– А! Здравствуй, Авдей! – ласково произнес Арсений. – Как здоров батюшка?

– Здоров, родной, здоров, – ответил старик.

– Он потребовал, чтобы я сейчас же провела его к господину князю, – торопливо произнесла Берта. – Это он принес письмо.

– Спасибо, милая, я очень рад, – сказал Арсений. Берта сделала низкий поклон и удалилась.

Старик рассказал, что Кирилл Арсеньевич чувствует себя хорошо, поскорости собирается в Москву, а пока присылает вот это.

При этих словах Авдей расстегнул кафтан и снял с пояса широкий толстый кушак.

– Золото, родной, золото, – проговорил старик, подавая Арсению Кирилловичу тяжелый пояс.

Князь вспыхнул. Ему вспомнились слова отцовского письма, на что нужны эти деньги.

– Спасибо, Авдей, – произнес он. – Заходи ужо – потолкуем. Там тебя накормят, а теперь еду по делам.

Авдей низко поклонился и вышел.

Вбежал Васька и начал помогать своему господину совершить туалет. Молодость взяла свое. Сперва глубоко взволнованный письмом отца, Шастунов мало – помалу успокоился, охваченный мыслями о предстоящем свидании с Лопухиной. «Ничего, – думал он. – Все обойдется; Отец, видимо, еще не знает, что князя Голицыны воли хотят. Приедет старик, сам увидит, что теперь не то, что при Петре I. Сам небось не захочет быть под рукою немецкого берейтора...»

И, уже забыв о письме отца, свежий, нарядный, как на бал, он летел к Лопухиной. В его воображении рисовалась радостная встреча. Он шептал про себя пламенные слова о любви и свободе, которые странно переплетались в его душе. Он завоеует, он завоеует ее, эту гордую красавицу, желанную добычу всех щеголей Москвы: и Петербурга! Она будет только его! В ней он видел единую и лучшую награду... Он не задумывался, какими путями он может достигнуть безраздельного обладания этой красавицей.

Темные, нехорошие мысли порой шевелились в его душе. Лопухин – враг верховни-

КОВ...

Но он отгонял от себя эти мысли.

Лакей поднял портьеру, громко крикнув:

– Сиятельный князь Арсений Кириллович Шастунов.

И князь очутился в навеки запечатлевшейся в его памяти красной гостиной. Сердце остановилось. Дыханье: прерывалось. Все приготовленные слова вылетели из его памяти.

Но то, что увидел он, сразу вернуло ему самообладание светского человека, привыкшего к изысканному обществу Сен – Жермена. Лопухина была не одна. Облокотившись на спинку кресла, перед ней стоял граф Левенвольде. При входе Шастунова Лопухина, как показалось князю, смущенно поднялась с маленького кресла, а граф Рейнгольд выпрямился.

– Как я рада, дорогой князь, – радушно и спокойно произнесла Наталья Федоровна. – Я соскучилась о вас.

И она протянула Шастунову руку. Арсений Кириллович поцеловал протянутую руку и отдал холодный, сухой поклон Рейнгольду.

– Какие же новости привезли вы нам из Митавы? Приехала ли императрица? – продолжала Лопухина, обжигая его взглядом из-под опущенных длинных ресниц.

Рейнгольд стоял молча, настороже.

– Императрица приехала сегодня, – сухо ответил Шастунов. – Она во Всесвятском. Государыня милостиво приняла депутацию, принесящую благодарение ее величеству за милости, оказанные народу, – закончил Шастунов.

– Императрица очень добра, – заметил граф Левенвольде.

– Да, – резко произнес Шастунов, пристально и вызывающе глядя на Рейнгольда. – Она изволила дать обещание оставить в Митаве всех окружавших ее чужеземцев, во главе со своим камер – юнкером Бироном.

Левенвольде нервно пожал плечами. Лопухина бросала на него тревожные взгляды.

– Конечно, – со скрытой насмешкой произнес Левенвольде. – Ведь она теперь не герцогиня Курляндская, а русская императрица...

Никто не ответил ему. Лопухина, видимо, была смущена, несмотря на все умение владеть собою. Шастунов невольно вспомнил на-

меки Сумарокова в памятную ночь 19 января, и чувство глухой, тяжелой ревности овладело им.

Инстинктом опытной женщины Лопухина поняла, что происходит в душе князя. Она снова бросила умоляющий взгляд на Рейнгольда. Левенвольде понял, что он лишний. Но в своем самомнении он объяснил ее желание остаться наедине с Шастуновым намерением что-либо выведать полезное для дела, потому что в душе он давно и бесповоротно решил, что Лопухина не может иметь иных мыслей и стремлений, чем он. Но все же он с явным недоброжелательством смотрел на молодого князя.

– Простите, – сказал он наконец. – Обязанности службы призывают меня.

Он сделал над собой усилие и с непринужденным видом поклонился князю.

– Как жаль, – протянула Наталья Федоровна.

Рейнгольд поцеловал ее руку и вышел. Несколько мгновений царило молчание.

– Князь Арсений Кириллович, – тихо начала Лопухина. – Подойдите ближе. Сюда. Вот

так... Вы, кажется, не рады, что пришли?

Ее голос звучал печально и нежно. Этот очаровательный голос, такой глубокий и гибкий, проникающий в самое сердце.

– Я жалею, что пришел сегодня, – мрачно ответил князь. – Кажется, я был лишним, я помешал вам...

– Мальчик, милый мальчик, – с невыразимой нежностью произнесла Наталья Федоровна. – Он ревнует, он ревнует! – повторила она, низко наклоняясь к князю...

– Разве я могу ревновать! – дрожащим голосом произнес Арсений Кириллович.

– Не можешь, не можешь, не смеешь!.. – страстным шепотом сказала Лопухина, и ее обнаженные до локтя руки обвились вокруг шеи князя. – Милый, ревнивый, дорогой мальчик, – шептала она, крепко прижимая его голову к груди. – Я не выпущу тебя... Ты – мой...

Как утренний туман под лучами солнца, исчезли мрачные мысли Арсения Кирилловича. Восторг, бесконечный восторг, граничащий со страданием, охватил его душу... Огненный вихрь закружил его и сжег мгновен-

но и ревнивые мысли, и тревожные чувства...

Уже поздним вечером возвращался домой Арсений Кириллович. Он шел пешком, довольный и счастливый» уже мечтая о новом свидании с Лопухиной. Несмотря на поздний час, на улицах, прилегающих к Кремлю, и на площади перед Архангельским собором было шумно, суетился народ, горели факелы. Собор был освещен внутри. Это шли спешные приготовления к назначенному на завтра погребению покойного императора. Фасады домов украшались траурными материями. На площади воздвигались арки с траурными флагами. В соборе готовили гробницу в том месте, где был погребен царевич казанский Александр Сафагиреевич. Гроб с его прахом уже унесли.

Шастунов вспомнил, что ему тоже придется идти завтра в наряд, и вздохнул. Он устал от дороги, устал от волнений сегодняшнего дня, а завтра надо подниматься чем свет!

Алексей Григорьевич Долгорукий в полной парадной форме, с голубой Андреевской лентой через плечо, торопливо и взволнованно вошел в комнату дочери Екатерины.

– Ну что же, образумилась? Пора, едем, – сердито сказал он.

Екатерина – высокая, стройная девушка в глубоком трауре – медленно повернула к нему похудевшее, бледное лицо с сурово сдвинутыми и горящими сухим, лихорадочным блеском большими глазами.

– Я не поеду, – резко сказала она. – Я уже говорила тебе, отец. Ты не отстоял для своей дочери подобающего места. Я не хочу унижений!

– Ты с ума сошла, Катерина, – воскликнул Алексей Григорьевич. – Чего ты хочешь?

– Я хочу, – ответила Екатерина, – чтобы чтили во мне государыню – невесту. Мое место с принцессами. Я не пойду с теми, кто еще так недавно целовали мою руку... Я такое же «высочество», как и принцесса Елизавета. Мое место рядом с ней.

– Ты уже не государыня – невеста, – сказал Долгорукий.

– Я государыня – невеста, и я умру ею, – ответила Екатерина. – Я не сойду со своей высоты. Унижайся ты, если хочешь. Я не унижусь...

– Послушай, Екатерина, – убедительным тоном заговорил Алексей Григорьевич. – Что было – то прошло. Надо начинать иную жизнь. И так уже жаловались на твою надменность. И так Бог весть что говорят про Долгоруких.

– В том я не причина, – возразила Екатерина. – Высоко вознеслись вы; что ж говорить о нас! Иван погубил своим распутством императора. Только бражничал да распутничал... Ты... да что говорить!

– Не тебе упрекать меня да брата Ивана, – ответил Алексей Григорьевич. – Мы думали о твоей судьбе. Мы вознесли тебя на такую высоту, о какой ты и помыслить не смела...

– Себя вознесли, – прервала его Екатерина. – Разве я хотела этого, разве просила или молила... Охота, пьяные пиры!.. О, Господи, – страстно воскликнула она. – Вы же все под-

строили! Видит Бог, не хотела я этого!.. Молчи же, отец, – вы ничего не дали мне. Вы отняли у меня мое счастье, мою любовь... – Она резко отвернулась к окну и прижалась горячим лбом к холодному стеклу, за которым виделся мутный сумрак. – Я была бы счастлива с Милезимо, – тихо закончила она.

– Ты еще можешь быть счастлива, – попробовал сказать Алексей Григорьевич.

Она повернула к нему вспыхнувшее лицо.

– Вы отравили мою душу, – крикнула она. – Оставь, отец, уйди, не терзай меня! Мне ничего, ничего теперь не нужно. У меня теперь нечего уже отнять! И я ничего не боюсь, ничего не хочу! Вы проиграли, а мне все равно.

– Глупая девчонка! – с озлоблением крикнул, поворачиваясь, Алексей Григорьевич.

– А ты целовал мне руку и называл» ваше высочество», – бросила ему вслед Екатерина с сухим, жестким смехом.

Князь торопился в Лефортовский дворец к выносу праха императора. Там уже все нетерпеливо перешептывались, ожидая, из уваженья к памяти покойного императора, его бывшую невесту.

Но, чувствуя себя униженной тем, что в церемониале погребения ей отвели место среди придворных дам, Екатерина все же хотела взглянуть на печальный кортеж, сопровождавший останки того, кто готовился возвести ее на высшую ступень человеческой власти и увенчать ее юную голову императорской короной.

Она велела подать карету и из Головинского дворца, где они жили, поехала к невесте брата, Наташе Шереметевой. Печальная процессия должна была пройти как раз под нами Шереметевского дворца.

С заплаканным, распухшим от слез лицом, рыдая, бросилась ей навстречу шестнадцатилетняя Наташа.

– Катя, дорогая, как тяжело, как тяжело мне!.. – рыдая, говорила она.

В суровой душе Катерины эта кроткая, любящая и нежная девушка – ребенок всегда пробуждала нежность.

– Полно, полно, Наташенька, – ласково говорила она. – Не плачь...

– Катя, милая, – говорила Наташа, крепко сжимая ее руки. – Ежели б ты знала, как тяже-

ло стало мне жить с тех пор, как скончался наш благодетель. Ведь довольно я знаю обычаи нашего государства, что все фавориты пропадают после своих государей!..

– Наташа, – серьезно сказала Екатерина. – Ты еще так молода, зачем безрассудно сокрушаться? Никто не осудит тебя, если ты откажешь жениху. Я первая советую тебе это. Будут и другие женихи, – и ты будешь счастлива.

– Катя! – всплеснув худенькими руками, воскликнула Наташа. – И ты туда же!.. И ты, как тетки и брат Петр, что житья мне не дают, только и твердят: откажись да откажись. Катя, Катя! – с упреком продолжала она. – Где же совесть? Когда был он велик, я с радостью шла за него, и все вокруг восклицали: ах, как счастлива она! А теперь, когда он в несчастьи, – отказать ему?.. Нет, дорогая Катя, это бессовестные советы... Прости, не сердись... Ты ведь понимаешь меня...

Екатерина с затуманенными глазами крепко обняла Наташу. Так они сидели, обнявшись, в углу комнаты на диване.

– Нет, – продолжала Наташа, прильнув го-

ловой к плечу Екатерины. – Я отдала сердце свое одному и решила с ним жить и умереть... И что бы ни ждало меня впереди, я никогда, никогда не раскаюсь в этом!..

– Девочка, милая девочка, – с нежностью, несвойственной властной душе ее, произнесла Екатерина. – Ребеночек милый, – добавила она, как будто не была сама только на два года старше Шереметевой.

Они еще могли плакать теперь... Но настанет время, когда от ужаса и отчаянья иссякнут у них все слезы, и сухие глаза будут безнадежно смотреть, ожидая чуда, на низкое, сумрачное небо глухой и дикой стороны.

Заунывное, громкое пение послышалось с улицы. Погребальные напевы торжественно звучали в тихом утреннем воздухе. Девушки вскочили и подбежали к окну. На улице было уже светло. На чистом небе ярко горело зимнее солнце. Неподвижно, держа ружья на караул, стояли шпалерами солдаты. За ними теснился народ. Стройными рядами двигались многочисленные певчие. За ними золотые, серебряные, черные ризы духовенства» Все члены Синода, митрополиты, архимандриты

риты, игумены, черные ряды монахов. Казалось, им не будет конца.

Но вот показались золотые мундиры придворных, несших малиновые подушки. На них лежали сверкающие на солнце гербы, ордена, короны. Шляпы придворных были окутаны флером, спускающимся на спину.

Рыдая, смотрела Наташа на это последнее торжество бывшего императора. У Екатерины вся кровь отхлынула от лица, и она стояла бледная, неподвижная, как статуя, сжав руки.

Поддерживаемый двумя ассистентами, с подушкой в руках, медленно двигался Иван Долгорукий. Флер на его шляпе распустился и почти волочился по земле, на плечи была наброшена длинная траурная епанча. А за ним, медленно колыхаясь, словно на волнах, запряженная восемнадцатью лошадьми, двигалась высокая колесница с гробом императора, увенчанная золотой императорской короной.

Поравнявшись с домом Шереметевых, Иван поднял на окна заплаканные глаза, словно хотел сказать: кого погребаем! Кого в последний раз провожаю я!

В его глазах было столько отчаянья, что сердце Екатерины, не любившей брата, дрогнуло жалостью, а Наташа с криком: «Ваня, Ваня!» – упала навзничь. Екатерина едва успела поддержать ее.

Обряд погребения кончился. Последний пушечный салют и беглый ружейный огонь возвестили об этом жителям первопрестольной столицы.

Из членов Верховного совета не присутствовал лишь Остерман. Тяжелая болезнь, как говорил он, помешала ему отдать последний долг своему царственному воспитаннику. Но в тот же день он принимал у себя графа Рейнгольда. Рейнгольд в эти дни сделал большие успехи. С ловкостью, которой трудно было ожидать от него, он сумел не только выведать настроение военных кругов, но даже близко сойтись с некоторыми гвардейскими офицерами, посвятившими его в свои желанья. В этом помог ему известный пьяница, скандалист и картежник, но имевший большое влияние на товарищей по своему происхождению и богатству молодой граф Федор

Андреевич Матвеев. Внук знаменитого Артемона Матвеева, друга царя Алексея Михайловича, того самого Артемона, который своею кровью запечатлел свою верность Петру, когда погиб мученической смертью на стрелецких копьях в страшные дни первого стрелецкого бунта в 1682 году; сын не менее знаменитого отца, графа Андрея Артемоновича, любимца Петра Великого, граф Федор отличался исключительно буйным, скандальным нравом.

Он не задавался никакими политическими убеждениями. Он просто ненавидел Долгоруких после того, как они при Петре II заставили его извиниться перед испанским послом де Лирия за грубую пьяную выходку. Федор Андреевич считал это для себя унижением. Кроме того, его мать была очень близким лицом Анне Иоанновне; в свое время она была гофмейстериной ее курляндского двора. Естественно, при таких условиях молодой граф мог желать для новой императрицы всей полноты власти.

Рейнгольд легко сблизился с ним, выпив несколько бутылок вина и проиграв ему пол-

сотни золотых. Через него он познакомился с его приятелями: Кантемиром, Гурьевым, адъютантом фельдмаршала Трубецкого, секретарем Преображенского полка Булгаковым, Салтыковыми, родственниками царицы, молодым Апраксиным и другими. Из них наиболее дельным и влиятельным был Кантемир. Он сумел приобрести влияние даже на робкого и нерешительного князя Черкасского, в семье которого был своим человеком. Затем большое значение имели Салтыков и секретарь Преображенского полка Булгаков. Все эти лица или по родственным связям с императрицей, или по близости к знатным особам, обиженным и обойденным верховниками, или по убеждению и личной выгоде желали, чтобы затеи верховников были уничтожены и власть сосредоточилась в руках Анны. Рейнгольд не скрыл, что в гвардейских полках на большинство нельзя рассчитывать, но зато меньшинство представляло собою людей наиболее знатных и богатых.

Остерман с удовольствием слушал его сообщения, потирая руки.

Затем Рейнгольд сообщил ему свои наблю-

дения в армейских полках и среди шляхетства. Ему удалось побывать на тайном собрании у подполковника Сибирского полка Новикова, где собралось и много представителей шляхетства. Там все говорили о том, что обещания Голицына о льготах для шляхетства лишь» помазка по губам». Что где верховники заберут всю власть. Новиков предлагал ворваться в зал заседаний Верховного совета и с оружием в руках потребовать, чтобы немедленно было созвано шляхетское собрание для определения своих нужд и установления формы правления. Другие находили это предприятие» лютым и удачи неизвестной» и хотели мирным путем сговориться с верховниками.

Остерман даже закрыл глаза от удовольствия. «Они не поняли и не поймут друг друга! Дмитрий Михайлович пропустил время, когда можно было сговориться, – думал он. – Теперь остается им одна борьба. Кто сильнее и на чью сторону станет запуганная императрица?»

Живые наблюдения Рейнгольда и знакомство со всеми шляхетскими проектами, кото-

рые Дмитрий Михайлович посылал ему на просмотр, дали Остерману яркую картину действительности.

Как опытный шахматный игрок, он своим острым умом ясно увидел все ошибки верховников. Они допустили прежний императорский титул в манифест и на ектениях. Они не опубликовали кондиций. Они не обнародовали проекта князя Дмитрия Михайловича, в котором шляхетству дано большое значение. А пуще всего – они не показали себя ответственными. Они никого не поставили над собой, никто не мог проверять их действий, никто не мог возражать им. В туманных и неопределенных выражениях говорил Дмитрий Михайлович о шляхетской палате, что она как защита противу посягательств на льготы шляхетства Верховного совета, буде таковые произойдут. Но что палата может сделать с ними, ежели они именован императрицы объявили себя несменяемыми?

Этим в глазах всех они выставили себя олигархами – тиранами.

Да, Остерман был рожден для конъюнктур. Интрига была его жизнью, смыслом его суще-

ствования. Подстрекать одних, обманывать других, сталкивать разнородные интересы, возбуждать страсти, создать настоящий хаос, в котором только он один мог разобраться, держа все нити в своих руках, – на это он был великий мастер.

Целый и стройный план был уже готов у него. Силы уже подбирались; как искусный полководец, он двинет их в решительную минуту. Сторонников самодержавия надо поддержать в убеждении, что для великой, но темной Рост/ сии нужна единая воля и един разум, что доказал Петр I, один из величайших императоров, и в чем, между прочим, был убежден и сам Остерман. Сторонникам свободы, ограничения самодержавной власти указать на опасность для свободы именно со стороны верховников. Указать, что раз сама императрица согласилась на новые условия правления, так пусть она предоставит право устроения новой государственной жизни не восьми персонам, а общенародно. Этим будет вырвана власть из рук верховников, а там... там будет видно. В удобную минуту сторонники самодержавия выставят свои требования

и поддержат их с оружием в руках. А теперь главное – восстановить шляхетство против Верховного совета. А шляхетство не страшно. У них нет единой головы, это показывают многочисленные, разнообразные проекты. Шляхетству не сговориться... Они тоже перегрызутся между собой. И только одна партия, цельная в своей определенности, станет непоколебима, как скала среди бушующих волн.

Партия восстановления самодержавия.

Но какое бы удовольствие ни испытывал Остерман, слушая Рейнгольда, его лицо осталось все так же бесстрастно. Он только изредка закрывал глаза и кивал головой.

– Бедная Россия, – произнес он наконец. – Настали трудные дни. Нам начинает грозить Швеция, император Карл становится все требовательнее. Я стар и слаб, а то я сам поехал бы к императрице.

Зачем, он не сказал. И вообще Рейнгольд не мог решить: чего же, собственно, хочет Остерман? Какой партия он придерживается? И что написать брату, по поручению которого он бывал у Остермана, сообщая ему свои на-

блюдения?

– Ну, Бог поможет, – произнес Остерман. – А мне опять хуже... Глаза горят. Ноги отнимаются и болят. Опять надо взять горячую ванну.


Рейнгольд понял, что ему пора уходить. Он встал.

– Заходите, граф, – сказал вице – канцлер. – Мне очень интересно знать, что творится у вас. Бедный больной старик, кажется, уже никому не нужен.

– Сочту за честь, господин барон, – кланяясь, ответил Рейнгольд.

После ухода Рейнгольда барон с легкостью и живостью молодого человека быстро сбросил одеяло, вскочил с кресла и подошел к столу. Он уселся у стола, придвинул лампу и начал торопливо писать. Он писал долго, не отрываясь, и на его тонких губах скользила усмешка. Кончив, он с видимым удовлетворением перечел написанное, запечатал, спрятал на груди, затем перешел опять в свое кресло, прикрыл ноги меховым одеялом и позвонил. Вошедшему лакею он слабым голосом приказал позвать баронессу. Когда она

пришла, он указал ей место рядом с собой и тихо начал:

– Слушай, Марфутчонка, и запомни, что я скажу тебе. Я дам тебе важные поручения. В настоящее время только женщина, умная и ловкая, может сделать это. Ты Стрешнева, близка к Салтыковым – они родственники царицы, ты знаешь хорошо Лопухиных. Наталья Федоровна – умнейшая женщина. Чернышева – ближайший друг императрице. Одним словом, надо, чтобы это письмо (он вынул из  за пазухи небольшой, но довольно толстый пакет) было не позже завтрашнего дня доставлено императрице, – с особенным выражением добавил он. – Это трудно, – продолжал он. – К императрице никого не пускают; даже сестер она может принимать в присутствии Василия Лукича... Но где не сможет сам черт – сумеет женщина.

– Ты, однако, очень мил сегодня, Иоганн, – улыбаясь, сказала Марфа Ивановна.

Остерман поцеловал ее руку.

– Ну что ж, я попытаюсь. Я сегодня же поведу Прасковью Юрьевну (Прасковья Юрьевна, сестра фельдмаршала, была заму-

жем за генерал – поручикам Семеном Андреевичем Салтыковым). Постараюсь повидать и Авдотью Ивановну Чернышеву, – сказала Марфа Ивановна. – Может быть, это и не так трудно, – с хитрой улыбкой добавила она.

– О, женщины – великое орудие дипломатии, – улыбнулся Остерман, снова целуя руку жены.

Марфа Ивановна даже не спросила у мужа о содержании письма. Он вообще не любил никаких расспросов, а она привыкла к тому, что он вечно был окружен тайнами, и считала их неизбежными при его положении вице – канцлера.

Настроение молодежи, так весело и радостно сопровождавшей Анну из Митавы, как императрицу великой страны, заметно изменилось. Станным и непонятым казалось им положение императрицы. Что это значит? Императрица в плену, она плачет, тоскует. Они сами тоже под каким-то надзором, словно в тюрьме. Неотступной тенью следует за государыней этот гордый, самовластный князь. Он даже остановился в этом дворце, предоставленном императрице. Изящный, самоуверенный, всегда сдержанный и остроумный, очаровательный собеседник, он мягко и настойчиво держит в своих руках всю власть. Он распоряжается караулами, он допускает или не допускает, по своей воле, к императрице ее родных, друзей, даже ее сестер и царевну Елизавету. Со своей неизменной улыбкой он, как тюремщик, присутствует при всяком свидании, разрешенном им. Дворец окружен солдатами, на всех окрестных улицах и по дороге в Москву – военные посты. Он говорит, что это почетный караул. Но для почет-

ного караула их слишком много. Все челобитные, присылаемые на имя императрицы, направляются к нему. Он разбирает их, кладет резолюции и уже потом докладывает императрице все, что найдет нужным. А она со всем соглашается. Он не позволяет им съездить в Москву.

Что же это?

При дворе герцогини Курляндской они привыкли думать, что император российский всемогущ. Что власть его простирается, грозная и могучая, не только над его необъятной империей, но даже чуждые народы уважают его волю. И вот...

Молодой Артур глубоко задумывался, баронесса Юлиана фон Оттомар притихла, его сестра тоже. Право, им свободнее жилось при курляндском дворе.

Маленькая Юлиана грустила еще потому, что несколько дней не видела князя Шастунова.

Ариальд, как мышь, обегал каждый угол дворца, узнал всех лакеев и слуг, включительно до судомойки, знакомился с солдатами, разведывал от них, что происходит в Москве,

и с запасом новостей и сплетен являлся по вечерам в комнату фрейлин и передавал все, что успевал узнать за день.

Авессалом поселился в каморке наверху, и эта теплая, но тесная каморка казалась ему раем по сравнению с сырым и темным подвалом в митавском доме герцогини.

Он был» без языка», так как не знал почти ни одного слова по – русски, но к его мрачной и вместе с тем жалкой фигуре скоро привыкла прислуга. Его приход на кухню всегда встречался веселым смехом и шутками, которых он, конечно, не понимал. Седой повар в белом колпаке дружески ударял его по горбу и при радостном хохоте дворни говорил с ласковой улыбкой:

– Ну, чертова кукла, заморский урод, садись – лопай!

Авессалом чувствовал, что над ним смеются, но нисколько не оскорблялся, так как видел под этими шутками человеческое отношение к себе, к чему он не привык в Митаве. Его кормили и поили как на убой. За это он строил уморительные гримасы, ходил на руках, кувыркался колесом, сохраняя свой мрач-

ный вид. Дворня хохотала до упаду.

С упорством и настойчивостью, он стремился ознакомиться с русским языком и уже через несколько дней начал кое-что понимать и говорить, забавно коверкая слова. Его охотно все учили языку, до такой степени смешно произносил он русские слова.

Ариальд, вообще знакомый с русским языком, за несколько дней так усовершенствовался в нем, что довольно бегло объяснялся. Но ему тоже было скучно. Он хоть пешком добежал бы до Москвы – посмотреть этот сказочный, роскошный город, где, как он слышал, так много храмов с золотыми куполами, роскошные дворцы царей и вельмож, где есть пушка, в которую он легко мог бы влезть, и такой колокол, какого нет во всем мире. Но он не смел и заикнуться о своем желании.

Из углового окна комнаты фрейлин была видна дорога в Москву. У этого окна любила стоять Юлиана и смотреть на эту снежную дорогу. Неясные чувства волновали ее. Не покажется ли знакомая фигура на горячем коне? Она ревниво таила свои чувства. Так и в это

утро – она стояла у окна, с тоской и ожиданием глядя на далекий белый дуть.

Вот показалась карета, за ней одиночные сани, потом верховой.

– Едут, едут! – радостно вскричала она.

– Кто, кто едет? – спросила Адель, подбегая к окну. – Ну да это, наверное, сестры императрицы, – сказала она, приглядевшись, – И принцесса Елизавета... А за ними...

– Князь Шастунов, – быстро проговорила, вся вспыхнув, Юлиана.

Адель весело взглянула на нее.

– Ого, Юлиана, какая ты зоркая, – смеясь, сказала она.

Юлиана покраснела еще больше.

– Ты бы еще дальше узнала поручика Макшеева, – ответила она.

И обе девушки громко рассмеялись. Всякий приезд чужих людей развлекал их.

– Ну, Адель, скорее одевайся, – торопливо проговорила Юлиана. – Нас, наверное, призовут.

Молодые девушки, хотя и были одеты, торопливо бросились к зеркалу поправлять прически и проверить туалет.

Через несколько минут в комнату влетел Ариальд.

– Приехали, приехали, – кричал он. – Идите вниз! Ее высочество герцогиня Мекленбургская, принцессы Прасковья и Елизавета, да еще какие-то две! Да наш князь!

«Нашим князем» маленький Ариальд называл Шастунова, как, впрочем, звали его и остальные в этом маленьком кружке.

– Баронесса Юлиана, – воскликнул он. – Побелитесь, вы красны как мак!

– Дрянной мальчишка, – полусердито закричала, Юлиана. – Я выдеру тебя за уши!

– А я пожалуюсь князю, – крикнул Ариальд, убегая.

Внизу прибывших женщин встретил Василий Лукич. Шастунов прямо прошел в дежурную комнату сменить караульного офицера.

– Императрица рада будет увидеть ваши высочества. Ее величество несколько расстроена. Она до сих пор печалуетя о преждевременной кончине своего августейшего племянника. Но император уже погребен, и живые должны думать о живом. Императрице

будет отрадно встретить своих близких.

За царевнами безмолвно и печально стояла Анна Гавриловна с дочерью. Траурное платье выделяло бледность лица Маши. Она похудела, глаза ее были красны от слез. Их присутствие не нравилось Василию Лукичу, но он ничего не мог поделать. Они явились под слишком могущественной охраной, чтобы он мог решиться удалить их. Притом Анна Гавриловна была дочерью канцлера, ссориться с которым не входило в планы Василия Лукича.

Он быстро взвесил все это в уме и почти-тельно, низко поклонился Ягужинской. Она едва кивнула головой.

Василий Лукич пристально взглянул на нее и чуть заметно пожал плечами, как будто хотел сказать: «Я знаю, зачем вы пришли, но никто не в силах помочь вам».

Он проводил гостей в маленькую приемную и поспешил доложить императрице. Через несколько минут два камер – юнкера широко распахнули двери, Василий Лукич громко произнес:

– Ее величество императрица!

И в сопровождении своих фрейлин и маленького Ариальда, поддерживавшего длинный трен ее платья, вошла Анна. Принцессы почтительно встали.

Прошло едва несколько дней, как они встречали императрицу во Всесвятском, но и за эти дни Анна побледнела и осунулась еще больше. В глазах горел мрачный огонь, губы были плотно сжаты.

– Здравствуйте, сестрицы, – приветливо, но без улыбки сказала она, целуя сестер. – А! И ты, Анна Гавриловна, – добавила она, заметив Ягужинскую. – А это кто, дочь твоя?

– Дочь, ваше величество, – едва сдерживая слезы, ответила Анна Гавриловна. – Маша.

– Я ее еще не видела, – продолжала мило стиво Анна, протягивая руку Маше. – Поди сюда, красавица.

Маша порывисто бросилась вперед, прильнув к руке императрицы, и вдруг с громким рыданием упала на колени. Траурный креп ее расстилался по полу, из под черного головного убора выбивались полураспущенные темно – русые косы.

Сердобольная Прасковья Ивановна с глаза-

ми, полными слез, отвернулась к окну. Анна Гавриловна плакала, закрыв лицо руками. Юлиана и Адель казались растроганными. Елизавета нервно теребила в руках платок. Лицо герцогини Мекленбургской приняло суровое выражение, и она бросала негодующие взгляды на Василия Лукича, пораженного этой сценой.

Глаза Анны сверкнули.

– Встань, встань, – торопливо сказала она.

Но Маша рыдала все громче и говорила прерывающимся голосом:

– Ваше величество... Отец... в тюрьме... безвинно... Он верный слуга ваш и вашего дяди еще... Он... ничего... Смилоствитесь, государыня... Вы такая добрая...

Анна побледнела еще больше, и на мгновение ее глаза с такой угрозой остановились на Василии Лукиче, что он растерялся. Но сейчас же овладел собою и, стараясь поднять Машу, произнес:

– Ее величеству известно ваше дело. Вы напрасно заставляете страдать сердце государыни. Ее величество не может пока ничего сделать для вас.

Маша с отвращением оттолкнула его руку и прижалась лицом к складкам платья Анны.

– Императрица еще не сказала своего слова, – своим резким, грубоватым голосом произнесла Екатерина, злыми глазами в упор смотря на Василия Лукича.

– Встань, Маша, – настойчиво повторила Анна. – Послушай, милая девушка, – начала она, опускаясь в кресло. – Скажи своему дедушке, канцлеру, чтобы он сегодня же приехал ко мне, я поговорю с ним. Василий Лукич, – продолжала она, не глядя на князя, – я хочу, чтобы к графу Павлу Ивановичу в его заключении относились с должным уважением, без излишнего утеснения. Я хочу, чтобы Верховный совет незамедлительно рассмотрел его дело и представил нам о сем.

В ее тоне слышались повелительные ноты.

– Верховный тайный совет представит вашему величеству в свое время сентенцию, – ответил, кланяясь, Василий Лукич.

Он видел, что императрица раздражена, но все же своими словами дал понять, что приговор произнесет Верховный совет и только представит о сем императрице, как

о совершившемся факте. Василий Лукич с умыслом не прибавил слов» на благоусмотрение» или» на утверждение», подчеркивая этим полную самостоятельность совета.

И это поняли все, кроме Маши, которую очень ободрили ласковость императрицы и ее слова. С просиявшим лицом она снова горячо поцеловала руку императрицы.

Анна сидела утрюмо, закусив губу.

Юлиана и Адель, не понимая слов, видели только, что эта милостивая, такая еще юная девушка сперва горько плакала, видимо, о чем-то просила, а потом стала радостной. Значит, императрица удовлетворила ее просьбу. И они из-за плеча императрицы ласково улыбались и кивали головой Маше. Маша тоже радостно улыбалась им в ответ.

Василий Лукич, уже вполне овладевший собой, почтительно стоял в стороне, несколько не собираясь уходить, чтобы не оставить императрицу с сестрами.

Он даже был доволен разыгравшейся сценой. На первую властную попытку Анны показать себя самостоятельной он сумел ответить и указать ей, в присутствии ее сестер,

что она ничего не может сделать помимо Верховного совета.

Чтобы рассеять тяжелое впечатление, сестры расспрашивали императрицу, когда она предполагает совершить свой вход в Москву. Будет ли на этот день снят траур?

Вопрос о въезде в Москву был уже решен верховниками помимо Анны. Они торопились скорее покончить со всякими церемониями, чтобы в Москве, в присутствии самой императрицы, привести народ и войска к присяге, которой они придавали величайшее значение, и хотели окружить ее возможной торжественностью и как бы санкционировать присутствием императрицы.

Текст присяги был наконец выработан. В нем были исключены слова «самодержавнейшей», и присяга приносилась «государыне и государству».

Анна вяло отвечала на расспросы. Екатерина низко наклонилась к ней и говорила:

– Ты что-то побледнела, сестрица, вот приедешь в Москву – отдохнешь.

Она уронила платок и прежде, чем кто-нибудь успел сделать движение поднять

его, поспешно наклонилась и быстро шепнула:

– Там верные друзья, жди.

Вялое лицо Анны оживилось, и она украдкой взглянула на сестру. Герцогиня чуть заметно кивнула головой и непринужденно продолжала:

– Вчера был у меня князь Алексей Михайлович. Хочет просить твоего позволения представить тебе дочь свою Варвару. И дочь же у него! Первая красавица в Москве. Потом заезжал фельдмаршал Иван Юрьевич...

Анна становилась внимательнее.

– Ждут тебя, очень все ждут на Москве.

– Да, сестрица, – сказала Елизавета, не понимавшая тайного смысла слов Екатерины. – Уж очень мы истомились в печалях...

– А тебе, чай, уж и потанцевать захотелось? Ты ведь больно охоча до танцев, – произнесла Анна, не без некоторой враждебности глядя на цветущее, прекрасное лицо юной цесаревны. – Поспеешь еще.

Елизавета вся вспыхнула.

– Что вы, сестрица, – ответила Елизавета. – Я не к тому. Где о танцах думать! Только, бы-

ло все так тревожно да смутно. Все равно потерянные ходили.

– И взаправду, Аннушка, – лениво сказала Прасковья. – Жили мы как в крепости какой...

Василий Лукич внимательно слушал эти разговоры. Ему не нравилась герцогиня Екатерина. Она открыто, где только могла, выказывала свою ненависть верховникам. Она была резка и решительна, и ее присутствие было особенно неприятно князю. Он видел настроение Анны, враждебное, хотя и угнетенное, сам устал за эти дни, неся свои нелегкие обязанности, оберегая императрицу от всякого постороннего влияния и неусыпно наблюдая за каждым ее шагом. Он насильно, вопреки видимому нежеланию Анны, жил во дворце под тем предлогом, что, как начальник дворцовых караулов, он отвечает за покой и безопасность императрицы. Но в душе ему не нравилась роль тюремщика. «Поскорее бы все кончилось, – думал он. – Поскорее бы в Москву! Будет принесена присяга, все пойдет тогда обычным порядком. Кончится неопределенность, смирятся враги, и сама императрица покорится своему положению госуда-

рыни, которая царствует, но не управляет».

Императрица, несколько ободренная намеками сестер, пригласила гостей к столу. Все оживились, особенно цесаревна Елизавета, большая любительница покушать. Одна только Анна Гавриловна сохраняла на лице скорбное выражение. Анна приказала пригласить к столу дежурного офицера. Это она с приезда во Всесвятское делала каждый день. В ней говорил инстинктивный расчет, что этой высокой честью она привлечет на свою сторону не одного офицера. И расчет этот был в значительной степени верен. Кроме того, раза два она подносила собственноручно караульным солдатам по чарке вина, а так как почти все гвардейские солдаты были из зажиточных дворян, то этим она располагала к себе отчасти служилое шляхетство.

Все это не нравилось Василию Лукичу, но было трудно, даже невозможно помешать императрице выражать свое благоволение отдельным лицам, особенно дворцовой гвардии, тем более что даже по проекту Дмитрия Михайловича Голицына императрице предоставлялась полная власть над отрядом гвар-

дии, назначенным для ее личной охраны и охраны ее дворца.

Велика была радость Юлианы, когда дежурным оказался князь Арсений Кириллович. Судьба явно покровительствовала в этот день молодой девушке. За столом Шастунов оказался соседом. Под влиянием своего личного счастья он был весел, оживлен, насколько это допускало присутствие императрицы, внимателен, почти нежен к Юлиане. Бедная Юлиана чувствовала себя бесконечно счастливой.

XIII

Под влиянием крепкого сладкого венгерского вина, меда и гданьской водки гости императрицы заметно оживились. Сама Анна ничего не пила, но ее сестры с удовольствием пригубили и вина, и меду, не говоря уже о принцессе Елизавете. Та каждый кусочек запивала глотком вина. Ее прекрасное лицо разгорелось. Она смеялась, угощала своих сестриц и совсем не походила на женщину, к которой еще так недавно был до такой степени близок трон, что, казалось, ей только стои-

ло протянуть руку, чтобы взять корону.

Анна и не видела сейчас в ней соперницы власти; ее сердце больнее уязвляла молодость цесаревны, и она невольно вспоминала свою печальную молодость. Несколько раз под влиянием ревнивой тоски она враждебно взглядывала на Елизавету.

Всегда несколько сонная Прасковья Ивановна оживилась и благосклонно слушала сидевшего рядом Василия Лукича.

На конце стола Шастунов что-то весело вполголоса рассказывал Юлиане, и та, оживленная и радостная, закрывая рот платком, едва сдерживалась от смеха. Ариальд, стоя за креслом императрицы, строил уморительные гримасы и подмигивал на Юлиану.

Несколько раз Анна бросала милостивые взоры на этот молодой угол стола. Она привыкла к своим «девкам», как она называла фрейлин. Кроме того, теперь, при ее настроении, ей особенно дорого было всякое воспоминание о Митаве, а эти девушки напоминали ей многое.

— Однако, поручик, — громко сказала она, обращаясь к Шастунову. — Ты, я вижу, даром

времени не тратишь.

Она улыбнулась и погрозила Арсению Кирилловичу толстым пальцем. Арсений Кириллович смутился, покраснел и вскочил с места.

Ваше императорское величество... – начал он.

– Сиди, сиди, – прервала его Анна. – Да что вы все шушукаетесь там да хихикаете. Вам, видно, очень весело. Так повеселите и нас...

Глаза Юлианы засверкали удовольствием при словах императрицы.

Сам Василий Лукич тоже был доволен. Он был обрадован таким настроением императрицы. Он предпочитал его тому угрюмому и раздраженному состоянию, в котором Анна находилась все это время. «Она примиряется со своим положением, – думал он. – Тем лучше. В Москве, окруженная пышным двором и внешним почетом, в богатстве, роскоши, среди празднеств, она будет вполне счастлива и довольна».

Хотя герцогиня Мекленбургская сидела рядом с императрицей, ей никак не удавалось сказать Анне тайно даже несколько слов. С

другой стороны сидела царевна Прасковья с Василием Лукичом. А Василий Лукич, несмотря на то что, казалось, был поглощен разговором с царевной, ни на минуту не прекращал своих наблюдений и при каждом слове императрицы почтительно смолкал.

А императрице страстно хотелось узнать, на что намекала Екатерина. Раз или два она вопросительно взглянула на нее, но в ответ Екатерина переводила глаза на Василия Лукича, и Анна понимала ее.

Маша, успокоенная словами императрицы, тоже приняла живое участие в веселом шушуканье молодежи. Только ее мать сохранила грустное выражение лица.

Вскоре после обеда Ягужинская, поблагодарив императрицу за милость, отправилась домой. Императрица на прощанье снова неопределенно и милостиво сказала ей:

– Не убивайся, Анна Гавриловна. Бог милостив. Все как-нибудь уладится.

Василий Лукич глубоко поклонился Ягужинской, но она сделала вид, что не заметила его.

Императрица продолжала милостиво бесе-

довать с гостями, но князю Шастунову надо было вернуться к своим обязанностям, к великому огорчению Юлианы. Он взглянул на Долгорукого и сделал движение встать. Василий Лукич понял его и сейчас же испросил разрешение императрицы удалиться князю.

Анна милостиво кивнула головой и шутя произнесла:

– Ты смотри у меня. Не смущай моих девок.

Шастунов низко поклонился и вышел.

Не прошло и нескольких минут, как он вернулся снова и доложил, что прибыла Прасковья Юрьевна Салтыкова и просит милостивого разрешения явиться к императрице. Анна бросила вопросительный взгляд на Василия Лукича, но не успел он произнести слова, как Екатерина крепко сжала руку сестры, словно призывая ее к самостоятельности, и Анна громко сказала:

– Позови Прасковью Юрьевну.

Этот день был не особенно удачен для Василия Лукича. Ему не нравилось поведение императрицы. И в душе он решил принять некоторые меры. Приезд сестер, особенно

Екатерины, в которой он видел открытого врага. Потом просьба Ягужинской, теперь приезд Салтыковой, сестры униженного верховниками фельдмаршала Ивана Юрьевича и жены генерала Семена Салтыкова, майора Преображенского полка, явно сторонившегося верховников, и притом родственника императрицы.

Но делать было нечего. Прасковья Юрьевна уже входила в комнату. Императрица приняла ее с видимой радостью.

Живая и бойкая, Прасковья Юрьевна сделала глубокий реверанс императрице, запросто, по – родственному поздоровалась с царевнами, кивнула Василию Лукичу, улыбнулась фрейлинам, щипнула за ухо Арйальда и быстро заговорила, бросив выразительный взгляд на герцогиню Мекленбургскую. Та слегка наклонила голову.

– Ваше величество, а я к вам с презентом. Анна улыбнулась.

– С презентом? – спросила она. – В чем дело?

– Сейчас, ваше величество, – позвольте этому мальчику (она указала на Арйальда) ве-

леть принести презент. Я его оставила в приемной.

– Иди, Ариальд, – сказала заинтересованная императрица.

Заинтересованы были и все окружающие, даже сам Василий Лукич.

Через несколько минут вернулся Ариальд в сопровождении камер – лакея, осторожно несшего за ним довольно большой ящик нежного палисандрового дерева. По указанию императрицы ящик поставили на столик перед ее креслом. Василий Лукич подошел ближе. Все столпились около столика.

Салтыкова бегло взглянула на Екатерину и вынула из кармана ключик. Медленно, словно для того, чтобы возбудить еще большее любопытство, она открыла футляр. В футляре оказались часы. Она вынула их и поставила на столик.

– Вот так презент! – с удовольствием произнесла Анна, любуясь часами.

Часы действительно были красивы. Серебряный циферблат с золотыми стрелками был вделан в скалу из белоснежного фарфора. Скалу увенчивала группа, изящно исполненная,

изображающая Амура и Психею.

Часы шли. Салтыкова надавила пружинку, и они отчетливо, серебристым звоном, пробили три и четверть.

– Это ежели проснуться ночью, – пояснила она, – то и без огня можно узнать, который час.

Анна, как ребенок, любовалась часами.

– Да откуда у тебя это чудо? – спросила она. – Спасибо, Прасковья Юрьевна.

– А это мужу привез саксонский резидент Лефорт, – ответила Прасковья Юрьевна. – У них в Саксонии какой-то чудодей еще при короле Августе состав такой нашел. Во всем мире, говорит, такого нет. Только в Китае одном. Да те свой секрет крепко держат, – продолжала Прасковья Юрьевна. – Вот этот Лефорт и привез мужу диковинку. А муж и говорит: такая штука одна в России. Надлежит быть ей у императрицы. Вот я и привезла.

– Спасибо, спасибо, – говорила Анна, любясь часами. – Поблагодари Семена Андреевича. Потом и мы отблагодарим его.

Анна несколько раз нажимала пружинку.

– Чудно, – говорила она, – этакую махина-

цию выдумать.

– Вот, сестрица, сзади золотая доска, – показала Екатерина, – а за ней вся махинация, – при этих словах она незаметно надавила ногой на ногу императрицы. – Да, за ней вся махинация, – повторила она, снова нажав ногу Анны.

Анна бросила на нее быстрый взгляд и сейчас же опустила глаза.

– Прикажи, Василий Лукич, поставить ко мне в опочивальню, – сказала она.

Василий Лукич поклонился, но, не желая оставлять императрицу с сестрами, сделал знак Ариальду.

Императрица стала задумчива.

Отойдя в сторону, Юлиана что-то шептала Ад ели. Цесаревна Елизавета едва скрывала свою зевоту. После сытного обеда и выпитого вина ее клонило ко сну. Царевна Прасковья, после оживления, вызванного презентом, снова погрузилась в свое полусонное состояние.

Императрица встала, давая этим понять, что пора расходиться.

Сестры распрощались.

Василий Лукич вздохнул свободнее. У него было очень много дел.

Вход в Москву был назначен, с согласия Анны, на 15 февраля, а 14-го был назначен во Всесвятском дворце официальный прием Верховного совета, генералитета, Синода и иностранных резидентов.

Императрица удалилась в свои апартаменты. Фрейлины побежали к себе.

Это был час, когда императрица чувствовала себя свободной, без докучного надзора Василия Лукича, когда она могла предаваться своим печальным мыслям и делиться ими с верной Анфисой, единственной подругой своего одиночества. За ужином она опять встретит острый, наблюдающий взгляд Василия Лукича, будет выслушивать от него доклады и решения Верховного совета, уже приведенные, в исполнение. Василий Лукич заставит ее подписать то, что решено уже без нее. А потом – полубессонная ночь с воспоминаниями о Бироне, с тоской о маленьком Карлуше.

Придя к себе, Анна увидела уже на столе презент, который привезла Салтыкова. Сердце ее сжалось. Куда влекли ее друзья? Им лег-

ко говорить, советовать, интриговать. Но ведь в ответе будет она одна.

В ответе? Давно ли самодержцы российские боятся ответа! Всю жизнь бояться ответа! Под грозной рукой дяди, под легкомысленным правлением племянника, а теперь под железным игом Верховного совета.

Анна выслала из комнаты Анфису, чтобы поскорее остаться одной. Когда Анфиса вышла, она подошла к часам, взяла их в руки и стала внимательно рассматривать.

«За этой доской вся махинация», – припомнила она слова сестры. Она потянула золотую заднюю доску в одну, в другую сторону. Доска подалась и легко выдвинулась. Анна едва сдержала крик, когда из ♦ под доски выпал на пол серый конверт. Она торопливо наклонилась и подняла его. Руки ее дрожали. Страх овладел ею. Она поняла, что ее вовлекают в какой ♦ то заговор, и минутная решимость, вспыхнувшая в ней сегодня при намеке Екатерины, растаяла сейчас при мысли об угрожающей ей опасности. Разве она не была в руках верховников? Разве она не обещалась своим царским словом соблюдать подписан-

ные ею кондиции под угрозой лишиться короны российской?

С трепетом распечатала она письмо и прежде всего быстро взглянула на подпись: «Остерман».

Это имя мгновенно успокоило ее. О, Андрей Иванович осторожен! Даже слишком осторожен. Он не советует легкомысленно. Он всегда знает, куда идти и каким путем идти.

И письмо Остермана действительно указывало ей пути, и по мере того, как она читала его, ее страх вновь сменился решимостью, и надежды вновь возрождались в ее сердце.

На этот раз Остерман писал ясно и определенно. Он начал с того, что, хотя чужеземец, он глубоко и искренно любит Россию, которой отдал всю свою жизнь. Он был почтен дружбой великого императора, вознесшего Россию на небывалую высоту. Русский народ – великий и могучий; Петр I пробудил его силы, несмотря на противодействие окружающих. И если он сделал то, что сделал, то только потому, что был самодержавен! Если бы его власть была кем-нибудь ограничена,

то весь народ восстал бы против его новшеств, противных невежественным традициям большинства. Исходя отсюда, Остерман писал, что как человек, посвятивший свою жизнь России, он видит залог ее счастливого процветания на всех путях в непоколебимости самодержавия. Он умолял императрицу быть твердой и решительной, потому что народ на ее стороне. «Кучка олигархов не должна внушать вам страха, – писал он. – Пусть они знатны и имеют сторонников, но есть столь же знатные персоны – их враги и сторонники императрицы». Дальше Остерман ярко изобразил положение. Знатные лица недовольны тем, что обойдены верховниками, – Черкасский, Трубецкой, Салтыков. Шляхетство хлопочет о льготах, но оно предпочитает получить эти льготы не из рук верховников, которым не верит и которых боится, а из рук императрицы. Духовенство во главе с Феофаном, ненавидимое князем Дмитрием Голицыным, всецело на стороне императрицы. В гвардии сильное недовольство. Еще со времен Петра I все озлоблены против Алексея Долгорукого, ныне члена Верховного совета,

гвардия рошчет, видя, в каком порабощении находится императрица. Остерман советовал проявить свою державную волю. Чтобы привлечь на свою сторону гвардию, он советовал императрице объявить себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов. Он писал, что примет меры к тому, чтобы эти дни караул у дворца состоял из преданных людей. Это провозглашение будет первым ударом врагам самодержавия. Что будет дальше – по прибытии в Москву, – покажут обстоятельства. Остерман просил довериться ему и преданным людям. В заключение хитрый и предусмотрительный вице-канцлер просил уничтожить это письмо. Но Анна и сама боялась сохранять его.

Впервые перед ней ясно обнаружилось положение вещей. Она увидела, что может бороться. Бороться. Да. Но если поражение? Если верховники рассеют ее сторонников прежде, чем они сплотятся? Пример Ягужинского ясно показал, что они не остановятся ни перед чем.

Объявить себя полковником Преображенского полка, капитаном кавалергардов, во-

преки кондициям. Ведь она никого не может жаловать чином выше простого полковника. А почетное звание поручика Преображенского полка равнялось генерал – майору. Фаворит покойного императора, обер – камергер, генерал – аншеф Иван Долгорукий, был лишь майором Преображенского полка.

«Никого не жаловать, – думала императрица. – А себя? Того нет в кондициях. И Петр I, и его вдова, и его внук – все были полковниками Преображенского полка. Это звание неразлучно с короной. Я так и скажу Василию Лукичу. Вот это действительно будет презент!»

И, несмотря на свои горькие мысли, Анна невольно улыбнулась.

XIV

Никогда залы дворца имеретинской царицы не видели такого общества. Это был первый торжественный большой прием новоизбранной императрицы перед въездом ее в Москву.

В красных камзолах, в гренадерских шапках вокруг заранее приготовленного возвышения, на котором под красным бархатным балдахинном, затканном золотыми двуглавыми орлами и увенчанном императорской короной, было поставлено тронное кресло, стояли преображенцы и кавалергарды. В этот день во главе преображенцев был Семен Андреевич Салтыков, а во главе кавалергардов — граф Федор Андреевич Матвеев.

Остерман сдержал свое слово. И офицеры и рядовые были на этот день подобраны из самых ярых ненавистников верховников. Это было умело устроено главным образом Салтыковым и графом Матвеевым.

Залу наполняли представители знати и высшего шляхетства. Впереди всех стояли сестры императрицы и цесаревна Елизавета.

В стороне от них, тоже на первом месте, стояли иностранные резиденты, окруженные блестящей свитой: датский – Вестфален, французский – Маньян, саксоно – польский – Лефорт, цесарский – граф Вратислав, испанский – герцог де Лирия и де Херико...

Среди свиты, окружавшей французского резидента, выделялся черный камзол виконта де Бриссака с брильянтовой звездой ордена Благовещения на груди.

За царевнами стояли придворные дамы в черных одеждах, с траурными уборами на голове. Цесаревна Елизавета ревнивым взглядом оглядывалась на Лопухину, ослепительную в своей красоте, обращавшую на себя всеобщее внимание.

Архиепископы и члены Синода стояли темной толпой во главе с Феофаном.

Цветные, шитые золотом камзолы генералитета и придворных чинов наполняли залы.

Был и граф Рейнгольд, и при взгляде на Лопухину его сердце наполнялось гордостью. Никто вокруг не мог соперничать с нею в красоте, даже Варенька Черкасская, стоящая с ней рядом, признанная первой красавицей

Москвы. А Лопухина – первая красавица и Москвы и Петербурга. Даже надменная княжна Юсупова со своими трагическими глазами и строгим и нежным профилем!

Но были еще глаза, которые глядели на Лопухину не с гордым тщеславием, а с бесконечным обожанием. Это были глаза Арсения Кирилловича.

Вместе с Дивинским он замешался в блестящую толпу, и оба были заняты исключительно этой группой женщин, среди которых были Лопухина и Юсупова.

Все с нетерпением ожидали императрицу. А императрица в это время, уже совершенно готовая, ожидала в своей комнате прихода верховников. Около нее находился неизбежный Василий Лукич.

Верховники были в соседстве, в доме, занимаемом Михаилом Михайловичем Голицыным – младшим, – за три дома от дворца. Там они в последний раз внимательно прослушали речь, которую должен произнести перед императрицей Дмитрий Михайлович.

– Однако уже пора, Василий Лукич, – произнесла императрица в видимом волнении.

– Я уже послал оповестить господ членов Верховного совета, что ваше величество изволите быть готовы, – ответил Василий Лукич.

Среди расступившихся блестящих мундиров медленно и важно приближались к трону члены Верховного тайного совета.

– Пять королей России, – шепнул Лефорт, наклоняясь к уху Маньяна.

Маньян пожал плечами.

Следом за верховниками правитель дел совета, Василий Петрович, торжественно нес на серебряном вызолоченном блюде» кавалерию Святого Андрея и звезду».

Верховники остановились у ступеней трона. Наступал торжественный момент. Все обратили внимание на то, что верховники как бы жалуют императрицу орденом, принадлежащим ей по праву рождения.

Лицо Дмитрия Михайловича было величаво – спокойно. Энергичные и суровые лица фельдмаршалов вселяли невольное уважение. Головкин, хотя и канцлер, был как♦то незаметен, а надутая, напыщенная фигура князя Алексея Григорьевича возбуждала

улыбки. Он гордо озирался вокруг, словно при Петре II. Но долго не мог выдержать важного вида, и то и дело суетливо обращался к своим соседям. Но от него нетерпеливо отворачивались.

Алексей Григорьевич сегодня опять получил реприманд от своей дочери, государыни – невесты, Екатерина опять отказалась поехать.

Императрица вышла, низко поклонилась присутствующим и, медленно поднявшись по ступенькам трона, остановилась у кресла. Сопровождавший ее Василий Лукич присоединился к верховникам. На ступенях трона остановилась Юлиана и Адель. Маленький Ариальд, поправя шлейф императрицы, стал за высоким креслом, так что его почти не было видно. У двери неподвижно остановился Артур Вессендорф, тоже сопровождавший императрицу.

Тогда выступил вперед Дмитрий Михайлович и среди напряженного молчания начал громким, уверенным голосом:

– Благочестивейшая и всемилостивейшая государыня...

Он на минуту приостановился, как бы давая всем время вникнуть в самую фразу обращения, без обычного прибавления» самодержавнейшая».

– Мы, всенижайшие и верные подданные вашего величества, члены российского Верховного совета вместе с генералитетом и российским шляхетством, признавая тебя источником славы и величия России, являемся вручить тебе твой орден Святого Андрея, первый и самый почетный...

Бледная, с опущенными глазами, слушала Анна речь Дмитрия Михайловича. Каждое слово этой речи, начиная с самого обращения, отзывалось в ее душе обидой. Она чувствовала себя униженной.

Гнев и обида кипели в ее сердце. Она плохо слушала, что говорил дальше Дмитрий Михайлович. Самый тон его, свободный и властный, походил на тон владыки, награждающего своего подданного. Но вот ее слуха коснулись слова:

– ...Благодарим тебя и за то, что ты соизволила подписать кондиции, которые нашим именем предложили наши депутаты на славу

тебе и на благо твоему народу. Вот почему, всемилостивейшая императрица, мы все явились перед твоим величеством... Примите сие милостиво и положитесь на нашу ненарушимую верность к особе вашей...

Анна овладела собой. Затаив боль и обиду, чувствуя себя бессильной перед этими самоуверенными и смелыми врагами, заключенная в железное кольцо их упрямой воли, она подняла голову и обратилась к собравшимся.

В своей ответной речи Анна сказала, что смотрит на свое избрание как на выражение преданности к ней, что согласно общему желанию она подписала в Митаве кондиции, и прибавила:

– Вы можете быть убеждены, что я их свято буду хранить до конца моей жизни в надежде, что вы никогда не преступите границ вашего долга ко мне и отечеству, коего благо должно составлять единственную цель наших забот и трудов...

Эта исполненная покорности речь в то время, когда грудь разрывалась от возмущения и гнева, много стоила Анне. Но зато она вполне удовлетворила верховников. Анна

сказала все, что они желали. Она признала, что избрана ими, снова подтвердила обещание свято хранить кондиции и последними словами – «наших трудов и забот» – ясно показала, что правление не будет только в одних ее руках.

Сняв с блюда орденскую ленту, старый канцлер, как старейший кавалер ордена Андрея Первозванного, поднялся по ступеням трона в сопровождении Дмитрия Михайловича, тоже одного из старейших кавалеров ордена, и надел ленту на государыню, причем знаки ордена поддерживал Дмитрий Михайлович.

Эти минуты были настоящей пыткой для Анны. Никогда, кажется, ненависть к верхникам не достигала такого напряжения. Ей хотелось сорвать с себя эту ленту и бросить орденские знаки в ненавистное лицо князя Дмитрия. Но она принудила себя улыбнуться и милостиво протянула руку. Головкин и Голицын почтительно поцеловали руку. Но когда они стали на свои места и наступила минута принесения поздравлений присутствовавшими, Анной вдруг овладело непобедимое

желание показать этим верховникам, что она не совсем их раба, и, не давая себе времени одуматься, она вдруг громко, слегка дрожащим от волнения голосом произнесла:

– Семен Андреевич, граф Федор Андреевич!

Салтыков и Матвеев выступили вперед и, отсалютовав шпагами, неподвижно остановились у ступеней трона.

Верховники переглянулись. Фельдмаршал Василий Владимирович сделал шаг вперед, словно хотел что-то сказать, но не успел.

В глубокой тишине пронесся нервный, странно звенящий, словно вызывающий голос императрицы:

– В изъявление моего благоволения к славной и верной гвардии моей объявляю себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов.

Горящими глазами взглянула она на растерянные лица верховников...

Несколько минут длилось молчание, и вдруг загремели восторженные крики преображенцев и кавалергардов:

– Да здравствует императрица Анна Иоанновна!

В воздухе засверкали обнаженные шпаги. Долго не умолкали восторженные крики.

Василий Владимирович сильно побледнел и схватил руку Михаила Михайловича.

– Я велю им положить оружие, – прошептал он, задыхаясь. – Я выгоню их отсюда и через час буду судить их военным судом!

– Опомнись, Василий Владимирович, – сказал Михаил Михайлович, удерживая его за руку. – Ведь они только отвечали императрице. Они не могли ответить иначе...

– Да, ты прав, – тяжело дыша, ответил старый фельдмаршал. – Тогда...

– Тсс!.. – прервал его Михаил Михайлович. – Мы обсудим это потом.

Граф Матвеев, обратись к императрице, громко крикнул:

– Дозволь, всемилостивейшая государыня, тотчас объявить сию великую радость товарищам, что стоят у дворца.

– Иди, – сказала императрица.

Матвеев бросился вон. Через несколько минут слышались под окнами дворца восторженные крики солдат.

– Но это форменный акт самодержавия, –

сказал Вестфален, обращаясь к графу Брати-славу.

– И слава Богу, – ответил цесарский посол.

XV

Больше всех был возмущен самовластным поступком Анны фельдмаршал Василий Владимирович.

На вечернем заседании члены совета обсуждали поступок императрицы.

Фельдмаршал Долгорукий был подполковником Преображенского полка и, согласно кондициям, был подчинен только Верховному совету. Теперь же, с провозглашением императрицей, себя полковником Преображенского полка, получалась путаница. С одной стороны – полк, как и вся гвардия, находился в полном подчинении совету, с другой, по примеру прошлых царствований, во главе полка был венценосный полковник, которому полк обязан безусловным повиновением, к чему уже привыкли гвардейцы за прошлые царствования. Таким образом, императрица как будто вырывала из рук Верховного совета власть над первым полком в империи и при-

вилегированной ротой кавалергардов.

Спокойнее всех отнесся к этому фельдмаршал Михаил Михайлович.

– Ну что ж? – сказал он. – Пусть она будет полковником Преображенского полка. В гвардии все равно и так большой соблазн. Много там противников наших. Не в них сила наша. Наша сила в армейских полках, в моих украинских полках, из коих многие теперь в Москве. Эти славные полки помнят старого фельдмаршала! Немного лет тому назад одно движение моей руки могло опрокинуть трон Екатерины!

Всем было еще памятно это недавнее время, о котором говорил фельдмаршал. Когда Меншиков возвел на престол Екатерину при помощи гвардии, то и он, и новая императрица с тревогой ждали, что скажет армия, то есть что скажет Михаил Михайлович, любимец всей армии. Вечной угрозой для Петербурга была находившаяся под его начальством украинская армия, и в первые дни нового царствования боялись, что Голицын двинет армию на Петербург, чтобы провозгласить императором прямого внука Петра Вели-

кого, впоследствии Петра II.

Фельдмаршал напомнил это время в гордом сознании своего влияния и своей популярности в армии.

В настоящее время в Москве армия была сильнее гвардии. Туда стянули к предполагаемому бракосочетанию Петра II полки: первый и второй Московский, Капорский, Выборгский, Воронежский, Вятский, Сибирский, Бутырский... Все эти полки знали и любили Михаила Михайловича. Это была грозная сила.

– Ты прав, брат, – после глубокого раздумья сказал Дмитрий Михайлович. – Сила в твоих руках. Мы знаем это. Но все же надлежит указать императрице, что мы все видим. Не годится нам закрывать глаза. Я предлагаю, – продолжал он, помолчав, – апробировать поступок императрицы и постановлением Верховного совета поднести ей патент на звание полковника Преображенского полка и капитана кавалергардов. Из сего императрица поймет, что без Верховного совета ее провозглашение недействительно... При этом ты, Василий Лукич, укажешь государыне против-

ность ее поступка кондициям.

Предложение Дмитрия Михайловича было действительно почетным выходом из положения, и все сразу присоединились к нему.

– Хорошо, – произнес Василий Лукич. – Я передам императрице патент и скажу, что надо.

– Василий Лукич, – обратился Дмитрий Михайлович к Степанову. – Заготовь♦ка патент.

Степанов поклонился и, взяв лист бумаги с титулом Верховного тайного совета, начал писать. Через несколько минут он уже представил членам совета к подписи патент. Это был самый обыкновенный патент на производство, только слово « пожаловать » было заменено « поднести ».

Один за другим члены совета подписали патент, и он был вручен Василию Лукичу для подписания императрице. Кроме того, было решено поспешить с присягой и обнародованием кондиций и проекта князя Дмитрия Михайловича. Затем верховники приступили к рассмотрению подробностей въезда.

День был необычайно светлый и ясный. Траурное убранство домов было заменено праздничным. Всюду развевались флаги, балконы были убраны цветными коврами. По всему намеченному пути следования императрицы улицы были усыпаны песком и против каждого дома воткнуты елки. При въезде в Земляной город и Китай – город были воздвигнуты убранные гирляндами искусственных цветов и разноцветными материями триумфальные арки, увенчанные вензелями, коронами и двуглавыми орлами.

Толпы народа, возбужденного ожидаемым зрелищем, наполняли все свободные места, куда только пускали. Цепи солдат с трудом сдерживали напор любопытных. От Земляного города до Воскресенских ворот были вытянуты ряды армейских полков. От Воскресенских ворот и Красной площади до Успенского собора выстроились гвардейцы.

Яркое солнце освещало блестящую картину императорского кортежа. Шествие открывала гренадерская рота Преображенского полка, верхами; за ними следовали запряженные цугом, с форейторами и слугами в цветных,

парадных ливреях, пустые кареты, счетом двадцать одна, генералитета и знатного шляхетства. За ними ехало восемь карет, каждая в шесть лошадей цугом. В этих каретах помещались некоторые члены Верховного тайного совета, фельдмаршал Иван Юрьевич, князь Юсупов, Лопухин и еще несколько знатнейших лиц.

За этими каретами, в камзолах, расшитых золотыми галунами, с изображенными на них двуглавыми орлами, важно выступали четыре камер – лакея; за ними, запряженные лошадьми в золоченых шорах, с форейторами и кучерами в придворных ливреях, двигались семь карет, из них в трех помещались придворные дамы, между которыми, по желанию императрицы, была графиня Ягужинская с дочерью. Здесь же были Лопухина, Юсупова, Чернышева, Салтыкова, фрейлины императрицы и другие.

На великолепном белом коне, с чепраком, украшенным золотыми гербами, ехал во главе двадцати всадников, представителей знатнейшего шляхетства, генерал князь Шаховской. У чинов шляхетства все кони были бе-

лые, как на подбор, в золоченых уздечках и стременах.

Наконец показались трубачи и литаврщики с серебряными трубами и литаврами, а за ними на вороных конях кавалергарды в красных с золотым шитьем мундирах, с длинными палашами с вызолоченным эфесом. Их вороные кони были покрыты красными чепраками. Также красным сукном были обтянуты седла, уздечки, чушки для пистолетов и весь конский прибор. Стремена были вызолочены. Во главе кавалергардов» хал муж царевны Прасковьи, Иван Ильич Дмитриев – Мамонов. За кавалергардами ехали два камер – фурьера, шли двенадцать придворных лакеев и четыре арапа и скорохода, и вот показалась запряженная девятью богато убранными попонами голубого бархата с серебряными вензелями лошадьми Тяжелая, парадная карета императрицы с большими зеркальными стеклами. Лошадей вели под уздцы придворные конюхи.

У правой дверцы кареты ехали Василий Лукич и генерал Леонтьев, у левой – Михаил Михайлович Голицын – младший, генерал

Шувалов и, по желанию императрицы, Артур Вессендорф, обращавший на себя внимание золоченым шлемом, золотыми латами и всем своим рыцарским нарядом. За каретою снова ехал отряд кавалергардов под командой Никиты Трубецкого, брата фельдмаршала. Шествие замыкалось гренадерской ротой Семеновского полка.

В карете вместе с императрицей сидели ее сестры и принцесса Елизавета. Анна была бледна. Глубокое волнение все больше овладевало ею по мере приближения к Москве.

Кортеж вступил в Земляной город. Стоящие на пути следования войска взяли на караул. Музыка заиграла встречу, медленно склонились победные знамена. Забили литавры и запели серебряные трубы кавалергардов, и вдруг воздух дрогнул от оглушительного салюта из семидесяти одного орудия...

Словно наяву свершался чудесный сон. Еще не замер гул орудий, раздался звон, казалось, почти одновременно, со всех бесчисленных колоколен святой Москвы. Этот красный колокольный звон сливался с торжественными

ми звуками военной музыки и восторженными криками народа.

– Императрица всероссийская!

– Ты слышишь, Анна! – с загоревшимися глазами говорила Екатерина. – Ведь это все твое! И эта Москва, и это войско, и этот народ! Будь смела! Если бы я была на твоём месте, я приказала бы своему караулу выкинуть этих верховников в окно!

Анна крепко сжала ей руку, указывая глазами на Елизавету. Но цесаревна, по – видимому, не слыхала этих слов. Она сидела, выпрямившись, бледная, с нахмуренными бровями. Её сердце мгновенно обожгла мысль, что все это; могло бы быть её! Что эти войска, этот народ так же приветствовал бы её! И она пожалела, что в своё время не послушалась энергичного Лестока!

Гудели колокола, играла музыка, и гремело восторженное» ура». И чем ближе подвигался кортеж к самому сердцу Москвы, к Кремлю, тем, казалось, радостнее звонили колокола и восторженнее раздавались крики народа.

Ещё оглушительнее раздался залп из вось-

мидесяти пяти орудий, когда кортеж вступил в Белый город. Там у триумфальных ворот Анну встретили члены Синода, все высшее духовенство, бывшее в то время в Москве, во главе с Феофаном Прокоповичем, – с крестами и иконами.

В Кремле Анна прежде всего направилась в Успенский собор. У собора блестящей толпой стояли в парадных одеяниях сенаторы, члены и президенты коллегий, не принимавшие участия в кортеже, а также не находившиеся в строю офицеры и придворные дамы.

В стороне от них с надменным видом стояла» государыня – невеста», наконец согласившаяся показаться императрице, главным образом из желания самой посмотреть на нее. Рядом с ней, бледная, томимая печальными предчувствиями, стояла Наташа Шереметева.

Среди офицеров были и три друга – Шастунов, Дивинский и Макшеев. Макшеев имел недовольный и хмурый вид. Он всю ночь играл в карты и проигрался до последнего гроша; уже рано утром он отправил своего Фому в Тулу к отцу за деньгами. Он знал по опыту, что раньше, трех дней ему не обернуться. Он,

конечно, легко мог бы до – "«стать денег у Шастунова и Дивинского, но не хотел, решив провести три дня» по – человечески» – отдохнуть и выспаться.

Императрица вступила на паперть собора. И снова грянул салют из ста одного орудия, так что дрогнули старые стены Кремля, и ему ответили троекратным беглым огнем от Успенского собора до Земляного вала расставленные войска.

Из Успенского императрица прошла в Архангельский собор поклониться гробнице предков и новопреставленного императора. Затем, в сопровождении знатнейших лиц, она отбыла в приготовленный ей кремлевский дворец.

Государыня – невеста, несмотря на уговоры отца, резко отказалась ехать во дворец. Отказалась и Наташа.

– Я боюсь ее, – в суеверном ужасе шептала она.

Когда девушки сели в карету, Наташа прильнула к плечу Екатерины и тихо заплакала. У суровой Екатерины не было слез, хотя едва ли другая женщина в восемнадцать лет испы-

тала столько. Страстная любовь, насильственно принесенная в жертву честолюбию родни. Небывалое возвышение и падение с ослепительной высоты. И что же теперь? Опустошенное сердце, униженное самолюбие, тайное злорадство тех, кто недавно пресмыкался перед ней, темное будущее и затаенная, подозрительная ненависть новой императрицы! А ведь она сама была почти императрицей! И все отнято! Все, все!.. Никого вокруг!

В своей семье она чувствовала себя чужой. Отец и старший брат видели в ней всегда только возможность своего возвышения, другой брат – легкомысленный юноша, остальные – дети. Плачущая мать, но плачущая не за нее, а за погибшие надежды мужа и старшего сына. Ее никто не принимает теперь в расчет! Она одинока! Единственный человек, действительно любящий ее, – это маленькая Наташа Шереметева, невеста ее распутного брата, тоже жертва тщеславия своего старшего брата Петра, теперь отшатнувшегося от Долгоруких. Но эта почти девочка, согласившаяся отдать в угоду брату свою руку фавориту императора, без любви, из одной покорно-

сти, вдруг в минуты падения Долгоруких нашла в своей душе великую силу женщины и полюбила Ивана за то, что он был несчастлив, и теперь отказывается разорвать навязанный союз, готовая на муки и даже на смерть, только бы поддержать того, кого не она избрала себе в спутники жизни!

Екатерина нежно обняла Наташу.

– Мне страшно, – прерывающимся голосом говорила Наташа. – От нее наша гибель. Как она взглянула на нас! Какой претрашный взор!.. Ты разве не заметила, как она взглянула на нас? Какое отвратное лицо! И какая она большая, большая!.. Ты не видела? Огромная, выше всех, она, кажется, заслонила собою солнце!..

– Наташа, Наташа, успокойся, – говорила Екатерина.

Но Наташа, как в бреду, продолжала:

– Нет, Катя, она всех заслонила собой. Она делалась все выше и выше, огромнее и страшнее... Я думала, что она не войдет в двери собора... Страшные глаза... Ужасное лицо... Она погубит всех.

– Наташа, успокойся, – в тревоге повторила

Екатерина. – Она ростом не выше меня, ничего в ней нет страшного...

– Нет, нет, – в паническом ужасе твердила Наташа. – Кавалеры едва до ее плеча... Огромная голова... Страшная... я ночь не буду спать.

И Наташа истерически зарыдала.

XVI

Все кабаки, все трактиры и гостиницы Москвы была открыты. На улицах, переполненных народом, горели плошки, костры, смоляные бочки. Весь Кремль был роскошно иллюминирован. На некоторых домах горели вензеля императрицы. Окна были ярко освещены. Перед кремлевским дворцом теснился народ с криками в честь императрицы.

Траур был снят на три дня. После тишины и строгих мер, принятых верховниками со дня смерти императора, настали дни полной распушенности.

Утомительный прием во дворце был кончен. Дворец пустел.

Восторженные крики толпы перед дворцом возбуждали в душе Анны и надежды, и мечты, и глубокую тоску. Минут ее торжества

не видел самый близкий ей человек, раздвигавший в продолжение семи лет ее» мизерное» положение. Он теперь там, в далекой Митаве, тоскует, томится неизвестностью, навсегда разлученный с нею. С каким бы наслаждением она увидела теперь рядом с собой его преданное лицо, как бы прижала к сердцу маленького Карлушу, какими нежными именами называла бы она его. Последняя из ее подданных, в нищете и уваженье, может обнять мужа и ласкать своего сына! А она, императрица всероссийская, Божья помазанница, кому завидуют и кого считают чуть не всемогущей, лишена этой единой, действительной радости жизни! И вместо любимых лиц она видит перед собою насмешливое, изящное лицо Василия Лукича; вместо полной любви речи она слышит властные слова Дмитрия Голицына. Вместо маленькой свободы в маленьком Курляндском герцогстве она нашла великолепную тюрьму в обширнейшей в мире империи!

Она стонала от бешенства и злобы!

И опять этот ненавистный Василий Лукич поселился в том же дворце. И опять она слы-

шит его почтительный и властный голос, докладывающий ей о делах, уже решенных без нее!..

Василий Лукич стоял перед ней в почти-тельной позе, склонив слегка свою красивую голову, и докладывал ей текст присяги, выработанной Верховным советом.

«Не все ли равно, – с горечью думала Анна. Зачем это? Будет ли она возражать или согласится сразу – это не изменит дела, и результат останется один и тот же!»

– Я согласна, – устало произнесла она. – Я подпишу указ о присяге.

– А также манифест, указы в провинции и объявления иностранным резидентам, – сказал Василий Лукич, раскладывая на стол бумаги и подвигая императрице чернильницу.

Анна равнодушно и машинально подписала под указами: Анна, Анна, Анна.

– Все? – спросила она, сделав последнюю подпись.

– Да, с подписями все, – ответил Василий Лукич, бережно собирая указы. – Но имею еще доложить вашему величеству...

Анна подняла голову.

– Вы изволили провозгласить себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов, – продолжал Василий Лукич. – Верховный совет, рассмотрев вашу препозицию, изволил поручить мне предоставить вам патент на сии звания.

С этими словами он положил на стол грамоту совета. Анна страшно побледнела.

– А разве я, Василь Лукич, – начала она срывающимся голосом, – не вольна была в том?

– Вы изволили позабыть кондиции, – сухо ответил Василий Лукич. – Кондиции, подписанные вашим величеством. Верховный тайный совет, – продолжал он, – мог бы усмотреть в оном поступке нарушение императорского слова; но затем, что в кондициях не упомянуто о самой священной личности императрицы, на сей раз совет признал за благо утвердить вашу единоличную волю. Только на сей раз, – с оттенком угрозы в голосе закончил он.

Анна порывисто встала с места и властным движением руки сбросила со стола на

пол патент Верховного совета.

– Вы слышали, – звенящим голосом начала она, – как встретила гвардия мои слова! Мне не надо вашего патента! Что сделано, то сделано! Я все же императрица всероссийская, Божею милостью!

– Оставьте, ваше величество, имя Божие, – саркастически улыбаясь, произнес Василий Лукич. – Вы избраны Верховным советом. Генералитет, Синод и шляхетство вняли голосу Верховного совета... Не забудьте, ваша величество, – резко продолжал он, – что еще жив кильский ребенок.

– Голштинский чертушка! – вырвалось у Анны.

– Именно, – подтвердил Василий Лукич. – Но это все равно, как будет угодно вашему величеству называть этого законного наследника великого Петра. Здравствует дочь императора, имеющая права на престол своего отца... А вы, ваше величество, еще не коронованы; Вам даже еще не присягали, ваше величество, – закончил он.

Он стоял в той же почтительной позе, слегка склонив голову.

Императрица, возмущенная и ошеломленная, неподвижно смотрела на него расширенными глазами. Если бы взгляд мог убивать, то Василий Лукич уже был бы мертв? столько ненависти было в глазах императрицы!

– Хорошо, ты больше не нужен мне, Василь Лукич, – тяжело дыша, сказала Анна.

Василий Лукич глубоко поклонился, поднял с пола патент, положил его на стол и вышел. Императрица заломила руки и с бессильными слезами гнева и отчаяния упала на диван. Ей казалось, что всю жизнь ей суждены одни только унижения.

О, лучше быть простой бюргершей в Митаве, но свободной и независимой в своем маленьком хозяйстве, в своей любви и привязанности, чем пленницей на троне, лишенной всего дорогого, куклой в руках чужих, честолюбивых людей!

Ей казалась бесплодной всякая борьба, всякое усилие свергнуть ненавистное иго. Она не верила уже ни в Остермана, ни в слова сестры, ни в тех людей, о которых писал ей Остерман...

А завтра опять комедия представлений,

аудиенций резидентов, их предложения, на которые она опять должна отвечать по указкам Верховного совета... И все это понимают, все знают, все почтительно относятся к ней, делай вид, что она властительница судеб империи, а сами заискивают перед Василием Лукичом, перед надменным Дмитрием Михайловичем, перед суровыми фельдмаршалами. О, как ненавистны они ей! С каким бы удовольствием она положила эти головы под топор!..

А на площади гремели приветственные крики. Горели огни. Толпы людей глядели на освещенные окна дворца и считали ее могущественной и счастливой...

«Кильский ребенок еще жив, – вспомнила она слова Василия Лукича, – жива и дочь Великого Петра, юная, прекрасная, любимая привыкшим к ней народом и армией, не забывшей ее великого отца!»

А ей еще не присягали! Какая борьба возможна с этими людьми?

XVII

Все, что было в Москве знатного – генералитет, иностранные резиденты, блестящие гвардейцы, – съезжалось к ярко освещенному дворцу канцлера графа Головкина, устроившего, с соизволения императрицы, в честь ее приезда роскошный бал» без танцев», как выразила желание государыня.

Хотя траур и был снят на три дня, но все же Анна нашла неудобным допустить танцы.

Огромные залы дворца были ярко освещены. Многочисленные лакеи в малиновых камзолах с золотыми галунами, с гербом графа шпалерами выстроились вдоль роскошной лестницы, убранной пышными цветами, покрытой дорогим пушистым ковром.

Перед большим венецианским зеркалом на верхней площадке дамы торопливо в последний раз оправляли свои прически и входили в приемную залу, где гостей встречали граф Таврило Иваныч с женой Домной Андреевной. Бедный сын мелкопоместного алексинского дворянина, теперь граф и обладатель тридцати тысяч душ крестьян, Таврило

Иваныч умел и любил принимать гостей, когда было надо, с ослепительной пышностью.

Мало – помалу просторные залы дворца наполнялись. Дамы словно обрадовались возможности снять траур. В цветных» робах», с обнаженными плечами и руками, сверкая брильянтами, они оживленно и весело входили в залу. Цветные камзолы военных, шитые золотом мундиры гражданских высших чинов, звезды, ленты представляли пеструю, живописную картину.

Одна из зал была обращена в открытый буфет с разнообразными винами, фруктами и изысканными закусками. В другой были приготовлены карточные столы.

Бал Головкина удостоили своим присутствием герцогиня Екатерина и цесаревна Елизавета.

В числе гостей был и князь Шастунов. Дивинский тоже приехал с Юсуповым.

Императрица разрешила посетить бал и своим юным фрейлинам – Юлиане и Адели, а также и Артуру.

Молодые девушки приехали с Авдотьей Ивановной Чернышевой, пожалованной в

этот день в статс – дамы. С любопытством и робостью озирались они вокруг: Юлиана с тайной надеждой встретить Арсения Кирилловича, Адель – Макшеева.

Но Шастунову было не до них. Он жадно сторожил приход Лопухиной. Он беспокойно ходил по зале, все время поглядывая на дверь. Он видел проезд фрейлин императрицы и поспешил замешаться в толпе, чтобы не быть вынужденным подойти к ним.

Приехала с братом Наташа Шереметева, бледная и печальная. Черкасский с красавицей Варенькой. А Лопухиной все не было.

Граф с графиней перестали встречать в первой зале гостей, так как знатнейшие гости уже приехали. Последним, кого встретил канцлер, был Маньян и с ним де Бриссак.

Граф очень любезно встретил обоих. Виконт де Бриссак уже раньше был у него с письмом от его сына Александра, посла во Франции. В письме, переданном Бриссаком, Александр Гаврилович просил отца оказать возможное внимание его другу де Бриссаку, человеку очень близкому ко двору, интересующемуся Россией. «Вы сами оцените его заме-

чательный ум и исключительную приятность обращения», – заканчивал письмо Александр.

Кроме этого письма граф получил обычным порядком и другое, в котором сын подробно писал о де Бриссаке. Это был один из знатнейших дворян и любимец двора. Ож очень много путешествовал, преимущественно по Востоку, и, как говорили, вывез оттуда особенные таинственные знания.

Вместе со своим другом, очень известным при дворе шевалье де Сент – Круа, он пользовался репутацией ученого человека, чуждого обычных светских развлечений, немного колдуна и загадочной личности.

Но во всяком случае, этот человек – рыцарь с головы до ног.

Под влиянием этих писем граф любезно принял де Бриссака, который произвел на него очень хорошее впечатление. Де Бриссак, между прочим, сказал, что он лично известен князю Василию Лукичу, но, к сожалению, не мог его еще повидать.

Действительно, только утром в день бала де Бриссаку удалось встретиться с Василием

Лукичом, так как, когда после смерти императора де Бриссак, по указанию Шастунова, поехал в Мастерскую палату, не было никакой возможности повидать Василия Лукича, а потом он уехал в Митаву. На приеме же у императрицы было не до того.

Граф Гаврило Иваныч слышал, кроме того, о де Бриссаке от Маньянаи пригласил его к себе на бал.

Взяв под руку Маньяна, канцлер в сопровождении де Бриссака прошел во внутренние комнаты.

Князь Шастунов тоскливо поглядывал по сторонам и очень обрадовался, когда к нему подошел запоздавший Макшеев.

– Вот и я, – сказал Макшеев. – Я малость запоздал. Виной этот черт Трегубов, семеновец. Знаешь?

Шастунов кивнул головой.

– Я как сменился с караула, – продолжал Макшеев, – хотел пойти к себе хорошенько отоспаться, тем более что мой советник еще не прислал мне денег. Да тут этот Ванька Трегубов! Пойдем, говорит, ко мне. Я было не хотел, да уговорил, черт. А там уже и компания.

Ну, что поделаешь, взял у него, не выдержал, десять золотых да и перекинулся в картишки!.. Одно хорошо, – со смехом добавил он, – недаром время потерял. Хоть не выспался, да зато... – и он ударил себя по карману.

Шастунов улыбнулся:

– Смотри, Алеша, не засни где-нибудь в уголку. Макшеев рассмеялся.

– Ничего, – сказал он. – Мне бы только освежиться немного. Что-то сухо. Пойду поискать чего-нибудь. Прощай, брат.

И, кивнув Шастунову, он прямо направился в буфет.

Гости разбились на группы. Всюду слышались оживленный смех и разговоры.

Шастунову стало еще тоскливее. Он уже собирался пойти за Макшеевым, чтобы не чувствовать себя в одиночестве, как вдруг увидел входящую Лопухину. Но первое чувство радости мгновенно сменилось в нем тяжелой тоской, когда он увидел рядом с ней надменную, красивую фигуру Рейнгольда.

Хотя Рейнгольд следовал за Натальей Федоровной на расстоянии полушага, с обычным видом светского человека, провожающе-

го даму, но в той манере, с какой Наталья Федоровна раза два повернула к нему голову и что то скат зала, по той улыбке, с какой он ответил на ее слова, Шастунов инстинктом влюбленного понял, что они не чужие друг другу.

Его сердце похолодело. Как прикованный, остался он на месте, когда мимо него, шурша атласом платья, ослепительно красивая, как всегда, прошла Лопухина, благоухая незнакомым ему запахом тонких духов. Она не заметила его.

Приход Лопухиной был встречен, как всегда, сдержанным шепотом восторга. Казалось, к ее красоте до сих пор не могли привыкнуть.

Лопухина с сияющей улыбкой, кивая направо и налево, прошла среди расступившихся гостей прямо в залу, где, окруженные своим штатом и блестящей молодежью, сидели принцессы. Герцогиня равнодушно поздоровалась с ней, а Елизавета, как всегда, встретила ее сухим враждебным взглядом и холодно ответила на ее низкий реверанс.

Лопухину тотчас же окружили, и она сра-

зу, как обычно, сделалась центром всеобщего внимания. Шастунов издали следил за ней, полный ревнивого отчаяния.

Рейнгольд отделился от толпы и прошел дальше к хозяйке дома.

Легкое прикосновение к плечу заставило Шастунова остановиться и повернуть голову. За ним стоял де Бриссак, смотря на него пронзительными темными глазами, с легкой улыбкой на губах.

– Дорогой друг, – сказал виконт. – Я так давно не видел вас, – и он протянул Шастунову руку.

Шастунов почти обрадовался ему. Почему то под взглядом этих умных, доброжелательно смотрящих на него глаз ему стало легче.

– А, это вы, господин колдун, – улыбаясь, сказал он, пожимая протянутую руку. – Ваши пророчества сбылись. Я был в Митаве...

– А, – воскликнул де Бриссак, – не следует преувеличивать моих способностей, милый друг. Очень часто то, что кажется колдовством, объясняется чрезвычайно яросто... Вас удивило, – продолжал он, – что я, только что

приехавши в ночь 19 января, уже знал об избрании теперешней императрицы и о предложенных ей условиях? Прекрасный юноша, я открою вам свою тайну. Но уйдемте из толпы.

Он взял Шастунова под руку, и они прошли в маленькую залу, где сели в отдаленный угол, закрытые высокими цветами.

– Ну, так вот, – начал, посмеиваясь, Бриссак. – Прежде всего, я приехал еще накануне и был у моего друга, французского резидента. 19 января приехали одни мои вещи из Парижа, сам же я – только от Маньяна. Я не хотел, чтобы это было известно, и от заставы меня известили о прибытии вещей, так что я приехал с ними вместе. Избрание состоялось в три часа ночи, и мой друг не оправдал бы доверия своего правительства, если бы в половине четвертого не знал об этом, когда об этом уже знали сотни людей. Вас еще смущает вопрос, откуда я узнал об ограничении власти императрицы, – продолжал виконт, – но это также просто, и вы перестанете удивляться, когда я объясню, в чем дело. Это вопрос простой логики. В ночь избрания уже громко

говорили, что Верховный тайный совет задумал ограничить самодержавную власть русских государей. Но никто не знал, как именно и чем. Так?

Шастунов кивнул головой.

– Теперь сопоставьте с этим тот факт, что ваш замечательный по уму и просвещенности князь Дмитрий Михайлович удостаивает с давних пор большой дружбы господина Маньяна. Всем это известно. Еще при жизни императора князь в дружеской беседе с резидентом не раз указывал на несовершенство государственного строя в России и развивал свои проекты. Он даже вместе с господином Маньяном обсуждал вопрос о преимуществах конституций – польской, английской и шведской. Естественно, что князь Голицын имел единомышленников в русском обществе, в чем имел случай убедиться господин Маньян, и я открываю вам дипломатическую тайну, о чем он поставил в известность свой двор. Не правда ли, все это очень просто?

Шастунов снова кивнул головой.

– Самый выбор на престол герцогини Курляндской, то есть лица, не имевшего прямого

права на корону и, следовательно, наиболее податливого, показывает стремление совета осуществить то ограничение власти, о каком мечтал князь Дмитрий. И это поняли все.

– Все это просто, – задумчиво сказал Шастунов. – Вы могли знать и об избрании герцогини Курляндской, и о готовящемся ограничении ее власти...

– И, естественно, о депутации в Митаву, – смеясь, перебил его де Бриссак. – Ведь должна же была узнать герцогиня о своем избрании!..

– Да, – ответил Шастунов. – Но почему вы знали, что в составе посольства еду я, и еще...

Шастунов смущенно замолчал.

– И про черные глаза? – тихо и серьезно произнес де Бриссак. – В этом вы правы. Это не так просто. Но я уже напоминал вам, что у Сент – Круа вы видели такие же удивительные вещи. Мы не пророки, не ясновидящие, но иногда можем приподнять уголок будущего...

– «Мы»? Кто «мы»? – в волнении спросил Шастунов. – Вы способны нагнать страх!.. – И он нервно засмеялся.

– Страх? – спросил де Бриссак. – Разве мы

проповедники зла? Разве в кружке Сент – Круа вы видели или слышали что-нибудь, что могло бы противоречить истинной добродетели?

– Нет, нет, – торопливо воскликнул Шастунов, – нет!.. Сент – Круа и его друзья забросили в мою душу новые мысли. Они пробудили во мне жажду свободы, братства с людьми и всемирного счастья.

Де Бриссак слушал его, опустив глаза.

– Мы не ошиблись в вас, – тихо начал он. – Но вы еще так молоды и в вас слишком сильна жизнь. Вы еще не научились владеть собою и побеждать свои страсти. Но в вас есть прекрасные задатки. Все остальное придет со временем, если, если.

Де Бриссак не кончил. Облако печали прошло по его благородному лицу, он словно с грустной нежностью взглянул на юное лицо князя.

– Если? – с невольным трепетом спросил князь.

– Вы стоите на пороге страшных событий и жестокого будущего, – не отвечая на вопрос князя, произнес де Бриссак. – *Vae victis!*[16] –

закончил он, вставая.

– Я не смею расспрашивать вас, виконт, – взволнованно сказал Шастунов, поднимаясь с места. – Но, ради Бога, один вопрос...

– Спрашивайте, дорогой друг, – ласково ответил виконт.

– Скажите, кто вы? – произнес Шастунов.

Де Бриссак выпрямился, глаза его сверкнули, и, подняв руку, он торжественно и медленно ответил:

– Мы – рыцари Кадоша, мы – рыцари Креста Розы, мы слуги свободы и добродетели, мы сеятели правды во имя Верховного существа – Солнца Любви и Справедливости! Настанет время, когда наши братства непрерывной сетью покроют весь мир, – тихо и страстно продолжал он. – Со звоном падут цепи рабства народов! Во имя свободы духа мы боролись с Римом и с папством и с их религией ненависти! Мы боролись с исламом! Боролись с инквизицией! У нас тоже есть герои и были мученики!.. Наши верховные братья уже распространили налгу веру в Англии, Шотландии, Германии и Франции. Она найдет своих учеников и в вашей великой и благородной

стране!..

– Так вы... – начал Шаетунов.

Но де Бриссак словно опомнился. Он овладел собою, лицо его приняло обычное выражение.

– Тсс! – улыбаясь, произнес он. – Мы, кажется, забыли, что находимся на балу. Пойдемте, дорогой друг, лучше полюбоваться на черные, голубые и серые глаза ваших красавиц.

При словах де Бриссака о черных глазах Шастуновым сразу овладела ревнивая тоска. Он молча последовал за виконтом в большую залу.

– Но клянусь, – воскликнул де Бриссак, – ни в одной столице мира я не видел столько красавиц!

Его восклицание могло быть искренне. Тут был цвет красоты. Цесаревна Елизавета, величественная и стройная, с короной темно-бронзовых волос и большими, яркими, голубыми глазами, олицетворенная женственность и грация, полная томной неги и почти чудесного обаяния; Наталья Федоровна, трагическая красота Юсуповой, нежная прелесть

Наташи Шереметевой, невинные личики Юлианы и Адели и строгое, точеное, как из мрамора, лицо Вареньки Черкасской.

Около цесаревны стоял сам канцлер и, слегка наклонившись, слушал ее. Макшеев что-то нашептывал Адели, Дивинский стоял за стулом Юсуповой, а молодой Артур Вессендорф, не сводя влюбленного взгляда с Лопухиной, о чем-то оживленно говорил, и она слушала его со своей обычной манерой слушать ласково – внимательно, так что каждому говорящему с ней казалось, что он сумел ее исключительно заинтересовать, отчего действительно каждый в разговоре с ней был интереснее обыкновенного.

В этой блестящей, оживленной толпе красавиц только две сохраняли на своем лице выражение печали: Наташа Шереметева и баронесса Юлиана.

Шастунов хотел подойти к этому кружку, но чувство самолюбия и ревнивой злобы не позволяло сделать этого. Он взглянул на де Бриссака и вдруг был поражен странным выражением его лица. Оно было чрезвычайно бледно. Вместо недавнего восторга на нем

виднелось почти выражение ужаса. Широко открытые глаза не отрываясь смотрели на эту прекрасную, живописную группу.

– Виконт, что с вами? – с тревогой спросил Шастунов, касаясь его руки.

Де Бриссак вздрогнул, словно пробудился от тяжелого сна. Он провел рукой по лбу и со слабой улыбкой произнес как будто про себя:

– Какие страшные видения! Как ужасна ваша страна!

– Что вы хотите сказать, виконт? – в изумлении спросил Арсений Кириллович.

– А, что я сказал? – отозвался де Бриссак, с усилием отрываясь от своих мыслей. – Не обращайтесь внимания на мри слова, – продолжал он. – Я на минуту предался печальным мыслям о тленности красоты и земного счастья. Но, князь, – в волнении сказал он, – запомните это прелестное девичье лицо (он указал глазами на бледную и печальную Наташу Шереметеву, стоявшую несколько поодаль от других)! – Запомните хорошенько это лицо, чтобы потом сказать детям вашим, если они будут у вас, что вы видели ее!

– Но, – в изумлении произнес князь, не по-

нимая волнения де Бриссака, – это Наталья Борисовна Шереметева, невеста Ивана Долгорукого, бывшего фаворита покойного императора.

– Это святая и мученица, – тихо ответил де Бриссак. – Она даст иной блеск знаменитой фамилии Долгоруких!

Какая♦то тайная дрожь овладела Шастуновым.

– Как печальна жизнь, – проговорил де Бриссак, – и как мудро поступило Провидение, скрыв от глаз людей будущее. Призраки гибели, разбитой жизни, страшных мук и эшафота, истерзанной красоты, поруганной добродетели отравили бы им каждую минуту счастья, возможного в настоящем.

И его глаза с тяжелым, мрачным выражением по очереди останавливались на лицах Наташи, Юсуповой и Лопухиной.

Шастунов вздрогнул, когда глаза де Бриссака дольше остановились на лице Лопухиной. Он хотел спросить, но виконт быстро повернулся к нему.

– Не надо вопросов, дорогой друг, – мягко сказал он. – Я печальный пророк. Но в мину-

ты радости, торжества и успехов смиряйте себя мыслью, что человек – ничтожество перед лицом Того, Кто вдохнул в него бессмертную душу. Однако я, кажется, нагнал на вас тоску, – с насильственной улыбкой закончил виконт. – Но позвольте мне еще раз быть вашим пророком. Я предсказываю вам, что один ласковый взгляд черных глаз заставит вас забыть все мрачные мысли.

– Я должен бояться их? – по видимости шутливо, но с тайным волнением сказал князь.

– Вы не послушались меня тогда, – и ваша судьба совершилась, – серьезно ответил де Бриссак. – В жизни каждого человека бывают минуты, когда судьба вдруг останавливает, словно в раздумье, свой ход и когда человек является свободным. Вы не воспользовались минутой своей свободы и сами избрали свой путь.

Сказав эти загадочные слова, виконт пожал руку Арсению Кирилловичу, прибавив с улыбкой:

– До скорого свидания. – И торопливо направился навстречу входившему в залу Васи-

лию Лукичу.

Во время утреннего свидания он имел продолжительный разговор с князем и передал ему письмо отца Жюбе, ловкого иезуита, пользовавшегося большим влиянием среди известной части духовенства Франции и вместе с тем сумевшего приобрести уважение свободомыслящих кружков, к которым принадлежали Сент – Круа и де Бриссак.

Он очень искусно, но с ведома своего высшего начальства в Риме, умел выступать против духовенства, притворяться опальным, навлекать на себя видимый гнев епископа и под шумок неустанно работать во славу и процветание своего ордена.

Василий Лукич ценил его выдающийся ум и часто встречался с ним в Париже, а Жюбе, зная о высоком положении князя, решил возобновить с ним сношения, мечтая о допущении в Россию иезуитов.

Но опытный дипломат отчетливо понимал игру отца Жюбе и только посмеивался, читая искусно написанное письмо, в котором Жюбе говорил исключительно о необходимости просвещения для России и приводил в при-

мер Петра Великого, призвавшего для этой цели иностранцев. Тут же он предлагал свои услуги прислать в Россию целый кадр ученых во всех областях.

Василий Лукич с видимым интересом встретил де Бриссака и вступил с ним в оживленный разговор.

XVIII

В кабинете канцлера шло серьезное совещание. Там сидели Дмитрий Михайлович, генерал – аншеф Матюшкин, Черкасский, фельдмаршал Иван Юрьевич и Юсупов. Главным образом для того, чтобы повидать этих людей, и приехал князь Дмитрий Михайлович. Среди поданных в Верховный совет проектов он считал наиболее значительным, по количеству примыкавших к ним лиц и по существу, проекты князя Черкасского и генерала Матюшкина.

Конечно, сам князь Алексей Михайлович не мог выдумать никакого проекта. За его спиной стояли другие во главе с Василием Никитичем Татищевым, талантливым ученым и историком. Но к этому проекту, благо-

даря значению и влиянию Черкасского, примыкала большая и сильная партия знати, как Трубецкие, Бярятинские и другие, и много гвардейских офицеров, привлеченных в его дом красавицей Варенькой и колоссальным богатством князя.

Что касается Матюшкина, то его проект являлся выразителем желаний значительной части шляхетства.

Оба этих проекта, признавая необходимым новое государственное устройство на коллегиальных началах, были составлены в смысле ограничения власти Верховного совета.

Проект Черкасского предлагал упразднить вовсе Верховный совет и создать вместо него» в помощь ее величеству» «высшее правительство» – Сенат, состоящий из двадцати одной персоны (в это число входит весь наличный состав Верховного совета), и другое, «нижнее правительство» – в составе ста персон.

Проект Матюшкина предлагал увеличение числа членов Верховного совета по избранию» общества», под которым разумелись военный и штатский генералитет и шляхетство.

Оба проекта предусматривали закономерные действия правительства на основах общественного контроля через выборных лиц, расширение прав шляхетства и облегчение участи других сословий.

Но как в том, так и в другом повторялось, что в «высшем правительстве», или Верховном совете, не должно быть двух членов одной фамилии. Это уже прямо было направлено против Голицыных и Долгоруких.

В настоящее время, при всеобщем брожении, задача Дмитрия Голицына и Верховного совета состояла в том, чтобы привлечь на свою сторону шляхетство.

Во всех представленных проектах подразумевалось ограничение императорской власти. Для Дмитрия Михайловича это было самым важным. Он до такой степени был убежден в преимуществах своего проекта, что легко готов был согласиться на некоторые уступки, вроде увеличения числа членов Верховного совета.

Ходя крупными шагами по кабинету, он с обычным жаром и убедительностью говорил:
– Мы все хотим одного! Хотим воли, право-

го суда, спокойствия жизни! И твой проект, Михаил Афанасьевич, – обратился он к Матюшкину, – и твой, Алексей Михалыч, говорят за то же. Почто мы спорим? Разве не можем мы сговориться? Разве мы думаем токмо о своей личной судьбе, о своей власти или богатстве?

– Да, – прервал его Матюшкин. – Ты правду сказал, Дмитрий Михалыч. Надо думать не о себе. Но дело в том, – продолжал он со свойственной ему прямоотой, – что шляхетство не верит вам. Вы сами избрали себя. Вы устами императрицы объявили себя несменяемыми. Вы никого не поставили над собой. Вы одно самодержавие подменили другим.

На открытом, еще молодом лице Матюшкина выступил румянец.

– Хорошо, – ответил Голицын, – но мы согласны на увеличение числа членов совета, я предлагаю еще шляхетскую палату...

– Михаил Михалыч прав, – сказал Юсупов. – Вас мало, надо привлечь к правлению по выбору и шляхетство и генералитет. Вы должны быть лишь для того, чтобы обсуждать законы, каковые предложит вам» обще-

СТВО».

– И следить за их исполнением, – сказал Дмитрий Михайлович.

Черкасский не принимал никакого участия в разговоре. Он только тяжело сопел и не переставая пил. Не меньше пил и Иван Юрьевич.

– В Верховном совете должны быть неминуемо все высшие из военного генералитета, – сказал он, намекая на себя.

Никто не обратил внимания на его замечание.

– Подумай, Михал Афанасьевич, – говорил Дмитрий Михайлович, – настало решительное время. Не теперь пристало спорить по пустякам! Нам нужно сейчас одно – раз и навсегда разрушить твердыню самовластья. Когда мы повалим ее – мы найдем лучшие способы управления. Нам надо, – одушевляясь, продолжал он, – чтобы императрица видела, что то, что подписала она, есть истинно ко благу народа и есть истинно желание не токмо Верховного совета, но и всего шляхетства! Поверь, Михал Афанасьевич, – в волнении произнес он, – всякая рознь теперь приведет

только к торжеству врагов! А враги у нас общие. Как мы, так и вы не хотим старого порядка. Ни кнута, ни Сибири, ни дыбы, ни плахи по одному дуновению державных уст! И ежели теперь, в такие минуты, мы перегрыземся – все погибнет! Как черные вороны налетит Феофан с братией, нахлынут немцы с Бироном, и мы, мы, – с силой говорил он, ударя себя в грудь – мы, созидавшие Русь, мы – плоть от плоти, кость от кости ее – станем рабами подлых выходцев. О, не забывай, Михал Афанасьевич, что императрица девятнадцать лет прожила в Курляндии, что сын немецкого берейтора делил ее ложе, что там у нее и друзья, и преданность, все то, что она не может забыть! Что те, чужие России, люди ближе ей, чем мой брат – фельдмаршал, радость армии и слава России, чем друг и сподвижник от детских дней Великого Петра генерал – аншеф Михал Афанасьевич Матюшкин, герой Персидского похода!..

Он в волнении замолчал. Матюшкин побледнел и встал.

– Я не о том думал, – начал он, – чтобы все повернуть на старое. В пять лет, что протекли

со смерти великого государя, мы видели довольно, чтобы не желать того же. Нет, императрица подписала кондиции, и ей нет пути назад. И не за старое беремся мы, Дмитрий Михалыч, ты не прав, а за новое! И боимся мы старого, а не нового, и потому волнуется шляхетство, да не будет вместо одного самодержца – восьми!

– Дай руку, Михал Афанасьевич, – воскликнул Дмитрий Михайлович, – ты понял меня, и мы мыслим одинаково. Подожди еще немного. Скоро будет принесена присяга. Тогда руки у нас будут развязаны и мы сговоримся!!

Он радостно протянул Матюшкину руку. Тот от души пожал ее.

Алексей Михайлович подремывал над недопитым стаканом. Иван Юрьевич совсем осовел.

Юсупов встал и подошел к Дмитрию Михайловичу и Матюшкину. Все трое искренне и по – дружески стали обсуждать планы дальнейших действий.

Предсказание де Бриссака исполнилось чрезвычайно скоро. Лопухина заметила сто-

явшего в стороне Арсения Кирилловича и радостной улыбкой подозвала его к себе. Все мрачные мысли мгновенно оставили Шастунова. Он вспыхнул и чуть не бегом бросился к кружку дам, среди которых сидела Лопухина.

Он едва не забыл поклониться цесаревне и совсем не заметил, как побледнела Юлиана. Но счастье его достигло апогея, когда Лопухина встала и обратилась к нему с просьбой проводить ее по залам поискать мужа. Артур был, видимо, недоволен и бросал на князя неприязненные взгляды.

Но счастливый Шастунов не видел этих неприязненных взглядов, как и тоскующего взора, каким проводила его бледная Юлиана.

– Он не заметил меня! – едва удерживая слезы, сказала она себе то же, что несколько минут тому назад говорил себе Шастунов.

Лопухина взяла Арсения Кирилловича под руку и незаметно прижалась к его плечу. Князь вел ее, не зная куда, ничего не соображая.

– Где ты был? – тихо спросила Лопухина. – Отчего не хотел подойти ко мне?

Тень ревности прошла по душе Арсения

Кирилловича, когда он ответил:

– Ты не заметила меня, ты была с графом Левенвольде.

Она теснее прижалась к его руке.

– Опять! – сказала она. – Я хочу, чтобы ты выкинул эти мысли из головы, глупый мальчишка, слышишь?..

Они прошли ряд наполненных гостями зал.

– Ведь мужа сегодня не будет. Он во дворце, – сказала Лопухина. – Разве ты не понял?

Она тихо рассмеялась.

Арсений Кириллович вновь почувствовал себя счастливым.

Они остановились в буфетной комнате. Лопухина захотела пить. Шастунов усадил ее за маленький столик и сам подал ей вина. Она медленно прихлебывала из стакана и смотрела на князя затуманенным взором, от которого у него кружилась голова.

– Ведь ты проводишь меня домой? – спросила она.

– А граф Рейнгольд? – сказал он.

– Ах, ты все еще думаешь об этом! Хорошо же! – И с шутливой угрозой в голосе она доба-

вила: – В таком случае меня проводит граф.

– Ог нет, нет! – с испугом воскликнул Арсений Кириллович.

Она рассмеялась:

– Так ♦ то лучше, мой мальчик.

– Скажи, – нежно и тихо начал Шастунов, низко наклоняясь к ней, – скажи, ты любишь меня?

Она только взглянула на него.

– А что же Левенвольде? Скажи, скажи, – настойчиво повторял он. – Я слышал...

Лицо Лопухиной вспыхнуло. На одно мгновение на нем показалось несвойственное ей жесткое выражение. Ей было неприятно это постоянное напоминание о Рейнгольде. И неприятно оно было ей потому, что она сама в эти минуты хотела забыть о Рейнгольде, потому что она знала, что Рейнгольд, в силу долгой связи или тех таинственных причин, которые иногда приковывают женщину к недостойному ее мужчине, имеет над ее телом странную власть. Что когда она видит в его прекрасных глазах загорающуюся страсть она закрывает свои глаза и теряет над собою волю. В те дни, когда Рейнгольд озабочен, хо-

лодев, почти не бывает у нее, она забывает о нем или думает о нем с пренебрежением. Но стоит ему явиться влюбленным, страстным, с нежным голосом и желаньем в глазах – она снова его.

Она была увлечена красотой и молодостью Арсения Кирилловича, минутами почти ненавидела Рейнгольда и снова тянулась к нему и была неверна и тому и другому, словно отданная во власть демонам чувственности.

– Если хочешь, чтобы я любила тебя, – отвечала она, – никогда не говори мне о нем!..

Но, заметя, что ее слова странно поразили Арсения Кирилловича, она с нежной улыбкой добавила:

– Я не хочу ни о чем говорить с тобой, кроме твоей любви. И притом у меня так много врагов... среди женщин...

– Я бы хотел, чтобы среди друзей мужчин было одним меньше, – почти весело сказал князь, успокоенный ее словами.

Лопухина допила вино и встала.

– Я вернусь к цесаревне, – сказала она. – Она не любит, когда от нее уходят. Не иди за

мной. Обо мне и так слишком много говорят. За ужином постарайся сесть рядом со мной. А потом.

Сидя в тесных санках, крепко обняв прильнувшую к нему Лопухину, Шастунов шептал ей бессвязные слова любви.

Морозный воздух дышал им в лицо. Блестел снег под зимней, ясной луной, быстро неслась лошадь, и им казалось, что только они и есть в этом мире.

Лошадь остановилась у дома Лопухиных.

– Ты зайдешь ко мне? Мужа не будет до утра, – едва слышно произнесла Лопухина.

XIX

Хотя Василий Лукич и продолжал жить во дворце, но строгий надзор за сношениями императрицы с внешним миром был уже невозможен. Уже формировался двор. Прасковья Юрьевна Салтыкова, ее сестра Марья Юрьевна Черкасская, Авдотья Ивановна Чернышева, графиня Ягужинская, баронесса Остерман и Лопухина были пожалованы в статс – дамы. Рейнгольд – в обер – гофмаршалы, Кантемир, граф Матвеев и некоторые другие были сделаны камер – юнкерами. Варенька Черкасская и Маша Ягужинская – фрейлинами.

Никто не мог запретить императрице принимать своих придворных. Кроме того, женщины как ♦ то не возбуждали особых подозрений у Василия Лукича. Герцогиня Мекленбургская чуть не жила во дворце.

Остерман, все еще, по его уверениям и уверениям его жены, тяжело больной, сейчас же воспользовался этой свободой сношений. Он направлял действия императрицы при посредстве своей жены, и особенно Черныше-

вой и Салтыковой. Указывал, кого из гвардейцев следует привлечь к себе, как держать себя по отношению к Верховному совету. Он одобрял ее и советовал осторожность и терпение. По его указанию она пожаловала камер – юнкерство Матвееву и Кантемиру, а потом и Гурьеву. Это все были ярые сторонники самодержавия, имевшие за собой много отчаянных молодых голов среди гвардейцев, мечтавших о фортуне, случае или просто ненавидевших верховников по тем или другим причинам, как, например, Кантемир ненавидел князя Дмитрия Михайловича из-за майората. И безусловно, все ненавидели и презирали ничтожного Алексея Долгорукова, наглого в счастье, трусливого в беде, корыстного и жадного.

Мало – помалу эта группа, благодаря милостям императрицы, уму Кантемира, интригам Рейнгольда и широким, безудержным кутежам графа Федора Андреевича, спаивавшего чуть не целые полки, все увеличивалась новыми и новыми членами и, наконец, по мнению Остермана, зорко за всем следившего, уже достигла значительной силы.

Он хорошо знал, что примерно с такими же силами Меншиков и Толстой возвели на престол Екатерину. Надо только в нужный момент собрать эту силу и неожиданно поразить растерявшегося врага. Старик знал каждый шаг друзей и врагов.

Верховники, хотя наконец и поверили его болезни (никого из них даже не допускали к Андрею Ивановичу), все же считали долгом посылать ему протоколы, указы, доклады при кратких секретных мемориях, обыкновенно составляемых Василием Петровичем, об общем положении дел.

Вице – канцлер внимательно все прочитывал и возвращал в совет доклады и указы неподписанными. Он ведь так плох, что не может держать в руках пера.

Об успехах среди сторонников самодержавия он знал подробно от Рейнгольда. О настроении шляхетских кругов – от своей жены, имевшей сведения от княгини Черкасской, а через Салтыкову – от ее брата – фельдмаршала, у которого постоянно собиралось шляхетство. во главе с генералом Матюшкиным.

Искусный старик, казалось, держал в ру-

как все нити интриги. Через жен он влиял на мужей, раздувая глупое честолюбие фельд-маршала Трубецкого, завидовавшего положению и популярности Долгорукого и Голицына, внушая Черкасскому, что он унижен верховниками, что ему надлежало бы быть канцлером и так далее.

Все эти меры имели успех, и, казалось, вице – канцлеру удалось всех натравить на Верховный совет. Казалось, его дальновидные соображения уже увенчались успехом.

В тиши своего кабинета, сидя перед каминном, вице – канцлер мечтал с закрытыми глазами о своем грядущем величии.

Императрица, по – видимому, все больше и больше проникалась его советами и решимостью к предстоящей борьбе.

Горделивые мечтания Остермана были нарушены приходом его жены. Она приехала из дворца, видимо, взволнованная.

– Ну, что там? – спросил Андрей Иванович, целуя ее руку.

– Я ничего не понимаю, – начала баронесса.

– Моей маленькой Марфутчонке ничего и

не надо понимать, – с улыбкой ответил Остерман. – Ей следует только быть внимательной и исполнять со своим обычным женским искусством поручения своего старого мужа.

– Это не мало, – отозвалась Марфа Ивановна.

– Это очень много, – сказал Остерман, снова целуя ее руку. – Но в чем дело?

– Я до сих пор думала, – начала баронесса, – что князь Черкасский ненавидит Дмитрия Голицына, князь Трубецкой – фельдмаршалов, а генерал Матюшкин, свойственник и любимец государыни, стоит на ее стороне против всего Верховного совета.

– Ну, да, – нетерпеливо произнес Остерман. – Он же подал особый проект...

– Ну, так я должна сказать, что они, должно быть, помирились, – сказала баронесса.

– Что? – в изумлении спросил Остерман.

– Да, – повторила баронесса. – Они все трое были сегодня у императрицы. Был и Василь Лукич. Я сама видела своими глазами, как они дружески беседовали... Я сама слышала своими ушами, как Матюшкин сказал Василь Лукичу: «Дмитрий Михалыч прав. Надо нам

соединиться всем вместе – и сговоримся. Мы не поняли друг друга. Но теперь Дмитрий Михалыч знает, что мы не враги Верховного совета...»

«Вот что, – думал Остерман, и его сердце упало. – Если это так, то, кажется, я захвораю на самом деле». Но голос его был ровен, когда он громко спросил:

– Что еще?

– Они все вместе вошли к императрице и очень долго были там, – говорила баронесса. – Герцогиня Екатерина сказала, что вчера у Головкина Дмитрий Михалыч уж очень был дружен с генералом Матюшкиным...

«Ужели Дмитрий Михалыч перехитрил меня? – думал Остерман. – Но мы еще посмотрим... только бы не отступила императрица».

– Ты видела после этого императрицу? – спросил он.

– Нет, – ответила баронесса. – Она выслала к нам своего маленького пажа сказать, что мы не нужны.

– А те уехали?

– Они, по – видимому, прошли на половину к Василь Лукичу, – ответила Марфа Ива-

Ивановна.

– Кто сегодня дежурный? – спросил Остерман.

– Граф Левенвольде, – ответила Марфа Ивановна.

– Хорошо, благодарю, – произнес Остерман. – Все, что ты сказала, важно, но не страшно. А теперь, дорогая Марфутчонка, – закончил он, – я бы хотел немного подремать здесь. Я плохо спал ночь.

Марфа Ивановна встала.

– Спи, Иоганн, я не велю тебя тревожить, – сказала она.

– Да, – наклонил голову Остерман. – Я никого не могу принять, за исключением графа Рейнгольда.

– Хорошо, Иоганн.

Привычным движением Марфа Ивановна оправила на ногах больного меховое одеяло и тихо вышла из комнаты.

Остерман, конечно, вовсе не хотел спать. Он хотел остаться один – обдумать способы расстроить зарождавшийся союз.

Партии Черкасского и Матюшкина имели за собой большинство. Соединившись, они

вяются выразителями пожеланий почти всего шляхетства и генералитета, а соединившись с верховниками, они станут несокрушимой силой.

Остерман глубоко задумался. Его деятельный ум составлял всевозможные комбинации. Но скоро он понял» что в его расчетах не хватает одного – он еще не знал отношения императрицы к создавшейся» конъюнктура».

Он был уверен, что при своей ловкости Рейнгольд сумеет узнать подробности, а то, может быть, и сама императрица даст ему поручение. Она верит в его преданность; она уже знает, от кого Густав Левенвольде получил письмо об ее избрании.

Остерман давно уже перестал скрытничать перед Рейнгольдом, совершенно прибрав его к рукам.

– Подождем, – сказал себе Остерман.

Но ждать ему пришлось сравнительно недолго. Часа через два явился Рейнгольд.

По одному взгляду на его расстроенное лицо Остерман понял, что вести, привезенные им, были неблагоприятны.

– Я думаю, что все кончено, – начал Рейн-

гольд, не здороваясь с Остерманом. – Кажется, все наши хитроумные комбинации приведут только к тому, что мы станем на голову меньше ростом, – закончил он с нервным смехом.

Остерман бросил на него острый взгляд, и насмешливая улыбка скользнула по его губам. Казалось, он подумал: «Ну, твоя ♦ то голова – потеря небольшая».

– Прекрасно, граф, – холодно сказал он. – Но не надо преувеличивать ценности своих голов, когда дело идет о благе государыни и обширной империи; я жду от вас не ламентаций, а нужных сообщений.

Холодный тон Остермана подействовал на Рейнгольда. Он робел перед стариком. Остерман так запутал Рейнгольда в свои интриги, что тот чувствовал себя как муха в паутине. Ему ничего не оставалось больше делать, как беспрекословно повиноваться железной воле этого лукавого старика, чтобы действительно не стать на голову короче.

– В чем же дело? – спросил Остерман.

– Я приехал к вам по поручению императрицы. Она совсем расстроена, упала духом, плачет. Вот ее подлинные елова: «Передай

Андрею Иванычу, что я ото всего отказываюсь, что я устала, что не хочу никакой борьбы, что пусть сам размыслит, в случае чего, что я не только за него, но и за себя не могу поручиться...»

Пергаментные щеки Остермана приняли пепельно – серый оттенок, но он ни одним словом не прерывал Рейнгольда.

Рейнгольд продолжал.

Императрица все рассказала ему. Рассказала об угрозах Василия Лукича лишить ее престола и призвать на престол или голштинского чертушку, или принцессу Елизавету. Передала подробности сегодняшнего неожиданного для нее разговора с Черкасским, Трубецким и Матюшкиным в присутствии Василия Лукича. Матюшкин, опираясь на эти проклятые кондиции, прямо заявил императрице, что настало время заняться государственным устройством, что купно с Верховным советом шляхетство и генералитет поднесут ее величеству соответственный проект, согласно кондициям. Что ее величество, в торжественном заседании совета, в присутствии шляхетства и генералитета, должна подписать этот

проект, и помянул, что в Верховном совете императрице предоставляется два голоса. Василий Лукич при этом заметил, что государыня сейчас изволит слушать желания всего народа, первоначальными выразителями коих явились ее верноподданные, члены Верховного тайного совета.

Императрица была поражена. Она так надеялась на князя Черкасского, так была убеждена, со слов самого же Остермана, в верности Трубецкого и в родственных чувствах генерала Матюшкина! Она едва имела силы ответить им несколько слов.

Они ушли торжествующие, а она потеряла все надежды...

Остерман слушал его, и в нем говорила профессиональная зависть дипломата. Как он, Остерман, возбуждавший удивление в Европе своим гением в интриге и всяких» конъюнктурах», был выбит из своей позиции ловким ходом Дмитрия Михайловича?! Он живо представил себе лицо прямого и честного Матюшкина и страстную речь Дмитрия Михайловича, сумевшего привлечь на свою сторону неподкупного и смелого противника.

Обычная сдержанность, быть может, в первый раз в жизни покинула его. Резким движением он сбросил с ног прикрывавшее их меховое одеяло, сорвал с глаз и швырнул на пол зеленый зонтик и нервной походкой, с юношеской живостью заходил по комнате. Глаза Остермана сверкали и стали такими большими, какими никогда их не видел Рейнгольд.

Рейнгольд был ошеломлен. Он думал, что если старик и преувеличивает свою болезнь, то все же он дряхл и болен.

– Нет, нет, – окрепшим, совсем молодым голосом говорил вице – канцлер, крупными шагами ходя по кабинету. – Они рано торжествуют. Назло им, назло самой императрице я восстановлю блеск и силу ее самодержавия, едино нужного для блага этой варварской страны! Она стала моей второй родиной! Пусть упрекают меня! Да, старый Остерман честолюбив! Старый Остерман властолюбив! Старый Остерман хитрит и обманывает и идет темными каналами, как говорит Волынский!.. Но старый Остерман заключил Ништадтский мир! Старый Остерман, опираясь на великого императора, сумел показать

Европе, что дикая Россия стоит Франции и империи цезарей! Старый Остерман добился того, что пороги его скромной квартиры переступают послы могущественных держав, униженно умоляя о поддержке России! Старый Остерман не уступил ни одной пяди русской земли и не стоил России ни одного лишнего пфеннига!

Никогда Рейнгольд, да и никто другой, не видел сдержанного и осторожного вице-канцлера в таком возбужденном состоянии.

– Они еще поборются со мною и оплатят свое торжество!.. Садись, – повелительно произнес он, обращаясь к Рейнгольду и переходя на» ты». – Садись и пиши письмо императрице.

Рейнгольд послушно сел к столу, придвинул бумагу и взял в руку перо.

Лицо вице-канцлера выражало величайшее напряжение мысли. Оно было почти вдохновенно. Как великий полководец на поле битвы в трудную минуту вдруг находит подходящее решение, так и Остерман, этот» гений интриги», мгновенно оценил и взвесил все шансы успеха и бросил на поле битвы

свои последние резервы.

Он лихорадочно диктовал, и Рейнгольд едва успевал записывать его слова.

Остерман опять начал с вопроса о необходимости для России самодержавия, затем внушал императрице твердость и уверенность в победе. Говорил о непрочности союза, заключенного шляхетством с верховниками, уверял, что при ненасытном властолюбии Василия Лукича, при деспотическом характере князя Дмитрия Михайловича нельзя рассчитывать на то, что верховники уступят хоть часть своей власти представителям шляхетства, и, наконец, предлагал поистине гениальный план, чтобы разбить силы противников. Этот план был основан на психологии врагов. Остерман советовал императрице предложить князю Черкасскому подать свой проект, не дожидаясь мнения Верховного совета, непосредственно ей. При этом надо сказать глупому, но самоуверенному князю, что императрица верит в его глубокий ум, что по своим способностям ему следует занять место канцлера, а не идти в хвосте за Верховным советом, что его проект наверное исполнен го-

сударственной мудрости и вызван усердием к отечеству.

То же надо сказать и Матюшкину, уверив его, что она лучше и беспристрастнее оценит его проект, чем верховники, среди которых находятся два фельдмаршала, соперники его военной славы.

Что эти проекты надо подать ей публично и торжественно, дабы она могла с высоты престола заявить о своем доверии к представителям генералитета и шляхетства. После этого верховники, как бы ни были самовластны, должны будут считаться с мнением императрицы, тем более что она будет действовать, не нарушая кондиций.

Они принуждены будут молчать, раз она сама, признавая ограничение своей власти, захочет ближе ознакомиться с пожеланиями всего общества». Но это породит раздоры между вчерашними союзниками и даст время ее сторонникам подготовить решительный удар. Какое правление, кроме самодержавного, возможно в той стране, где общество, несмотря на волю, изъявленную с высоты трона, не может выработать новых форм

государственного устройства?!

Несмотря на свою ограниченность, даже Рейнгольд был поражен таким простым, но гибельным для противников планом действий.

Свое письмо Остерман заканчивал словами: «Я стар и болен, но я велю принести себя во дворец на носилках, когда наступит решительная минута отстаивать державные права моей государыни».

Остерман бегло просмотрел написанное и твердой рукой подписал письмо.

– Оно должно быть передано сегодня же, – резко произнес он.

– А если императрица не послушается и побоится? – неуверенным голосом спросил Рейнгольд.

– Она послушается, она теперь решится на все, – с загадочной и жесткой улыбкой произнес Остерман. – Теперь мы напишем твоему брату. Его присутствие здесь необходимо.

– Но его арестуют! – воскликнул Рейнгольд.

– Ты думаешь? – усмехнулся Остерман. –

Пиши же.

Уже стемнело. Рейнгольд зажег стоящие

на столе свечи и приготовился писать. Несколько мгновений Остерман стоял молча. Потом опять заходил по комнате.

– «Дорогой и высокородный друг, – начал он. – Ныне на престоле российском воцарилась, как вам известно, новая императрица. Со смерти Великого Петра, как при блаженной памяти императрице Екатерине, при вступлении ее на высочайший престол, так и при вступлении на престол ныне почившего отрока – императора, представители Лифляндии, в лице ландратов, являлись с проеьбою к новым государям подтвердить известные лифляндские привилегии. Надлежит и ныне явиться: к всемилостивейшей государыне, – диктовал Остерман, – таковой же депутации во главе с вами, высокородный господин, как лифляндским ландратом».

Рейнгольд невольно остановился, пораженный простым выходом, придуманным вице – канцлером.

Не обращая внимания на его изумление, вице – канцлер продолжал диктовать. Дальше он переходил уже на дружеский и открытый тон и раскрывал свою игру. Ходатай-

ство о подтверждении лифляндских привилегий должно быть только предлогом для приезда Густава, присутствие которого необходимо в настоящую минуту для спасения императрицы.

И Остерман кончил неожиданно ударом для Рейнгольда:

– «Под видом слуг депутации или иными какими путями, во что бы то ни стало, не теряя минуты, необходимо доставить в Москву Бирона с семейством...»

Рейнгольд уронил из рук перо и вскочил с места.

– Господин барон! – воскликнул он в гневном волнении. – Вы играете головой моего брата и моей!..

– Твоя голова вообще мало стоила, – холодно и жестко произнес Остерман, – а теперь, – медленно закончил он, глядя на Рейнгольда зловещим взглядом, – я за эту пустую голову не дал бы ни одного пфеннига. – Садись и кончай письмо.

– Но, господин барон!.. – начал возмущенный Рейнгольд.

– Ты, кажется, забыл, – тихим, свистящим

шепотом произнес Остерман, – что я еще член Верховного тайного совета, что, если я захочу, твоя ненужная голова завтра ляжет на плаху, и никто не вздохнет о тебе, кроме, может быть, твоих любовниц! Но и они будут вздыхать о тебе только до вечера! А к ночи возьмут других!.. Впрочем, – насмешливо закончил Остерман, – никто не мешает тебе сейчас уйти от меня... Например, к фельдмаршалу Василию Владимировичу, и... принести оттуда смертный приговор себе. Я не думаю, чтобы фельдмаршал долго колебался в выборе между Левенвольде, отправившим первое письмо через брата императрице в Митаву, и вице – канцлером, членом Верховного совета Остерманом.

Левенвольде до крови закусил губу и покорно опустил на стул у письменного стола.

– Я готов, – угрюмо произнес он, беря снова в руку перо.

Как будто ничего не произошло, Остерман продолжал диктовать. Он подробно описал положение, свои планы и выражал уверенность в смелости Густава, которого не могут испугать опасности.

Когда Остерман перечел и подписал письмо, он спросил Рейнгольда:

– Есть у тебя верный человек? Цел ли тот, кто так искусно обманул всех и провез твое письмо к брату?

Рейнгольд утвердительно кивнул головой.

– Тогда, – сказал Остерман, – пусть сейчас же, немедленно скачет к твоему брату. Пусть не отдыхает ни днем ни ночью. Пусть опередит самого черта! Скажи, что я дам ему дворянство и деньги. А теперь дай ему на дорогу.

С этими словами Остерман открыл ящик стола. Рейнгольд был поражен, увидев, что ящик был почти доверху наполнен золотыми монетами. Он никогда не думал, чтобы Остерман был так богат.

И он был прав. Остерман никогда не был богат, и из этого золота не было им истрачено на себя ни гроша. Это был секретный фонд, который Остерман тратил по своему усмотрению. Из этого фонда он не раз выручал в трудные минуты иностранных резидентов, как, например, герцога де Лирия, доносившего своему правительству, «что на земле нет почти снега, как нет и денег в моем кармане».

Помимо некоторых резидентов, деньги шли также в карманы их секретарей и писцов.

Вице – канцлер знал, кому давал и за что давал, и никто никогда не спрашивал у него отчета. Но зато иногда Остерман поражал всех своей необычайной осведомленностью.

Не находя нужным объяснять Рейнгольду назначение этих денег, Остерман обеими руками, не считая, зачерпнул золота и передал Рейнгольду.

– На, на его расходы. Жалеть не приходится.

Рейнгольд забрал деньги, потом взял запечатанные Остерманом письма и глубоко вздохнул.

– Так, значит, сейчас, немедленно, – повелительно сказал Остерман, – ты отправишь гонца к брату и передашь письмо императрице.

– Я сделаю это, – пересохшими губами ответил Рейнгольд.

Он был напуган и чувствовал себя на краю гибели. У него даже мелькнула мысль пойти с этими письмами к Дмитрию Михайловичу, но он сейчас же понял, что если бы ему даже

и удалось отправить Остермана на плаху, что во всяком случае было довольно трудно, то уж он сам, наверное, угодил бы под топор.

Он вышел от Остермана, проклиная себя в душе за то, что связался с этим дьяволом. А когда он ушел, Остерман громко проговорил:

– То, что она боится сделать для России, она сделает ради своего любовника и сына, или лишится их обоих! Ей нет отступления!

Остерман погасил свечи, сел в кресло, хорошенько закутал в мех ноги, закрыл глаза и скоро действительно задремал...

XX

Между тем князь Дмитрий Михайлович тропился закрепить свою победу. Совместно с Василием Лукичом и при участии генерала Матюшкина он выработал текст особого соглашения, в котором предусматривалось, чтобы в Верховном совете не было больше двух персон одной фамилии, и говорилось, что члены «такого первого собрания» должны рассуждать, «что не персоны управляют законом, но закон управляет персонами», и еще» буде же, когда случится новое и важное дело,

то для одного в Верховный тайный совет имеют для совета и рассуждения собраны быть – Сенат, генералитет, коллежские чины и знатное шляхетство».

Под этим согласительным документом подписались представители шляхетства во главе с Матюшкиным, подписались Черкасский и Трубецкой, много штаб- и обер-офицеров, четырнадцать кавалергардов и другие.

Соглашение быстро покрывалось подписями, и Дмитрий Михайлович торжествовал. Он совсем не считался с оставшимися в стороне непримиримыми кружками, вроде кружка Новикова, справедливо оценивая ничтожество их сил. Еще меньше видел он опасности со стороны сторонников самодержавия, которых даже не было ни видно ни слышно, кроме Феофана, да и то, по – видимому, боявшегося верховников.

Наступал наконец день величайшего торжества верховников – день присяги. В этот день верховники, как бы перед лицом Бога и народа, лишали императрицу самодержавной власти. Отныне все должны понять, что они не рабы. Что они приносят клятву на вер-

ность не самодержавной, неограниченной монархии, а государыне и отечеству. Что отныне воля государыни не обязательна, если она клонится ко вреду отечества.

Десятки тысяч присяжных листов были заготовлены Сенатом по распоряжению Верховного совета. Были заготовлены также указы за подписью императрицы, и многочисленные гонцы, нарочные от Сената, офицеры и сержанты, полетели во все края империи, ко всем губернаторам и воеводам с этими указами и присяжными листами. Скрепя сердце, не смея ослушаться, Феофан отправил с тем же нарочных от Синода в епархии.

Всю ночь, предшествовавшую знаменательному дню, верховники не спали.

С раннего утра в Мастерскую палату, где они заседали, начали являться, вызванные повестками, высшие чины для принесения присяги и подписки присяжных листов. Остальными присяга приносилась в Успенском соборе и четырнадцати церквях Москвы. В каждой церкви столицы жителей должны были приводить к присяге особо назначенные для того лица из шляхетства и гене-

ралитета. В числе этих лиц были и Черкасский и Матюшкин. Одно это должно было доказать императрице полную победу верховников.

Весь гарнизон Москвы был поставлен на ноги Михаилом Михайловичем. Был издан строгий приказ немедленно арестовывать всех, уклонявшихся от присяги. Но таких не было. Ощетинившись штыками, стояли вокруг церквей, где приносилась присяга, отряды армейских полков. Звонили колокола, гремели пушечные салюты, и народные волны все текли и текли, и казалось, им не будет конца.

Москва впервые присягала на верность государыне» и отечеству!

Гвардию приводил к присяге сам фельдмаршал Василий Владимирович.

Генерал Бонн приводил к присяге в лютеранской кирке жителей Немецкой слободы.

Два дня продолжалась церемония.

На третий день измученной, упавшей духом Анне снова приносили в большом кремлевском дворце свои поздравления и высшие чины, и представители Сената и Синода, и

иностранные резиденты...

Анна получила письмо Остермана, но только горько усмехнулась, прочтя его.

Бороться, составлять разные конъюнктуры, говорить, просить, убеждать! Нет, она слишком устала для этого! Она измучена! Вся жизнь ее со дня избрания – сплошная пытка. Унизительный надзор, угрожающие намеки... и тяжелее всего разлука.

С какой тоской и любовью вспоминала она, в своем блестящем одиночестве, тихие дни в Митаве. Ласки детей, любовь Бирона, длинные зимние вечера в маленьком, тесном кружке преданных людей. Даже свои заботы о хозяйстве, хлопоты о деньгах. Все мелкие тревоги и незаметные радости...

Нет, она не может уже бороться! И зачем? И для кого? Пусть будет, что решила судьба!

И при этих воспоминаниях из ее глаз текли слезы; не слезы гнева и унижения лишённой власти императрицы, а слезы матери и любовницы – жены...

Когда утомленный церемонией Шастунов возвращался к себе, его еще на углу встретил

Васька:

– Батюшка – князь пожаловали...

В первый момент сердце Арсения Кирилловича сжалось, но он вспомнил, что все уже кончено. Императрица сама подписала указы о присяге, и присяга уже принесена. Он поспешил к отцу.

Кириллу Арсеньевичу было за шестьдесят лет, но он казался старше. Он сильно хворал в последнее время и не мог ходить без палки.

Он довольно сухо встретил сына. Однако обнял и поцеловал его.

– Ну, вот, ты забыл обо мне. Я сам на старости лет приплелся в Москву. Хочу повидать государыню да посмотреть, что у вас тут творится. Ну, рассказывай.

Старик сидел в глубоком кресле, опершись обеими руками на палку, и пытливо, острыми, пронизательными глазами глядел на сына.

Сперва смущенно, но постепенно овладевая собой и воодушевляясь все больше и больше, Арсений Кириллович рассказывал все происшедшее. Смерть императора, избрание Анны, решение Верховного совета огра-

ничить самодержавную власть императрицы, потом поездка в Митаву, согласие императрицы на кондиции, и кончил сегодняшним днем – принесением присяги на верность государыне и отечеству.

Но по мере того как он воодушевлялся, с восторгом говоря о грядущей свободе, о новом государственном устройении, – все мрачнее становился его отец. – Он внимательно слушал, изредка только справляясь о том или другом лице.

– Так, – медленно начал он, выслушав сына. – Что ж, ужели все так мыслят ныне? Уже ли никого не осталось, кто служил бы императрице по старине? Или теперь уже всяк предписывает императрице всероссийской свои законы? И ты туда же полез? Пожалуй, ты и республики хотел бы? А? Может, государыня и вовсе не нужна?

– Батюшка! – воскликнул Арсений Кириллович. – Не против государыни мы, а против угнетения и рабства, против насилия и фаворитов...

– Молчи! – грозно крикнул старик, тяжело поднимаясь с места и сверкая глазами. – Или

твой отец был рабом? Или позволил когда-нибудь унижить свою честь? Мы были соратниками и помощниками царей и слугами отечества, но мы никогда не были рабами! Отвергнув Божью помазанницу, это вы станете рабами немногих сильных фамилий! Вам не к лицу преклоняться перед императрицей, вам лучше в холопах служить у Алексея Долгорукого, что у покойного императора чуть не ложки воровал!.. Стыдись, Арсений, ведь ты Шастунов, ведь ты не ниже Долгоруких, ведь одного корня мы и нет знатнее нас. И помни, никогда Шастуновы ни у кого в холопах не состояли, и даже» они» не знатнее нас!..

– Батюшка, – вспыхнув, ответил Арсений. – Я: не уроню своей чести; она дорога мне не меньше, чем тебе! Никогда ни у кого я в холопах не буду и не хочу, чтобы и другие были холопами. Мы все люди и все равны.

– Равны? – с насмешкой произнес старик. – Перед Господом Богом разве. Пожалуй, считай себе ровней своего Ваську, а мне он холоп... Одно скажу тебе, Арсений, пока есть во мне остаток сил, я буду защищать священные права самодержавной государыни. Не может

быть, чтобы все отреклось от нее. А ее родственники? Салтыков, Лопухин? Я хорошо знаю Семен Андреича. Что ж, они тоже ее враги? Иди своей дорогой, Арсений. Не хочу упрекать тебя. Если на такое дело пошли такие люди, как фельдмаршалы да князь Дмитрий Михайлович, – то что ж с тебя; спрашивать! Но знай и помни одно, Арсений: идя против, государыни, ты идешь против своего отца. Каждый удар, направленный в нее, я постараюсь принять на свою старую грудь... Я не верю, что все покончено, что она покорна и все довольны. То, что крепло веками, не легко повалить в один день. Я не ждал, что на старости лет останусь одинок, что мой единственный сын, моя гордость и радость, восстанет на меня!

– Отец, отец! Что говоришь ты! – в отчаянии воскликнул Арсений. – Я – на тебя?!

– Да, – повторил старик. – Я пойду против вас, я буду бороться с вами всем, чем могу. И я надеюсь на победу... – Старик гордо выпрямился. – А если я паду, то, быть может, последний удар нанесет мне мой сын, повинуюсь приказу своих господ! – Голос старика

дрогнул. – Прощай, Арсений, – произнес он и, тяжело опираясь на палку, направился к двери.

Арсений бросился к нему, но старик отстранил его рукой и вышел.

Да, все это предвидел, все это говорил себе Арсений в день получения от отца письма. Но он надеялся, что все кончено и старик примирится с совершившимся. Но он хочет продолжать борьбу... Ужели еще не кончена борьба? Ужели отец лучше понял положение, чем он, живущий здесь? Не может быть! Он видел сегодня торжествующие лица фельдмаршалов, слышал, как сказал Дмитрий Михайлович, что слава Богу – все кончено и назад уже не повернуть...

Нет, отец ошибается! Он увидит, что императрица спокойна, и успокоится сам... Старик потрясен таким резким переворотом государственного строя. Он повидается со старыми приятелями – Дмитрием Михайловичем и Василием Владимировичем. Они яснее и лучше покажут ему всю пользу нового устройства...

Поздно вечером за вещами князя – отца приехал Авдей. Князя пригласил поселиться у

себя в доме его старый приятель Семен Андреевич Салтыков.

XXI

Рейнгольд считал себя погибшим человеком. Мало того, что Остерман приказал ему отправить с его человеком письмо Густаву, то есть делал его своим сообщником, подставляя, в случае неудачи, под первые удары, он возложил на него еще обязанность – найти и подходящее помещение для ожидаемой депутации и семейства Бирона. «Тут уж прямо пахнет страной пушных зверей», – думал Рейнгольд.

Он проклинал этого хитрого старика, запутавшего его в интригу, и от сознания своего бессилия приходил в бешенство.

Если в первое время по смерти императора он приняв участие в интриге против Верховного совета, то это было вызвано боязнью потерять все, что позволил приобрести ему случай. Но теперь, когда эта попытка осталась не от!крытой и он заслужил благоволение императрицы, когда он был назначен обер – гофмаршалом двора и не имел врагов

среди верховников, – какого черта ввязываться ему в интриги, которые могут стоить ему головы! Он богат, знатен, отличен при дворе, имеет успех, обладает красивейшей женщиной обеих столиц! Какое ему дело до того, самодержавна ли Анна или нет?! И рядом с ненавистью к Остерману росло в нем и чувство злобы к брату.

«Они очень хитры, – думал он. – Брату, конечно! скучно в его медвежьем углу, ему хотелось бы власти, почести и денег! Легко все это добывать руками брата, подставляя его шею под топор!»

Но, несмотря на такие рассуждения, Рейнгольд все же усердно принялся отыскивать нужное помещение.

Ему посчастливилось. Сравнительно недалеко от Кремля, на берегу Москвы – реки, он нашел уединенный дом, затерянный в глубине просторного сада, окружавшего его. Этот дом выглядел снаружи довольно ветхим, но был удобен и отделан внутри. Владельцем этого дома был купец Сермяжкин из Гостиного двора. Когда у его лавки останов вились сани Рейнгольда с ливрейными лакеями на за-

пятках, он выскочил с непокрытой головой встречать почетного гостя.

Сермяжкин торговал персидскими товарами – коврами, шелками, всякой мелочью, трубками, кальянами, оружием, табаком, и, кроме того, был обойщиком и драпировщиком.

Когда Рейнгольд высказал ему свое желание нанять у него дом, он лукаво усмехнулся, окидывая взглядом красивого незнакомца. Ему хорошо были известны теперешние обычаи. Богатые господа любили уединенные домики для встреч со своими красавицами.

К числу таких любителей он отнес и своего посетителя и соответственно этому заломил несуразную цену. Но к его радости и удивлению, посетитель не стал торговаться. И не только отвалил ему сразу за три месяца вперед, но еще набрал на большую сумму ковров, бронзы, шелковых материй и поручил ему в два дня убрать помещение, не стесняясь в расходах.

Он дал Сермяжкину указание, как убрать квартиру, сколько сделать спален, чем привел его в величайшее изумление. Очевидно,

первоначальное предположение Сермяжкина об уютном гнездышке для влюбленных оказалось ошибочным, и теперь он решил, что молодой посетитель готовит квартиру по поручению какого-нибудь знатного родственника, приезжающего в Москву с семейством.

Сермяжкин не ударил в грязь лицом. Через два дня дом был обставлен и украшен внутри. Когда Рейнгольд посетил его, то пришел в восторг. Стены были красиво задрапированы шелковыми тканями, полы покрыты коврами, расставлена мебель, на стенах висели бронзовые канделябры, зеркала, в уютных спальнях стояли бронзовые кровати, покрытые шелковыми одеялами. Даже в буфете оказались вина и запасы съестного.

«Остерман за все заплатит», – думал Рейнгольд, очень довольный обстановкой дома. Он полетел к Остерману и доложил ему об исполнении поручений.

Императрица получила письмо, но молчит. Дом нанят и отделан – это стоило очень дорого!

– Сколько? – коротко спросил Остерман.
Рейнгольд сказал.

– На, возьми, – произнес Остерман, открывая заветный ящик. Он осторожно отсчитал нужное количество золотых, – Теперь будем ждать.

Остерман был спокоен, но не в таком настроении возвращался домой Рейнгольд.

Никогда будущее не страшило его более...

Все вопросы казались решенными. Императрица ни во что не вмешивалась. Верховный совет занимался текущими делами и вместе с тем энергично работал над обширным проектом преобразования, составленным князем Голицыным. В этих работах деятельное участие принимали Василий Лукич и Матюшкин. Матюшкин вносил поправки, клонящиеся к расширению прав шляхетства, и Василий Лукич усердно поддерживал его в этом. Он настаивал на увеличении числа членов Верховного совета и считал необходимым рассмотреть нужд общественных выборными от шляхетства, чтобы народ узнал, что к пользе народной дела начинать хотят».

Князь Голицын, имея в виду главное – ограничение самодержавия, очень охотно со-

глашался внести поправки в свой проект, отводящий слишком много места аристократии.

Представители иностранных дворов с напряженным вниманием следили за ходом работ Верховного совета. «Относительно намерений старинных русских фамилий, – доносил, своему правительству Маньян, – надо полагать, что они воспользуются столь благоприятной конъюнктурой, чтобы избавиться от ужасного рабства в котором до сих пор находились, ограничив самовластие русских государей, которые могли по личному произволу располагать жизнью и имуществом своих подданных. Русские вельможи, наравне с низшими сословиями, не имела в этом случае никакого преимущества, которое ограждала бы их от расправы кнутом...»

Уверенные в своей силе, привлечшие на свою сторону большую часть шляхетства, верховники считали свое положение непоколебимым и, с сознанием исполненного перед родиной долга, смело смотрели вперед.

Необычайный подъем духа, горделивую радость испытывал Дмитрий Михайлович.

Он был накануне осуществления своей заветной мечты. Он уже видел в своих грезах свободную Россию, великую и непобедимую, гордо шествующую впереди государств Европы!

Окончательная выработка проекта близилась к концу. Скоро должен был наступить великий день, с которого начнется жизнь обновленной России!.. Окружающие верховников торжествовали. Враги их низко опустили головы.

Друг верховников и сторонник самого широкого расширения прав шляхетства Григорий Дмитриевич Юсупов тоже торжествовал. Он отчасти приписывал себе, и не без основания, успех достигнутого соглашения.

Дивинский чувствовал себя бесконечно счастливыми Он уже считался женихом Пашши и все свободное от службы время проводил у Юсуповых. Ждали только окончания придворного траура, чтобы сыграть свадьбу. Говорили, что коронация новой императрицы предстоит в апреле; тогда и кончится траур.

Федор Никитич с Пашей мечтали и строили планы будущей жизни. Даже холопы в до-

ме Юсупова повеселели.

– Я говорила тебе, что тебя ждет счастье, – повторила Сайда, когда от избытка чувств Паша целовала ее морщинистое лицо. – Амулет носишь?

– Ношу, ношу, милая Сайда, – весело отвечала Паша. – Милый, дорогой амулет! Я с ним не расстанусь во всю жизнь!..

Восточная комната княжны была любимым местопребыванием влюбленных. Паша сидела на низеньком кресле, у ее ног помещался Дивинский и, положив голову на ее колени, говорил ей о своей любви. Она слушала, перебирая его волосы, и в эти минуты нередко хотела умереть от полноты счастья! Ее несколько дикая красота расцвела полным блеском и под влиянием счастья стала словно мягче и теплее. Жизнь так хороша, а дальше будет еще лучше...

Дивинский только изредка видел своих друзей. Алеша по – прежнему вел самый беспутный образ жизни, вечно жаловался, зевая, что не может выспаться, и опять закатывался куда-нибудь в укромный уголок – на целую ночь... Шастунов не выглядел счастливым. Он

побледнел за последние дни, был задумчив и часто раздражителен. Чуждался товарищей, был молчалив. И действительно, Шастунов чувствовал себя плохо. Он искренне любил своего отца, и происшедшая рознь причиняла ему страдания. Его надежды не оправдались. Он, конечно, поспешил навестить отца. Старик встретил его сухо и сдержанно. Он уже побывал и у Дмитрия Михайловича, и у фельдмаршала Долгорукого. Старик никому не передал содержания своей беседы с ними, но вернулся домой мрачнее тучи и долго в эту ночь говорил с Семеном Андреевичем.

Всякую попытку сына как-нибудь стовориться он решительно и сухо отклонял. Но Арсений Кириллович видел, как тяжело отцу, и мучился сам.

Помимо осложнений в отношениях с отцом, он мучился еще и ревностью. Лопухина словно изменилась к нему. Ее отношение стало неровным. Словно она чем-то была отвлечена или обеспокоена. Быть может, такое настроение было вызвано тем, что Степан Васильевич, как известно, был противником верховников, но от всяких разговоров на эту те-

му Наталья Федоровна уклонялась.

Она играла с ним, как казалось Арсению Кирилловичу. И сердце его болело, и он не находил себе покоя. Все чаще и чаще вспоминался ему Левенвольде, и он дрожал от бешенства при одном имени его. И если бы в эти минуты он встретился с блестящим графом, он, наверное, довел бы дело до ссоры и поединка...

Маленькая Берта, прислуживающая в остерии дочь Марты, с тревогой следила за своим постояльцем. Она часто задумывалась и грустила. Хотя у нее не было никаких надежд на князя, но она чувствовала себя несчастной, инстинктом влюбленной угадывая, что ее князь страдает от любовной тоски...

Но Шастунов не замечал ни ее вздохов, ни ее томных взоров. Также не замечал он, как худеет и бледнеет баронесса Юлиана.

После присяги ему опять случилось быть в дворцовом карауле, и опять императрица пригласила его к своему столу. На этот раз за столом не было оживления. Императрица, несмотря на то, что ее «дракон» князь Василий Лукич отсутствовал, была печальна и за-

думчива. Герцогиня Екатерина хранила суровое молчание. Так же была молчалива и дежурная в этот день статс – дама Прасковья Юрьевна, обыкновенно разговорчивая и оживленная.

Юлиана, соседка Шастунова, почти ничего не ела и едва поддерживала разговор с князем.

Притихла и Адель, и даже беззаботный Ариальд, но обыкновенно стоявший за креслом императрицы.

В конце обеда Анна обратилась к Шастунову и сказала:

– У меня был твой отец. Он доставил нам подлинное удовольствие своей верностью и преданностью. Я рада, что его сын бывает при нашем дворе.

Она милостиво улыбнулась.

Шастунов встал и глубоко поклонился. Но сказать ничего не мог. Слова императрицы больно ударили его по сердцу.

Сейчас же после обеда императрица в сопровождении герцогини и Салтыковой ушла во внутренние некой.

– Что вы имеете такой печальный вид? –

воскликнула Адель, когда ушла императрица. – Князь, – обратилась она к Шастунову. – Вас просто не узнать! Да займите же вашу соседку! Заставьте ее забыть о Митаве, о которой она чуть не плачет день и ночь. Она даже хочет проситься у императрицы уехать назад.

– Да? Вы тоскуете о Митаве? – рассеянно сказал князь.

Он поднял голову и едва ли не в первый раз за сегодняшний день прямо посмотрел на Юлиану. Его поразило скорбное выражение ее лица. На глазах ее выступили слезы. Нежное, похудевшее личико слегка покраснело.

– О, Адель, – сказала она, стараясь улыбнуться, – что ты болтаешь!

– Юлиана, милая, – бросилась к пей Адель, – Ведь мы друзья с князем... Разве он осудит тебя за то, что ты тоскуешь об отце?

– Нет, нет, – живо проговорил князь, с невольной нежностью глядя на печальную Юлиану. Несмотря на свои собственные печали, он вдруг почувствовал искреннее волнение при виде этих детски ясных глаз, полных еле». – Нет, – говорил он. – Я понимаю вашу тоску, баронесса, здесь, на чужой стороне, сре-

ди чужих людей...

– О, вы понимаете, – с грустной улыбкой произнесла Юлиана, глядя на него печальными глазами. – Да, – в волнении продолжала она, – здесь все чужие...

– А я е братом, – воскликнула Адель.

– Да, ты с братом, – тихо сказала Юлиана. – А кругом... Как грустно было мне на балу у канцлера, – продолжала она. – Как я чувствовала себя одинокой. О, никогда так не чувствуешь своего одиночества, как среди чужих веселых людей... Вам, наверное, было веселее, чем мне, князь, – закончила она.

Арсений Кириллович слегка покраснел. Ему почему-то стало еще тяжелее.

– Мне недолго было весело, – тихо ответил он.

Юлиана пристально взглянула на него и сейчас же опустила глаза. Она уловила в его голосе как бы отзвук страдания и, как ни странно, почувствовала словно облегчение. Но Шастунову надо было идти в караул. Он встал.

– Прощайте же, – сказала Юлиана. – Вы ведь знаете, что среди чужих и холодных лю-

дей вашей родины вы – наш единственный друг, – тихо добавила она.

– И верьте, баронесса, – друг верный и надежный, – с теплым искренним чувством ответил Шастунов, пожимая тонкую, трепетную руку Юлианы.

– Вы можете приходите к нам, – сказала Адель. – Вы знаете, что у нас отдельные апартаменты и отдельный вход. Артур так любит вас. Он скоро совсем будет вашим товарищем. Императрица хочет определить его к вам в лейб – regiment.

– Передайте вашему брату, – ответил Арсений Кириллович, – что я тоже люблю его и что все мы будем рады такому товарищу.

Милое, дружеское внимание девушек было отрадно Арсению Кирилловичу, и, сидя в караульной, слабо освещенной зале, он невольно вспоминал и печально – нежное лицо Юлианы, и оживленное личико Адели. Он смутно угадывал чувства, волновавшие Юлиану, но тут же в его душе вставало другое, прекрасное лицо с томным взглядом неотразимых черных глаз, и его сердце снова болело тоской, ревностью, сомнениями.

«Да, мне надо было беречься черных глаз!» – со злобой и тоской думал он, и словно раздражение поднималось в его душе против Бриссака. Он сказал меньше, чем знал!..

XXII

Дежурный по караулам Алеша Макшеев поздно ночью объезжал заставы, Сидя в маленьких санках, с конным вестовым за ним, плотно завернувшись в меховой плащ, он ругал в душе все и всех. И мороз, и ветер, и фельдмаршала Михаила Михайловича, назначившего его в наряд, и графа Матвеева, у которого за вином и картами он провел всю ночь, не смыкая глаз, и свою службу.

«Дьяволы, – думал он, не относя ни к кому в особенности этого лестного титула. – Тут и абшида не получишь! Велика честь, что дворянин, – так и служи! Мудрит Верховный совет; что бы этим господам дать нам волю: хочешь – служи, хочешь – нет. Ей – ей, завтра же взял бы полный абшид – и гайда к отцу! Надоели, черти! Не служба, а прямо регервигские крепостные работы. Хоть бы раз дали, анафемы, выспаться!..»

Он плотнее закутался в плащ и торопил своего возницу. Действительно, было холодно, дул пронзительный ветер. На улицах было темно.

Алеша подъехал к Тверской заставе. В караульном доме горели огни. Казалось тепло и уютно.

«Баста, – подумал Алеша. – Последняя застава. Не может быть, чтобы у порядочного сержанта не нашлось чего выпить! Выпью и тут же завалюсь спать».

У всех застав, по распоряжению фельдмаршала, стояли офицерские караулы.

Макшеев не ошибся. Караульным офицером оказался сержант Преображенского полка Федя Толбузин, как все гвардейские офицеры, приятель Алеши.

Толбузин сидел за столом и грустно в одиночестве осушал стоявшую перед ним пузатую бутылку с гданьской водкой. Он радостно бросился навстречу Алеше.

– Ну, черт, давай выпить, закоченел, – вместо приветствия произнес Алеша.

– Еще бы, – весело ответил Толбузин. – Тебя как раз и не хватало.

Алеша сбросил на скамейку свой плащ.

– Экая собачья служба, – произнес ой, выпивая стаканчик.

– Да, радоваться нечему, – ответил Толбузин, вновь наполняя стаканчики. – Что, кончил объезд? – спросил он.

– Кончил, – ответил Алеша. – Ну их к дьяволу!..

– Ну, и ладно, – сказал Толбузин. – Перекинемся в кости, а?

И он полез в свою походную сумку.

– Вижу, брат, ты человек запасливый, как и надлежит настоящему офицеру, – ответил Алеша. – Только дудки. Наигрался. Спать к тебе приехал.

– Эк ты какой! – с разочарованием произнес Толбузин.

– Всю ночь глаз не сомкнул у Федьки Матвеева, – продолжал Макшеев. – Всё в карты играли. Будь они прокляты!

Он улегся на койку Толбузина и покрылся своим плащом.

– А ты, брат, можешь примоститься и на скамье, – смеясь, сказал он. – Знай наших, почитай начальство.

– Ах ты, леший, леший, – качая головой, проговорил Толбузин. – Ну, да ладно, спи.

– То♦то же, – отозвался из♦под плаща Алеша.

Не прошло и нескольких минут, как раздался его храп.

Толбузин вздохнул, вынул из сумки серебряный стаканчик и кости и начал играть сам с собой. Играл он довольно долго и так увлекся игрой, что не заметил вошедшего унтер-офицера.

– Федор Александрович, – произнес унтер-офицер. – Выйти надо, едут.

– А, – очнулся Толбузин. – Это ты, Ваня.

Ваня тоже был дворянин, приятель Толбузина, и со дня на день ожидал производства в сержанты.

– Кого еще несет нелегкая! – с досадой продолжал Толбузин.

– А дьявол их знает, – ответил Ваня. – Кареты, кибитки да подводы с людьми.

– Поди♦ка, Ваня, да возьми у них паспорта, – сказал Толбузин.

Ваня вышел. Через несколько минут он вернулся в сопровождении высокого старика

в богатой шубе. Толбузин встал. Старик вежливо поклонился ему и, подавая бумагу, что♦то заговорил по – немецки.

«Лопочи, лопочи, – с тоской подумал Толбузин. – Ни слов твоих, ни чертовых бумаг все едино не пойму!»

Однако он любезно улыбнулся и знаком попросил старика сесть.

«Надо, однако, разбудить Алешку, тот разберет», – решил он.

– Алеша, вставай! – крикнул он, сдергивая с Макшеева плащ.

Алеша вскочил, протирая глаза.

– Разве уж утро? Вот те и выспался.

Толбузин объяснил ему, в чем дела.

Старик привстал и снова поклонился. Макшеев живот пришел в себя и, ответив учтивым поклоном, взял в руки бумаги. Это были немецкие паспорта, выданные в Митаве. Он внимательно рассмотрел бумаги и из них увидел, что путешественниками были барон Оттомар – Густав Левенвольде и граф Кройц со слугами.

Макшеев обратился к старику с просьбой сообщить, для какой цели они едут. Старик

сказал, что они едут к императрице, в качестве депутатов от лифляндских ландратов, поздравить императрицу с восшествием на престол и ходатайствовать перед ней о сохранении лифляндских привилегий. Вглядевшись попристальнее в лицо молодого офицера, старик сказал:

– Я имел честь уже видеть вас в составе делегации, привезшей императрице весть об ее избрании.

Макшеев сразу вспомнил. Он улыбнулся и, протягивая руку, произнес:

– Как же, как же, я хорошо помню вас, барон, помню и графа Кройца. Но скажите, кто этот Левенвольде, что едет с вами? При дворе императрицы есть обер – гофмаршал Левенвольде. Он не родственник?

– Он брат графа Рейнгольда, – ответил барон. – Бывший камер – юнкер двора герцогини Курляндской и один из знатнейших ландратов. Он хотел воспользоваться случаем повидаться с единственным братом, с которым он не виделся уже много лет.

Какое ♦ то смутное подозрение шевельнулось в душе Макшеева. Трое бывших прибли-

женных Анны едут к ней. Он знал, что она обещалась не брать с собой своих придворных чужестранцев. Но вместе с тем они ехали в качестве депутатов. Имел ли он право не пропустить их?

– А скажите, – вдруг спросил он, – где этот, как его, приближенный императрицы камер – юнкер... да – Бирон?

Словно тревога отразилась на лице барона, но он сейчас же спокойно ответил:

– Мы не имеем о нем никаких сведений, господин офицер.

Макшеев колебался недолго.

«Я пропущу их, – решил он, – и завтра утром доложу об этом фельдмаршалу».

– Хорошо, – громко сказал он. – Вы можете въехать в Москву, барон. Где вы остановитесь?

Оттомар казался смущенным.

– С нами едет человек, который хорошо знает Москву и обещал нас устроить...

– А, – произнес Макшеев и, обращаясь к Толбузину, добавил: – Пропусти их, Федя, да пошли непременно за ними моего вестового. Пусть доглядит, куда они поедут.

– Вы свободны, барон, счастливого пути.

Барон поблагодарил, поклонился обоим офицерам и вышел.

– Кто это? – спросил Толбузин.

Макшеев объяснил ему.

– Да, – заметил Толбузин, – скоро, кажется, сюда переселятся все ее немцы.

– Не полагаю, чтобы и этих долго потерпели на Москве, – ответил Алеша. – Сон они разогнали – это правда. Перекинемся♦ка в кости, Федя!

Прижавшись в самый угол возка, укутанный в простой овчинный тулуп, сидел Бирон. Он держал на коленях хорошо укутанного, крепко спящего Карлушу. Рядом с ним дремал Петр, а против, тоже в овчинном тулупе, сидела Бенигна с трехлетней Гедвигой на руках. Девочка тоже спала.

Бирон весь дрожал мелкой дрожью. Ему показались веком те полчаса, что они стояли у заставы. Бенигна слышала, как изредка стучали зубы Бирона. Если бы было светло, она увидела бы бледное, искаженное страхом лицо мужа.

– Эрнст, – шепотом начала она.

– Молчи, молчи, – испуганно произнес он.

Бенигна покорно замолчала.

Бирону казалось, что звук его голоса может выдать его. Ему казалось, что со всех сторон он окружен незримыми врагами, сторожащими чуть ли не каждый вздох его.

Наконец они тронулись. Бирон облегченно вздохнул. Вот он в Москве. Так близко от той, кто еще недавно была его любящей и преданной подругой, видевшей в нем и в этом младенце, мирно спящем на его коленях, все счастье своей темной жизни! И так же близко от страшных врагов, от которых он не мог ожидать пощады!

Минутами страх до такой степени овладевал им, что он проклинал Густава, заставившего его ехать сюда, и готов был бы вернуться назад в Митаву, если бы был уверен в своей безопасности. Но дело было сделано. Он в Москве. Назад нет пути. Надо ждать и надеяться.

А между тем Якуб от самой заставы поскакал к графу Рейнгольду сообщить ему о прибытии депутации и спросить, куда ехать. Отъ-

ехав недалеко от заставы, Густав велел остановиться под предлогом поправить упряжку лошадей, на самом же деле – в ожидании Якуба.

Верные слуги делали вид, что поправляют упряжь, и вестовой, которому было поручено Толбузиным следить за приезжими, остановился невдалеке.

Рейнгольд боялся не меньше Бирона и, ругая на чем свет стоит своего брата и Остермана, указал Якубу, куда они должны ехать, и обещался сам встретить их у дома, ключи от которого были у него.

Забрав человека, он действительно поехал в нанятый дом. Его человек отпер ворота, потом осветил внутри дом. Рейнгольд сторожил гостей у ворот, прячась за забором и закрывая лицо плащом, хотя на улице было совсем темно.

Впереди, указывая путь, ехал Якуб. Когда он поравнялся с воротами, Рейнгольд тихо окликнул его и указал, куда поворачивать. Сам же поспешил в дом.

Слуги торопливо распрягали лошадей и от-

водили их в конюшни, другие вносили в дом багаж.

Бенигна с истинным наслаждением осматривала нарядную спальню, хорошо натопленную, ярко освещенную. Она с обычной заботливостью накормила детей и укладывала их спать в чистые, мягкие постели. Она сама тоже чувствовала себя усталой и хотела спать.

В столовой за обильно сервированным столом сидели мужчины. Рейнгольд отослал слуг.

– Ну, теперь говори, – произнес Густав спокойным голосом.

– Если ты думаешь услышать что-либо приятное, – раздраженно начал Рейнгольд, – то ты очень ошибаешься. Не знаю, право, на что надеется Остерман, подводя нас под топор!..

При этих словах Бирон побледнел. Это доставило Рейнгольду видимое удовольствие. По крайней мере, не один он боится.

– Да, – продолжал он. – Вы все и Остерман можете быть покойны. Вы представители ландратов, вроде послов, вам ничего не сделают. Но вот чьи головы непрочны, – он указал

на свою голову и на Бирона.

И Рейнгольд с жаром, в самых мрачных красках описал положение. Присяга принесена. Всякая власть у императрицы отнята! Немногочисленные ее сторонники притихли. Сама императрица через него, Рейнгольда, сообщила Остерману, что отказывается от всякой борьбы и просит на нее не надеяться, так как она совершенно бессильна. А этот упрямый старик все хочет заставить ее поступить по – своему даже после того, как все его первоначальные планы погибли!

Бирон слушал слова Рейнгольда, как слушают смертный приговор. Барон Оттомар и граф Кройц слушали внимательно и спокойно. Им действительно нечего было бояться. Самое большое, что могли с ними сделать, – это попросить поскорее уехать обратно.

– О, Густав, Густав! – в отчаянии воскликнул Бирон. – Ты погубил меня! Зачем, зачем я послушал тебя! Может быть, действительно этот проклятый старик сошел сума!.. Или нарочно хотел заманить меня сюда, чтобы выдать князю Долгорукому!..

Бирон схватился за голову и как помешан-

ный забегал по комнате. Густав глядел на него с холодной усмешкой.

– Ты опять обращаешься в бабу, Эрнст, – сухо сказал он. – Я говорю тебе, что только один Остерман мог придумать то, что придумал он. Неужели ты думаешь, что мой прекрасный брат что-нибудь понимает? Это не его ремесло, – презрительно добавил он. – Я завтра же увидаю Остермана. А теперь, я полагаю, надо спать. А вас, господин обер – гофмаршал, я буду иметь честь просить завтра доложить императрице, что депутация от ландратов униженно ходатайствует об аудиенции у ее величества.

Рано утром Макшеев явился с рапортом к фельдмаршалу Михаилу Михайловичу. Фельдмаршал внимательно выслушал его, и по его грозно сдвинутым бровям Макшеев понял, что он недоволен приездом таких гостей.

Фельдмаршал поблагодарил его и отпустил. Макшеев радостно помчался домой, мечтая о теплой постели. А Михаил Михайлович поспешил в Верховный совет на очередное заседание.

В то же утро Густав Левенвольде посетил Остермана. По обыкновению, ему сказали, что вице – канцлер серьезно болен и никого не принимает. Его встретил Розенберг. Но Густав попросил передать барону несколько слов, которые тут же написал на клочке бумаги. Эти несколько слов были: «Густав просит господина барона принять его».

Розенберг был немало удивлен, когда Остерман с не? обычным оживлением, бодрым и энергичным голосом приказал немедленно проводить в кабинет гостя. Свидание наедине продолжалось часа два. Розенберг

был удален.

Густав уехал, как всегда, внешне спокойный и холодный, а Остерман после его ухода позвал Розенберга и жену и заявил, что ему хуже. Его уложили в постель. Старик стонал при каждом движении и казался совсем умирающим.

Во дворце был назначен малый прием. Императрица знакомилась со своими подданными. Приехавшие в Москву чины генералитета, богатые помещики, вице – президенты коллегий добивались чести быть ей представленными.

Как обер – гофмаршал, Рейнгольд накануне докладывал ей список лиц, всеподданнейше ходатайствующих об аудиенции.

Императрица равнодушно проглядывала список. Но вдруг ее апатичное, вялое лицо оживилось.

– Граф, – воскликнула она. – Что ж ты молчал! Приехали твой брат, барон Оттомар, граф Кройц. Когда они приехали?

– Сегодня утром у меня был брат, – ответил Рейнгольд. – Он приехал во главе депутации

ландратов принести вашему величеству всеподданнейшие поздравления с восшествием на прародительский престол и ходатайствовать о подтверждении лифляндских привилегий.

Императрица взволнованно встала с места. Тысячи воспоминаний теснились в ее сердце.

– Конечно, – воскликнула она, – я завтра приму их. Скажи своему брату, что он – желанный гость. Он приехал оттуда... Что там? Как живут там мои друзья? – в волнении говорила Анна.

– Ваши курляндские подданные, радуясь вашему великому жребию, ваше величество, оплакивают свою участь, так как лишены счастья лицезреть вас, – ответил Рейнгольд.

– Завтра, завтра, – повторяла Анна, глубоко взволнованная. – Пусть депутация непременно будет завтра. Я хочу скорее видеть их...

Рейнгольд поклонился.

Анна сидела в тронном кресле. У ступеней трона стояли ее фрейлины и статс – дамы. По бокам тронного возвышения поместился по-

четный караул в составе кавалергардов и нескольких офицеров лейб – регимента, среди которых был вновь назначенный в полк Артур Вессендорф.

Депутация медленно приблизилась к трону.

Юлиана не знала, что сегодня увидит своего отца. Старый барон не мог известить ее о своем приезде, а другим не было дела до маленькой Юлианы. Она чуть не вскрикнула, когда вдруг узнала высокую фигуру отца. Она сделала движение броситься к отцу, но Адель вовремя схватила ее за руку.

– Я счастлива видеть при нашем дворе моих друзей, – раздался взволнованный голос императрицы.

Члены депутации низко поклонились, и Густав своим ровным, спокойным голосом ответил:

– Мы прибыли, всемилостивейшая государыня, повергнуть к подножию вашего трона чувства преданности, одушевляющей вашу Курляндию, и просить милостивого внимания вашего величества...

И Густав изложил ей ходатайство ландра-

тов. Императрица поблагодарила депутацию за приветствие и прибавила:

– Все будет сделано по вашему желанию.

Она милостиво протянула руку. Поднявшись на ступени трона, Густав преклонил колено и поцеловал руку императрицы.

Рейнгольд наблюдал за братом и императрицей и думал:

«Какая ловкая bestия Густав, как он спокоен, как рада императрица! Она, очевидно, сгорает нетерпением получить сведения о ее возлюбленном Бироне... Что что будет дальше?»

Действительно, Анна имела наготове тысячу вопросов, но не могла предложить их сейчас. Приказать Густаву явиться к ней после общей аудиенции она боялась. Она боялась недовольства Василия Лукича и других членов совета, не желавших, чтобы она поддерживала сношения со своим прежним двором. Ее взгляд упал на взволнованное личико Юлианы, и ее осенила мысль.

– Барон, – обратилась она к Оттомару. – Я вижу ваше отцовское нетерпение, я разрешаю вам обнять вашу дочь.

Старый барон покраснел, а Юлиана сделала ему шаг навстречу.

Не давая воли своему сердцу, барон сдержанно поцеловал дочь и глубоко поклонился императрице.

– Вы сегодня же можете навестить свою дочь, – милостиво произнесла императрица.

Это был способ получить все желаемые сведения. Кроме того, императрица чего-то смутно ждала. Ей казалось, что умный и дальновидный Густав недаром, не просто как депутат приехал сюда.

По окончании аудиенции барон, пользуясь разрешением императрицы, прошел к дочери через целый лабиринт дворцовых зал и коридоров. Он очень нежно и заботливо расспрашивал Юлиану об ее жизни и здоровье, обратил внимание на то, что она похудела и побледнела, но Юлиана успокоила его, сказав, что она очень устала; она все время при императрице, а теперь каждый день даются такие же, как сегодня, аудиенции. И скучно и утомительно, так как приходится подолгу стоять.

Барон, успокоившись насчет дочери, види-

мо, был занят какой-то мыслью. Он с любопытством осматривал покои фрейлин. Юлиана повела его по всем комнатам.

– Так ваши комнаты имеют прямое сообщение с покоями императрицы? – с любопытством спросил барон.

Юлиана объяснила. Вот тут зала, из нее длинный коридор ведет в гардеробную императрицы, дальше находится помещение Анфисы, потом пустая комната, а за нею кабинет государыни.

Помещение фрейлин состояло из трех комнат: общей спальни, столовой и гостиной. Горничные жили внизу. Из столовой тоже вел коридор, упирающийся в помещение Артура. У Артура было две комнаты. Это крыло дворца имело со двора свой маленький особый подъезд. «Так что Артур может возвращаться когда угодно, и этого никто не узнает», – смеясь пояснила Адель.

Барон очень внимательно выслушал эти сообщения.

Ему не удалось долго посидеть у дочери: за ним прислала императрица.

– Я найду к тебе, Юлиана, вечером, – сказал

он, целуя дочь. – Это, может быть, будет очень поздно, но я прошу тебя не ложиться спать и ждать меня. Непременно, Юлиана, – выразительно добавил он.

Хотя Юлиана и была несколько удивлена словами отца, но, смеясь, ответила:

– О, мы всю ночь будем ждать тебя, отец. Ведь правда, Адель?

– Барон может быть спокоен, – подтвердила Адель, делая барону низкий реверанс. – Я не дам Юлиане спать.

– Не засни сама, – отозвалась Юлиана.

Барон еще раз поцеловал дочь, пожал руку Адели и поспешил к императрице.

– Боже, Боже, что вы со мною делаете! – в отчаянии восклицал Бирон, как безумный бегая по комнате. – Да будет проклята эта страна! Я не могу, я не могу, Густав! – твердил он, останавливаясь перед Левенвольде и складывая на груди руки.

Его красивое лицо было теперь почти безобразно, искаженное отчаянием и ужасом. Светлые глаза с нерасширяющимися зрачками совсем выкатились из орбит и имели ди-

кое, бессмысленное выражение.


– Если бы тебя сейчас увидела императрица, – холодно произнес Густав, – твоя карьера была бы кончена раз и навсегда.

– Пусть бы лучше она никогда не видела меня! – воскликнул Бирон, хватаясь за голову.

– Оно, конечно, было бы лучше, – пренебрежительно ответил Густав. – Ты бы занялся своим любимым делом: объезжал бы лошадей курляндских баронов, и тебя хлестали бы, как лошадь. Ты, кажется, рожден для этого.

Последние слова Густава, словно удар кнута, подействовали на Бирона.

– Делай, что хочешь, – сказал он, бледнея от обиды и ужаса.

– Так то лучше, – спокойно произнес Густав. – Значит, идешь?..

– Хоть к черту на рога! – закричал в исступлении Бирон. – Вы вовлекли меня в адскую западню! Вы играете мною! Мне нет спасения! Ни туда ни сюда! Будьте вы прокляты!..

– Ты совсем сошел с ума, Эрнст, – холодно сказал Густав. – В тебе нет даже простого достоинства мужчины. – Он с нескрываемым презрением смотрел на Бирона. Одушевляясь,

продолжал: – За тобой темное, жалкое прошлое, твое настоящее ничтожно, а в будущем неизмеримое могущество, царственные почести, богатство, всеобщее преклонение, и ради такой ставки ты боишься рискнуть только своей красивой головой, жалкий человек! Да я не одной, а двадцатью жизнями рискнул бы, если бы имел их в запасе!

– Ну, хорошо, я сказал уже, что согласен, – упавшим голосом ответил Бирон, махнув безнадежно рукой.

– Ну, и отлично, – отозвался Густав.

Он хлопнул в ладоши. В комнату вошел Якуб.

– Одеться господину Бирону, – коротко приказал Густав.

Якуб, отпущенный Рейнгольдом, как ловкий и смелый человек, в распоряжение брата, уже знал, в чем дело.

Через несколько минут он явился, неся в руке одежду. Это был полный костюм придворного лакея. Бирон весь дрожал, пока его одевал Якуб.

– Позови барона, – сказал Густав, когда Бирон был готов.

– Мы готовы, барон, – слегка насмешливо обратился он к вошедшему брату.

Барон окинул взглядом жалкую фигуру, стоявшую перед ним в лакейской ливрее, и пренебрежительная гримаса появилась на его старом, мужественном лице. «Нет, недаром, – промелькнуло в его мыслях, – мы не хотели признавать его курляндским дворянином. К нему слишком идет лакейская ливрея».

Якуб, стоя в стороне, ждал приказаний.

– Иди, – обратился к нему Густав. – Спроси, готов ли ребенок?

Якуб вышел. Настало тягостное молчание.

– Я могу погибнуть, – глухим голосом начал Бирон, – но я не хочу губить ребенка.

– Дурак! – резко произнес, отворачиваясь, Густав.

В его сердце кипела завистливая злоба. Если бы он был на месте Бирона, эта ливрея казалась бы ему почти царским пурпуром.

Через несколько минут в комнату вошла Бенигна, неся на руках укутанного Карлушу. Ребенок не спал и ясными глазками смотрел с любопытством по сторонам и беспомощно,

жалко старался освободить из под одеяла свои ручонки.

Глаза Бенигны были заплаканы. Она крепко, несколько раз поцеловала ребенка и молча подала его Бирону. Бирон принял его дрожащими руками.

– Не урони, – презрительно сказал Густав. – Ну, пора, с Богом! Якуб, проводи!

Кажется, никогда тоска Анны не достигала такой силы, как в вечер того дня, когда она принимала депутацию ландратов. Мучительные и сладостные воспоминания с необычайной силой овладели ею. Она вспомнила свою жизнь в Митаве. Она забыла все унижения, претерпенные ею от петербургского двора, бедность и зависимость. Она помнила только одно: что в то время ее сердце знало счастье. Этот Густав в свое время тоже был дорог ей. А потом? Ее сердце, сердце женщины, для которой уже прошла молодость с ее легкими и страстными увлечениями, всей силой привязалось к Бирону. Маленький Карл еще сильнее скрепил эту связь. Она чувствовала, что не сможет никогда позабыть этих двух су-

ществ, безраздельно овладевших ее сердцем.

Склонившись головой на край стола, на котором валялись поданные ей сегодня ненавистным Василием Лукичом указы Верховного совета, Анна глухо рыдала. Она была одна, наконец одна! Для нее наступил тот час, когда она сбрасывала с себя императорскую мантию и оставалась просто одинокой, страдающей женщиной.

Словно скрипнула дверь.

Анна не подняла головы. Это, наверное, пришла ее преданная Анфиса. Она сейчас услышит ее грубо – ласковый голос: «Опять плачешь? Шла бы лучше спать; утро вечера мудренее...».

Но вдруг почти одновременно со скрипом двери послышался тихий детский плач, такой милый, сонный, знакомый... «Это он», – подумала Анна и вскочила с места.

В первое мгновение она окаменела от ужаса. На пороге комнаты стоял человек в костюме лакея и с жалкой улыбкой смотрел на нее, протягивая к ней ребенка. Но в следующее же мгновение из груди Анны вырвался пронзительный крик:

– Эрнст! Карлуша!

Этот крик пронзил ночную тишину, проник в комнаты фрейлин и заставил их вздрогнуть.

Со страстной радостью Анна вырвала из рук Бирона ребенка.

В первую минуту мать победила в ней любовницу.

– Тантанна, тантанна, – радостно твердил ребенок, протягивая к ней худенькие, красные ручонки.

Анна положила его на диван, сняла окутывавшие его одеяла и, плача от радости и умиления, целовала его ножонки, ручки, все его розовое маленькое тельце, ребенок, смеясь от ее щекочущих поцелуев, щурился на яркий огонь лампы и старался схватить ее за пышную прическу, лепеча:

– Тантанна, тантанна...

Первый порыв материнского чувства прошел, и Анна горячо обняла Бирона. Он упал на колени, словно ища защиты, и целовал ее руки и складки ее платья. И в этих поцелуях были не любовь, не радость встречи после тяжелой разлуки, а радость раба, нашедшего в

минуты опасности своего господина, могущего защитить его и спасти от этой опасности.

Прерывающимся голосом говорил ей Бирон о своих страданиях в разлуке с ней, что он рискует жизнью, чтобы увидеть ее, что не мог жить без нее!.. Анна, крепко прижав его голову к своей груди, упивалась его словами.

И Густав и Остерман пришли бы в восторг от поведения Бирона. Этот пламенный любовник еще так недавно проклинал и любовь к нему императрицы, и тех людей, которые доставили ему счастье видеть ее сейчас!

Но Анна не знала этого. Она видела перед собою только любимого человека, рисковавшего жизнью, чтобы увидеть ее, прошедшего через тысячу опасностей и подставлявшего свою голову под топор из любви к ней.

– Нет, – страстно воскликнула она, вскакивая с пылающим лицом и сверкающими глазами. – Нет, клянусь его невинной головой, – она указала на Карлушу, – они не посмеют тронуть тебя! Раньше им надо будет сорвать корону с моей головы и перейти через мой труп! Я все же императрица всероссийская! Со мной нелегка будет им борьба! Быть мо-

жет, я не так одинока, как думают они! Она вспомнила письмо Остермана и начертанный им план действий. По мере ее слов Бирон ободрялся. Страх его мало – помалу уступал место надеждам. «Левенвольде прав, – пронеслось в его голове. – За это стоит побороться. Старица Остерман, видно, и в самом деле не выжил еще из ума».

– Ты останешься во дворце, – энергично говорила Анна. – В комнатах Вессендорфа. Мои фрейлины позаботятся о Карлуше.

Она позвонила. Вошла Анфиса, все время подслушивавшая у дверей. Карлуша тихо дремал.

– Снеси ребенка к фрейлинам, – приказала Анна. – Пусть они позаботятся о нем. Да поосторожнее, дура, – добавила она, когда ребенок что-то жалобно пробормотал.

Она нежно, едва касаясь губами, поцеловала Карлушу и сама открыла дверь Анфисе.

Юлиана и Адель с братом уже знали, в чем дело. Оттомар должен был посвятить их во все. Когда Анфиса принесла ребенка, они обе пришли в восторг и умиление.

Исполнив свою миссию, Оттомар ушел.

Юлиана уступила свою постель Карлуше и, придвинув вплотную к ней постель Адели, легла вместе с подругой.

XXIV

На другой же день, энергичная, оживленная, как никогда, Анна велела позвать к себе Черкасского. Исполняя программу Остермана, Анна убедила Черкасского подать лично ей свое особое мнение о государственном устройстве. Намекнула, что при таком уме и опытности князю не годится идти в поводу у верховников. Что, если бы она располагала властью, она, конечно, поставила бы его в первые ряды, хотя бы на смену графу Головкину, который что-то сильно одряхлел в последнее время.

Возвращаясь домой, Черкасский думал: «А ведь это верно. Пусть верховники идут своим путем. Я пойду своим. Канцлер! – самодовольно думал он. – Это важно. И было бы всего лучше, кабы правила она по старине... А я был бы канцлером. Кому это мешает? Нет, прав наш пиит Кантемир. В самодержавии спасение. Надо поговорить с ним да с Татище-

вым. Канцлер? Шутка ли!..»

Затем императрица приказала позвать Матюшкина.

С умным Матюшкиным говорить было труднее. Но и тут Анне удалось одержать победу. Она начала словами, что относится к Михаилу Афанасьевичу с полной доверенностью, как к родственнику и человеку, едино думающему о благе отечества. Затем указала, что твердо решила уступить часть своей власти выборным, но что она боится, как бы этим не воспользовались, исключительно в своих выгодах, две знатные фамилии: Голицыны и Долгорукие. Что как бы в новом государственном устройении она не обошла вовсе шляхетства.

Это было больное место Матюшкина. Он сам боялся этого, но Дмитрий Михайлович убедил его, что это не так, и они вместе теперь работают над общим проектом.

– Тебе бы следовало быть в Верховном совете, – сказала Анна, – и кроме того – фельдмаршалом. Сам знаешь, выше полковника никого пожаловать не могу. Вот и остаются истинные заслуги без награды, а то быть бы

тебе фельдмаршалом.

Это тоже было больное место Матюшкина.

– Мало ли что они говорят, – продолжала Анна. – Много они о себе думают. Обещают одно, сделают другое. Когда будут знать, что известен мне твой проект, то тогда лучше подумают о шляхетстве. Так ♦ то, Михаил Афанасьевич. Подумай, я тоже блага хочу. Что князя, что служилое шляхетство – одинаково дороги мне. Подумай ♦ ка! Князь Михаил Алексеевич к тому же склоняется...

Матюшкин уехал от Анны поколебленный. «Не лучше ли в самом деле представить свой проект без всякого соглашения? Хуже не будет, а для шляхетства может быть лучше... Надо потолковать с Григорием Дмитриевичем».

Гений интриги торжествовал.

Разговор с Анной дал последний толчок князю Черкасскому.

Он всегда в душе был на стороне самодержавия, но под влиянием близких людей, особенно Татищева, примкнул к шляхетству. Но теперь он решил не отказываться от своего

проекта; но не очень и отстаивать его и стараться возможно большему числу своих сторонников внушит» мысль, что императрица гораздо больше заботится о шляхетстве, чем верховники. В этом он надеялся на Кантемира.

Антиох Дмитриевич Кантемир был убежденным сторонником самодержавия и, кроме того, лично ненавидел Голицына. Талантливый и красноречивый Кантемир имел большое влияние как на князя, так и на гвардейскую и аристократическую молодежь.

Прием императрицей Черкасского, его колебания и ее слова быстро стали известны среди сторонников самодержавия и оживили их надежды. Их деятельность приняла лихорадочный характер. Кантемир уже набрасывал втайне челобитную императрице о восстановлении самодержавия. У Салтыкова, Волкогонского, секретаря Преображенского полка Булгакова – везде, и днем и ночью; собирались в большом количестве гвардейские офицеры. На собраниях у Семена Андреевича большое впечатление производили речи старика Кирилла Арсеньевича. Эти речи дышали

глубокой убежденностью. Старый князь, один из видных деятелей времени Петра, прямой и смелый, не побоявшийся даже грозного царя в страшные дни суда над царевичем Алексеем, дрожащим от волнения голосом обращался к представителям гвардии.

– Вы, – говорил он, – цвет славной гвардии, покрывшей славой российские знамена, созданной Великим Петром, ужели вы покрывали Россию славой и укрепляли престол для того, чтобы бросить наследие великого царя и свою славу в добычу жадным честолюбцам?!

Эти речи разжигали молодежь.

С другой стороны, Остерман, узнав все подробности происшедшего и впечатление, произведенное на Анну приездом Бирона, ее мгновенно вспыхнувшую решимость на борьбу, потирал от удовольствия свои крючковые руки. Его дальновидные и тонкие расчеты блистательно оправдались.

Боевое настроение этой части гвардейских офицеров росло. Уже с трудом приходилось сдерживать их бунтующую силу. Как натравленные звери, смотрели они на верховников, готовые броситься и разорвать их.

Остерман лихорадочно работал. Он направлял Густава, сносился с императрицей, с Салтыковым, Салтыков – с Черкасским, Черкасский передавал Кантемиру, Кантемир – адъютанту фельдмаршала Трубецкого Гурьеву, тот Бецкому, Бецкий – своим друзьям – офицерам, те – товарищам по полку. Получалась целая сеть, концы которой находились в руках Остермана и которую он мог стянуть в любой момент, и он ждал терпеливо и уверенно этого момента.

Перемена настроения императрицы, уклончивое поведение Черкасского, брожение в гвардии, новые широкие требования Матюшкина явились неожиданностью для верховников. Через преданных людей они узнали и о тайных собраниях у Салтыкова, Барятинского, Волкогонского, и о том, что говорилось там, и о воинственном настроении большинства кавалергардов и некоторой части офицерства других полков, в особенности Семеновского и Преображенского.

– Семеновцы забыли, что я спас их честь и знамя под Нарвой, – с горечью заметил фельдмаршал Михаил Михайлович.

– Императрица за нас, – отвечал Дмитрий Михайлович. – Пусть говорят: поговорят и перестанут.

Василий Владимирович предлагал решительную меру: перевести немедленно гвардию в Петербург. Но это казалось опасным Дмитрию Михайловичу. На глазах фельдмаршалов гвардия не так страшна. Не следует раздувать их враждебное отношение.

Алексей Григорьевич Долгорукий совсем притих. Редко являлся среди верховников. Он знал, что его особенно не любили среди гвардии со времен фавора его сына.

Еще одно поразило Верховный совет. Императрица очень мягко, но решительно и настойчиво попросила Василия Лукича оставить дворец. Его апартаменты нужны ей. Она хочет расширить свой придворный штат, и ей некуда будет поместить своих новых фрейлин.

Противиться было невозможно. Хотя и ограниченной в самодержавных правах, но все же императрице нельзя было отказать в праве быть хозяйкой в своем собственном доме.

Воздух сгущался. Надо было ждать грозы. Становилось тяжело дышать. Что♦то творилось, что♦то назревало...

Фельдмаршалы ездили по полкам. Но если в армейских полках фельдмаршалов, в особенности Михаила Михайловича, встречали восторженными криками, то Семеновский и Преображенский полки встречали их сдержанно и холодно. Мрачные и задумчивые возвращались они домой...

Степан Васильевич Лопухин в эти тревожные дни не знал ни сна, ни покоя, Он был одним из деятельнейших сторонников самодержавия. Он тоже вербовал себе сторонников среди лиц, посещавших царицу Евдокию, но главное значение его было как связующего звена между светскими сторонниками самодержавия и духовенством; Искусно направляемый Феофаном, он действовал очень успешно в этом направлении. Духовенство было страшной силой, и уверенность в его поддержке значительно увеличивала надежды сторонников самодержавия. Через Салтыкову он успел передать об этом императрице, и Анна чувствовала, что мало – помалу в ее руках

сосредоточивается настоящая, действительная сила. Высокий авторитет духовенства в глазах народа, многочисленные сторонники среди военных – это было грозное оружие в ее руках. Быть может, это оружие выбили бы из ее рук верховники, но ее слабую руку направлял Остерман, который все знал, все учитывал, взвешивал и умел наносить ловкие, замаскированные удары своим врагам.

Степан Васильевич почти не бывал дома и мало разговаривал с женой. Со времени своего увлечения Шастуновым, после своего «предательства», теперь казавшегося ей пустяками, Наталья Федоровна не вмешивалась в политику. Успокоенная за свое личное существование, обласканная императрицей, статс – дама двора, она была в высшей степени равнодушна к происходящей политической борьбе; кроме того, она ясно не понимала ее и не представляла себе опасности, какой мог подвергнуться ее муж, а с ним и она сама. В этом отношении она была достойной парой Рейнгольду, так злобствующему за нарушение его покоя какими-то конъюнктурами на своего брата и Остермана.

Кроме того, Наталья Федоровна была слишком занята собой. После бала у Головкина, где она опять видела вокруг себя всеобщее поклонение, видела загорающиеся знакомым ей огнем глаза мужчин и вновь окунулась в ту привычную ей атмосферу лести) увлечения и обожания, где она чувствовала себя настоящей царицей, увлечение Шастуновым утратило в ее глазах значительную часть своей прелести. Он не был, как бывал Рейнгольд, царем бала, имел робкий и неуверенный вид влюбленного юноши и мучил ее несносными расспросами. Его чувство было серьезнее и глубже, чем привыкла она. Рейнгольд никогда не мешал ей жить и старался не замечать ее маленьких увлечений, тем более что после таких «авантюр» она вновь возвращалась к нему, еще более нежная и любящая. Этот же, наоборот, хотел присвоить ее себе всю, без остатка. Он был бы способен жить с ней где-нибудь в глуши, запереть ее в своей родовой вотчине и целый день любоваться на нее. Но зачем тогда молодость и красота? Красота как солнце! Ее нельзя прятать под спудом; надо и другим дать возможность по-

греться в ее лучах! И разве она создана для жизни в терему? Разве Петр для того распахнул терема, чтобы женщины боялись выйти за их порог?

Все эти мысли волновали Наталью Федоровну и поселяли в ней некоторое отчуждение к Арсению Кирилловичу...

Рейнгольд не мог не замечать ее увлечения молодым князем, но ни одним словом не дал ей понять этого. Наталья Федоровна тоже не могла положиться на его верность. Но они понимали друг друга и жили весело и беззаботно как нежные друзья и любовники, не стесняя ни в чем друг друга. Это Наталья Федоровна считала искусством жить.

Рейнгольд редко бывал у нее, и она теперь была несколько раздосадована его видимым равнодушием. Кажется, тревожные дни уже прошли. Он – обер – гофмаршал, бояться нечего... Целые дни и ночи кутит да играет в карты, – с досадой думала она, – мог бы улучшить минуту, чтобы забежать к ней!

Она сидела в своей любимой красной гостиной и от нечего делать подбрасывала с ноги туфлю и старалась поймать ее опять на но-

гу. За этим занятием ее застал Рейнгольд.

Она искренне обрадовалась ему, но сейчас же встревожилась, увидя его расстроенное лицо.

– Рейнгольд, что случилось? – спросила она.

– Самое худшее, что только могло случиться, – ответил Рейнгольд, целуя ее руку.

Она вся насторожилась.

– Что же, Рейнгольд? Кажется, все теперь спокойно, – сказала она.

– Кажется? Да, только кажется, – ответил он угрюмо. – Кажется также, что не сносить мне головы! Она с тревогой смотрела на него.

– Ни мне, ни твоему мужу, ни... да что говорить, – продолжал он в волнении. – Мой братец да этот старый черт Остерман вызвали сюда Бирона! Он теперь во дворце! Императрица сходит с ума из боязни за него!..

– Бирон, – воскликнула Лопухина. – Но ведь она!..

– Она сошла с ума, говорю тебе, – произнес Рейнгольд. – Она впутала меня в это подлое дело. Не сегодня – завтра верховники узнают, что Бирон во дворце императрицы. Они не

остановятся ни перед чем!.. Голова Бирона так же непрочно сидит на плечах, как и моя. Довольно того, – в волнении продолжал он, – что я тогда, как дурак, вмешался в их игру. То прошло незамеченным. А вот теперь этот проклятый старик снова хочет погубить меня...

Лопухина молчала, подавленная.

– Ты только пойми, – продолжал Рейнгольд. – Если верховники узнают, что я послал брату письмо, что я нанимал помещение для Бирона, что я встречал его... Я чужой теперь здесь... Дмитрий Михайлович ненавидит иноземцев... Что же будет!..

И он продолжал говорить, высказывая Лопухиной всю свою злобу на брата и Остермана. Говорил о том, что императрица решила начать беспощадную борьбу с верховниками, что дело может дойти чуть не до междоусобицы, что он сам каждую минуту может быть арестован, если случайно все откроется, что он теперь боится оставаться дома...

– Отчего ты скрывал это раньше? – с упреком спросила Лопухина. В эти минуты в ее душе воскресли в полной силе вся былая неж-

ность и любовь к Рейнгольду. Он стал ей бесконечно дорог при мысли, что ему грозит смертельная опасность.

Рейнгольд безнадежно махнул рукой.

– К чему было говорить! – сказал он. – Все кончено! Разве можно скрыть приезд Бирона? Она поместила его с сыном в своих апартаментах. Она обезумела от любви и ярости. Она готова на все, и она влечет нас всех к гибели!..

Рейнгольд опустился на низенький табурет и закрыл лицо руками. Лопухина наклонилась к нему и нежно обняла его.

В эту минуту слышались в соседней комнате чьи-то уверенные шаги. Это не были шаги лакея, не смевшего входить без зова. Только три человека могли так уверенно входить в ее красивую гостиную. Рейнгольд. Но он здесь. Муж. Но она хорошо знала его тяжелые шаги, сопровождаемые бряцаньем шпор. Шастунов!

Эти мысли мгновенно пронеслись в ее голове. – Рейнгольд, Рейнгольд, – торопливо зашептала она. – Это Шастунов. Адъютант фельдмаршала Долгорукого. Ты очень рас-

строен, уйди... Туда, через спальню, ты знаешь? Я не хочу, чтобы вы встречались, теперь опасно...

И она толкала Рейнгольда к противоположной двери.

«Шастунов? Соперник? Новый враг? Я могу погибнуть...»

Мысли вихрем налетели на Рейнгольда.

– Я напишу, я, может быть, что-нибудь узнаю, – говорила Лопухина. – Уйди же.

Рейнгольд и сам думал, что лучше не встречаться с Шастуновым. Быть может, Шастунову все известно. Быть может, уже отдан приказ об его аресте.

Животный страх охватил Рейнгольда. Он вспомнил о своих брильянтах. «Я еще могу убежать в случае опасности». – И, бросив на Лопухину выразительный взгляд, он поспешно вышел.

Еще не перестала колебаться опущенная за ним портьера, когда в другие двери вошел Шастунов. Лопухина была в полной уверенности; что Рейнгольд поспешил домой. Рейнгольд сперва так и намеревался. Он хотел бежать домой, захватить деньги и брильянты,

скрыться где-нибудь временно в укромном местечке и там ждать дальнейших событий. Но, пройдя две комнаты, он раздумал. Зачем бежать преждевременно? Он может сейчас узнать кое-что интересное. И на цыпочках, тихонько, он воротился назад и остановился за тяжелой портьерой, отделявшей красную гостиную. Он не мог видеть лиц разговаривавших, но, хотя глухо, до него доносились слова.

Когда вошел Шастунов, Лопухина с обычным видом сидела в кресле.

– А! Это вы, князь? – приветливо произнесла она.

– А вы ждали другого? – ревниво спросил Арсений Кириллович, целуя ее руку.

– Это скучно, князь, – возразила Лопухина. – Сводитесь сюда и рассказывайте, что нового? Как ваша служба, что поделывает ваш фельдмаршал?

Стоя за занавеской, Рейнгольд напряженно слушал.

– Ах, что мне служба! Что мне фельдмаршал! – воскликнул Шастунов. – Разве в этом

моя жизнь!.. Вы знаете!..

Но Лопухина, все еще под впечатлением Рейнгольда, быстро перебила его:

– Мне надоел, наконец, траур. Мне скучно. Правда ли, что императрица хотела, чтоб коронование было теперь же, а Верховный совет отложил церемонию до апреля?

– Я ничего не слышал об этом, – угрюмо ответил Арсений Кириллович. – Неужели в эти дни вы только и думали о предстоящих ба-лах? – с горечью спросил он.

Лопухина нетерпеливо передернула плечами.

– А о чем еще думать одинокой женщине? – с вызовом сказала она.

– Так вы одиноки, – тихо начал Шастунов. – Вы одиноки, несмотря на мою любовь?

Лопухина молчала.

– Я никогда не решался приблизиться к вам, – продолжал Шастунов, и его голос звучал сдержанной страстью. – Вы были для меня как солнце. Я только издали ревниво любовался вашей красотой... Я бы так и прожил. Но вы сами...

Его голос прервался. Его бледное, прекрас-

ное лицо, горящие глаза, нежный, страстный голос опять покорили Лопухину. Со свойственным ей непостоянством она уже забыла о Рейнгольде. И странное чувство двойственности овладело ее душой. Мгновениями ей казалось, что она видит Рейнгольда, слушает его голос. Лицо Шастунова делалось похожим на лицо Рейнгольда.

Она полузакрыла глаза.

– Зачем вы мучаете меня, – продолжал Шастунов, опускаясь на колени и беря ее руку. – Ведь я так люблю вас, мне так тяжело. Ведь я мог иметь право верить в вашу любовь. Все эти дни я тосковал и ревновал. Ужели этот Рейнгольд, ничтожный и пустой...

Легкий скрип пола заставил Шастунова обернуться. Но в комнате никого не было. На одно мгновение ему показалось, что тяжелая малиновая портьера колеблется. Но это было только мгновение. Он снова повернул свое страстно – молящее лицо к Лопухиной и опустил голову к ней на колени.

– Ведь я люблю, люблю тебя, – шептал он, опьяненный ее близостью, запахом ее духов, биением ее сердца.

– Оставь, оставь, – тихо останавливала его Лопухина.

За портьерой вновь послышалось движение. Но Шастунов не слышал. Он поднял голову и потянулся к Лопухиной воспаленными губами. Она наклонила к нему голову.

Портьера заколебалась сильнее. Рейнгольд понял наступившее молчание...

– Ты моя, ты моя, – твердил Шастунов.

Рейнгольд сделал резкое движение и, запутавшись в складках портьеры, пошатнулся и невольно ударил каблуком сапога в пол.

Лопухина вырвалась из объятий Шастунова. Шастунов тоже услышал стук. Портьера сильно колебалась.

– Нас подслушали, – произнес Шастунов и со стремительной решимостью, прежде чем Наталья Федоровна успела удержать его, бросился к портьере, резким движением откинул ее и увидел бледное, искаженное яростью, но вместе с тем смущенное лицо графа Рейнгольда... Это было так неожиданно, что Шастунов выпустил из рук портьеру, и она на миг снова закрыла Рейнгольда.

Лопухина слабо вскрикнула и закрыла ли-

цо руками.

Рейнгольд отбросил рукой портьеру и вышел. Он был очень бледен. Сделав шаг вперед, положив руку на эфес шпаги, он остановился перед пораженным Шастуновым. Никто из них не взглянул на Лопухину, словно окаменевшую, с закрытым руками лицом.

Шастунов первый нашел в себе силу заговорить.

– Прошу извинения, граф, – с насмешливым поклоном произнес он, – что я так неосторожно помешал вашему занятию. Но я не знал, что это ваше ремесло, – с презрением добавил он.

– Я не желаю здесь говорить и объясняться с вами, – дрожащим голосом ответил Рейнгольд.

– Я полагаю, – высокомерно ответил Шастунов, – что нам вообще не о чем объясняться. Я не буду объясняться с лакеем, подслушивающим у дверей.

– Ни слова больше! – в бешенстве крикнул Рейнгольд, обнажая до половины пшату.

– Рейнгольд! – отчаянно закричала Наталья Федоровна, бросаясь между противника-

ми. – Князь!

Рейнгольд – это Левенвольде. Князь – это ему!

Презрение, отчаянье и злоба наполнили душу Арсения Кирилловича при этом крике Лопухиной. Тяжелым, презрительным взглядом посмотрел он в ее прекрасное, умоляющее лицо и медленно повернулся.

– Князь, – повторила она с мольбой.

– Оставьте меня, – слегка повернув голову, тихо ответил через плечо Шастунов. – Вместо богини я нашел куртизанку, вместо царицы – любовницу лакея...

Рейнгольд хотел броситься на князя, но Лопухина с неженской силой удержала его за руку.

Не поворачивая головы, Шастунов медленно вышел из комнаты.

– Рейнгольд! Рейнгольд! – с отчаянием воскликнула Лопухина.

– Не пора ли кончить эту комедию? – холодно произнес Рейнгольд. – Вы больше не будете любовницей лакея, но я советую вам не терять надежды снова сделаться княжеской любовницей.

Он грубо оттолкнул Лопухину и вышел вон.

Несколько мгновений Лопухина глядела ему вслед остановившимися глазами и вдруг, судорожно заломив над головой руки, со стоном упала на пушистый ковер своей красной гостиной...

XXV

Как человек, неожиданно пораженный тяжелым ударом, Шастунов в первые минуты не мог отдать себе ясного отчета, что случилось. Он словно оступел и одеревенел. Какой-то туман заволакивал его ум и душу, и в этом тумана странно мерцали черные глаза и бледнело искаженное яростью чье-то лицо.

– Черные глаза! Черные глаза! – бессмысленно твердил он, то и дело прикладывая руки к разгоряченному лбу.

Он шел, не обращая внимания на редких прохожих, не разбирая в темноте дороги, спотыкаясь как пьяный.

Но мало – помалу холодный, резкий ветер и мороз охладили его разгоряченную голову. Он стал яснее понимать все случившееся, и

вместе с этим росло его страдание.

– О – о! – вдруг застонал он, останавливаясь среди улицы. – Она! Она – любовница Рейнгольда! Она все время обманывала меня. Я был ее минутной забавой; я, готовый отдать ей всю кровь капля по капле...

Неровной походкой он пошел дальше. Невольно ему в голову пришла мысль о самоубийстве. «Но нет» – сейчас же с бешенством подумал он. – Я прежде убью его» как подлеца!»

Эта мысль придала силы Шастунову. Он решил сейчас же послать за Алешей и Федором Никитичем и просить их съездить к Рейнгольду и передать ему вызов на поединок.

Дело не могло кончиться иначе. Слова Шастунова, что он не может драться с лакеем, были только одним оскорблением. Конечно, он не мог отказать в удовлетворении графу Рейнгольду, обер – гофмаршалу двора императрицы.

– Князь, вы больны? – воскликнула Берта, увидев Шастунова.

Действительно, князя можно было при-

нять или за больного, или за пьяного. Расширенные глаза его горели неестественным блеском. Воспаленные губы что-то шептали. Казалось, что он даже был нетверд на ногах.

Он взглянул на хорошенькое, встревоженное личико Берты и, казалось, не сразу понял ее. Потом словно опомнился и с усилием ответил:

– Благодарю, маленькая Берта, я здоров. Только устал... Да, я очень, очень устал...

Но Берта поняла, что ее князь не устал, а страдает.

– Пришли мне вина наверх, – закончил князь. Придя к себе, Шастунов тотчас велел Ваське отправиться за Дивинским и Макшеевым.

– Найми лошадей и не жалей денег, – добавил он, кидая ему несколько золотых. – Скажи, чтобы не медлили ни минуты. Дивинский, наверное, сидит теперь у Юсуповых. А поручика Макшеева ищи где хочешь, но только чтобы был он.

– Будет, – решительно ответил Васька и исчез. Берта принесла вино и поставила на стол.

Она взглянула на князя. Князь, бледный, странно сразу осунувшийся, сидел, опершись головой на руку, неподвижным взглядом глядя перед собой.

– Князь, – сказала она. – Вот вино.

– Вино? – с недоумением переспросил он. – Ах, да, я забыл. Спасибо, маленькая Берта. Скажи, Берта, – неожиданно спросил он, – у тебя есть жених? Ты влюблена?

Берта покраснела до слез.

– Князь, князь, – стыдливо произнесла она, закрывая передником лицо.

– Не люби, Берта! Никогда не люби, – странным голосом говорил князь, и хотя обращался к Берте, но не глядел на нее и, казалось, будто говорил самому себе: – Не Люби! Если ты хочешь, чтобы твое сердце было захватано грязными руками, чтобы его рвали на части, чтобы твоя жизнь обратилась в ад, с проклятьем в прошлом, с отчаяньем в настоящем, с безнадежностью в будущем, – тогда люби и верь! Тогда верь ясным глазам, верь поцелуям и словам любви. Верь! – и за каждый поцелуй ты заплатишь ценой муки и унижения, и твое сердце истечет кровью... –

Шастунов схватился за голову. – Да будет проклята она! – воскликнул он.

Со слезами на глазах, смущенная и взволнованная, слушала его Берта, боясь остаться, не смея уйти, полная нежного сострадания к прекрасному князю.

– Князь, выпейте вина, – наконец проговорила она и сама, расплескивая вино, налила князю.

Князь взял стакан и выпил его. Он глубоко вздохнул. Лицо его несколько прояснилось.

– Ты добрая девушка, Берта, – ласково сказал он. – Не пугайся моих слов. Ты будешь счастлива. За твое здоровье!

Арсений Кириллович налил себе вина и снова выпил. Берта сделала ему низкий реверанс.

– Пришли еще вина, да побольше, – сказал Шастунов. – Ко мне сейчас придут друзья.

Он вспомнил о Макшееве, который словно старался залить вином какой-то неугасаемый огонь, пылающий в нем.

Берта вышла, сошла вниз, распорядилась отправить князю всяких вин, а сама пошла к себе, в маленькую спальню, легла лицом

вниз на свою узенькую, девичью постель и горько, безутешно расплакалась...

Васька бросился сперва за Макшеевым. К его счастью, Фома неверный, хотя и полупьяный, был дома. Он только свистнул, когда Васька спросил его, где Макшеев.

– Ищи ветра в поле, – сказал он.

Однако, выпив еще стаканчик водки и угостив Ваську, тоже малого не промах по этой части, он подумал и торжественно начал:

– Алексей Иванович может быть у себя в полку, скажем, раз. – Фома загнул палец. – У просвирни, что у Николы, направо за углом второй домишко. Зеленый такой. Там всегда хорошие господа бывают, потому у просвирни того... – И Фома лукаво подмигнул, загнул второй палец. – Во – третях, повадились они теперь к графу Федор Андреичу Матвееву – тот самый что ни есть крутель, как есть под стать моему. Может еще быть у кавалергардов – там народ богатый, до карт и вина охочий. Бывает и в остерии. А более, ей – ей, не знаю. Должно, надо все кабаки в Москве объездить.

По просьбе Васьки Фома согласился пойти

к просвиrne, куда не всякого пускали, но где Фома, как человек Макшеева, был известен. Фома обещал исполнить поручение, если найдет там своего барина, за что Васька отвалил ему целую полтину, а сам помчался сперва в лейб – regiment, потом к кавалергардам и в конце концов нашел Алешу у графа Матвеева.

Васька через лакея, которому тоже дал три алтына, вызвал Макшеева и передал поручение князя.

– Еду, – коротко ответил Макшеев и тут же велел подать себе плащ.

Федора Никитича Васька сразу же нашел у Юсуповых.

Алеша и Дивинский приехали почти одновременно, Алеша еще не успел выпить стакан вина. Видя расстроенное лицо князя, Макшеев молча поздоровался с ним, налил себе вина и стал поджидать Дивинского. Когда приехал Дивинский, князь плотно затворил дверь и сказал:.

– Я хочу просить у вас дружеской услуги. Только, если вы истинные друзья мои, не спрашивайте меня ни о чем.

Макшеев и Дивинский, чувствуя что♦то

важное и значительное в тоне князя, молча наклонили головы.

– Так вот что, – продолжал Шастунов. – Я прошу вас, не теряя времени, поехать сейчас к обер – гофмаршалу графу Рейнгольду Левенвольде и предложить ему от моего имени поединок.

Друзья с изумлением взглянули на Шастунова, но не сказали ни слова.

– Поединок, – с какой-то злобой продолжал Шастунов. – Поединок на смерть! Драться до тех пор, пока правая или левая рука может держать оружие... Скажите графу, что я согласен на любое оружие: кинжалы, шпаги или палаши. Пусть выбирает любое. Но только скорее, скорее! – почти задыхаясь от бешенства, закончил князь.

– Сделано, – произнес, вставая, Макшеев.

– Арсений Кириллович, – проговорил Дивинский. – Мы всегда друзья твои. Мы верим тебе. Если ты хочешь поединка, – значит, так надо. – Он крепко пожал руку князю.

В эту минуту раздался стук в двери;

– Можно! – крикнул Шастунов.

Вошел Васька.

– Ваше сиятельство хочет видеть какой-то человек, – доложил он.

– Какой, от кого? – в изумлении спросил князь.

– Не могу знать, – ответил Васька. – Едва понял, что ваше сиятельство ему надо. Лицо все закрыть норовит, ростом маленький, словно горбатый.

Князь Шастунов пожал плечами.

– Позови его, – приказал он.

Странная маленькая фигурка, вся закутанная в плащ, в нахлобученной шляпе, переступила порог и остановилась.

– Кто вы? – спросил Шастунов.

Таинственный посетитель указал головой на Ваську.

– Васька, уйди, запри двери и никого не пускай, – приказал князь.

Васька вышел, плотно закрыв за собой двери. Тогда маленькая фигурка сорвала с головы широкополую шляпу и сбросила на пол плащ. Густые черные кудри рассыпались по плечам. Огромные черные глаза глядели зло и насмешливо.

– Авессалом! – в изумлении воскликнул

Шастунов, помнивший шута еще с Митавы и встретивший его здесь во дворце императрицы.

– Да, так зовут шута ее величества, – ответил Авессалом.

Маленький горбун, как и всякий убогий, вызывал в князе чувство жалости.

– Простите, – мягко сказал он. – Я не знаю вашего другого имени.

– У меня нет другого! – резко ответил Авессалом.

– Зачем вы хотели меня видеть? – спросил Шастунов.

Горбун бросил на Макшеева и Дивинского быстрый взгляд.

– Вы можете говорить при них, – заметил князь. – Сядьте, Авессалом, выпейте вина и расскажите, зачем пришли.

Авессалом не сел, но налил себе вина и с жадностью выпил его.

– Я не долго пробыл в России, – начал он. – Но я увидел, что люди у вас добрее, чем при дворе Курляндской герцогини. Сперва я удивился, что здесь не считают меня за собаку, что сама бывшая герцогиня Курляндская

вдруг перестала бить по щекам своих камер – юнгфер и рвать мне волосы, что меня хорошо кормят и дали мне человеческое помещение. Потом я узнал от слуг (я почти не говорю по – русски, ко почти все понимаю), узнал, что ваши министры не дают воли императрице Анне. И это хорошо. Ей не следует давать воли, потому что волю свою она отдаст сейчас же Бирону, а Бирон жесток и не считает за людей тех, над кем имеет власть... Да, так было, и я радовался, – продолжал Авессалом. – У меня до сих пор не зажили рубцы от хлыста Бирона. Он хлестал меня так себе, походя, только потому, что у него в руках был хлыст, а Бирон не выпускает из рук хлыста, потому что вся жизнь его проходит в конюшне... да в покоях Анны. Так берегитесь же теперь участи несчастного шута, избиваемого хлыстом, – зловещим голосом, протягивая вперед руки, крикнул Авессалом. – Вы, потомки русских рыцарских родов, гордые, счастливые и богатые, вы, избравшие на российский престол не герцогиню Курляндскую, а сына берейтора! Берегитесь вы, потому что этот палач, этот конюх, этот дьявол в образе человека теперь

здесь, во дворце императрицы всероссийской! И вот его первый дар, – весь дрожа, закончил Авессалом, обнажая на руке выше локтя сочащийся кровью рубец.

– Бирон здесь! – отшатнувшись, повторил Шестунов.

Далее Алеша внезапно побледнел от нахлынувшего в его душу негодования...

– Он погиб! – прерывающимся голосом произнес Дивинский.

Авессалом выпил еще вина и с каким-то злорадством передавал, как ему удалось узнать о прибытии Бирона.

Впервые на эту мысль навел его детский плач, который он услышал в комнатах фрейлин. Он подглядел и узнал Карла. Он стал следить и встретил в темном коридоре поздно вечером Бирона, выходящего из покоев императрицы. Бирон был взбешен этой встречей, ударил его ногой, потом неизменным хлыстом и обещался повесить его, если он кому-нибудь скажет о том, что видит его.

Авессалом рассказал еще о своих предположениях, что Вирона привезли с собой депутаты от ландратов во главе с Густавом Левен-

вольде, что, очевидно, им помогал в этом граф Рейнгольд, этот трусливый красавчик, имевший у императрицы несколько тайных докладов.

– Спасайтесь же, – закончил Авессалом. – Спасайте свою родину, если она дорога вам! Надвигается ваша гибель!..

Как оглушенные стояли друзья, слушая Авессалома.

– О, – закончил Авессалом. – Возьмите его, казните его, уничтожьте его. Я сам буду его палачом! Я буду как милости просить, чтобы его дали казнить мне!

Первая минута растерянности прошла.

– Мы должны принять меры, – сказал Дивинский. – Надо доложить об этом Верховному совету. Я еду к Дмитрию Михайловичу, – продолжал он. – Пусть Макшеев едет к фельд-маршалу Михаилу Михайловичу, а ты, князь, к Василию Владимировичу. Твое дело надо отложить, – закончил он. – Да к тому же его ждет палач.

– Отложить, – медленно проговорил князь и в бешенстве, стиснув зубы, добавил: – Но я не отдам его палачу! Я сперва убью его, а по-

том пусть его повесят!..

XXVI

Фельдмаршалы сейчас же приехали к Дмитрию Михайловичу, который уже успел послать нарочных за другим братом, Михаилом Михайловичем младшим, канцлером Гаврилой Ивановичем, Василием Лукичом и Алексеем Григорьевичем Долгоруким. К вице – канцлеру он счел излишним посылать, так как еще утром узнал, что барон так плох, что потребовал к себе пастора. Дмитрий Михайлович послал также и за Степановым.

Фельдмаршалы, зная, в чем дело, приехали мрачные и решительные. Потом приехал встревоженный граф Головкин, испуганный Алексей Григорьевич, сразу бросившийся с расспросами, но Дмитрий Михайлович холодно отклонил его расспросы, сказав, что дело чрезвычайной важности и требует не сепаративных разговоров, а общего обсуждения.

Последним приехал Василь Лукич, как всегда гордый и самоуверенный, но с тревогой в душе.

Наконец собрались все, в том числе и Сте-

цанов.

По приказанию фельдмаршала Макшеев, Дивинский и Шастунов остались в соседней комнате.

Дмитрий Михайлович коротко сообщил о приезде Бирона под покровительством депутации и, по – видимому, при участии обер – гофмаршала графа Рейнгольда Левенвольде. Потом несколькими энергичными словами он очертил положение вещей. Анна провозгласила себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов. Трубецкой, Салтыковы, Матвеев, Барятинский возмущают гвардию. Василий Лукич удален из дворца. Императрица все теснее окружает себя врагами Верховного тайного совета. Необходимы решительные меры теперь же.

Граф Головкин слушал Дмитрия Михайловича, низко опустив свою старую голову. На лице Алексея Григорьевича была видна полная растерянность. Он весь как♦то сжался и беспомощно смотрел по сторонам.

Дмитрий Михайлович, кончив свое сообщение, сел. Молчание длилось довольно долго. Его прервал фельдмаршал Долгорукий.

– Первое правило на войне, – начал он решительным голосом, – состоит в том, чтобы заставить врага бояться.

Фельдмаршал Михаил Михайлович кивнул головой.

– И мы заставим их бояться, – грозно продолжал Василий Владимирович. – Прежде всего надлежит арестовать Бирона.

Алексей Григорьевич весь ушел в свое кресло, словно старался стать совсем незаметным. Головкин быстро поднял голову.

– Это невозможно! – воскликнул он. – Во дворце императрицы!

– Во дворце императрицы, в ее апартаментах, на ее ложе, – где найдут! – сурово сказал фельдмаршал. – Не ради шутки давала она свою подпись и свое слово. Да и мы не позволим шутить с собою.

– Василий Владимирович прав, – вставая, произнес фельдмаршал Михаил Михайлович. – Мы не можем, не должны щадить этого выходца.

– Но это еще не все, – продолжал фельдмаршал. – Надо арестовать Салтыкова, Лопухина, Левенвольде, Черкасского и Бярятинского. Со-

слать в Соловецкий монастырь новгородского архиепископа, и... – он обвел всех присутствовавших загоревшимися глазами и пониженным, грозным голосом закончил: – Казнить Ягужинского...

При этих словах Головкин порывисто вскочил с места и, протягивая руки, воскликнул дрожащим голосом:

– Фельдмаршал, помилосердствуй! Но все хранили глубокое молчание. Никто не ответил,

на его слова.

– Дмитрий Михайлович! Что ж ты молчишь? – обратился он к Голицыну.

Но Голицын, нахмутив брови, молчал. Его брат, фельдмаршал, отвернулся. Это молчание было смертным приговором, и старый канцлер понял его. Его голова беспомощно затряслась, подкосились ноги, и он упал в свое кресло.

– Не время, канцлер, думать о твоём зяте, когда гибнет Россия, – тихо, но внятно прозвучали слова Дмитрия Михайловича. – Василий Петрович, – обратился он к сидевшему за соседним столиком Степанову, – именем импе-

ратрицы, но постановлению Верховного тайного совета пиши смертный приговор графу Павлу Ивановичу Ягужинскому... А также указы об аресте Салтыкова, Черкасского, Левенвольде и иже с ними.

Наступило глубокое молчание. Было слышно только тяжелое дыхание старого канцлера да скрип пера Степанова.

– Приговор готов, – сказал Степанов, кладя перед Дмитрием Михайловичем лист бумаги.

Дмитрий Михайлович молча подвинул лист к канцлеру.

Головкин оттолкнул от себя лист и встал:

– Я полагаю, господа члены Верховного совета избавят меня от необходимости подписывать смертный приговор мужу моей дочери!..

Его голос дрогнул.

– Ты – канцлер, – жестко заметил Василий Владимирович.

– Но не палач, – ответил Головкин. Все промолчали на его слова.

– Я не могу больше присутствовать в заседании совета, – снова начал канцлер. – Господа члены совета благоволят снизойти к моей

дряхлости и болезненности.

– Ты свободен, Гаврила Иванович, – сдержанно произнес Дмитрий Михайлович. – Мы уважаем твои чувства.

– Головкин сделал общий поклон и, согнувшись, словно сразу действительно одряхлел, неровной походкой выше» из залы заседания.

Рука Алексея Григорьевича заметно дрожала, когда он подписывал смертный приговор. Он весь был охвачен ужасом перед наступающими событиями.

Степанов подал к подписи указы об аресте. Члены совета, один за другим, молча подписали их. Затем в залу заседания были призваны офицеры.

– Вы сейчас же поедете в полки, – распорядился Василий Владимирович. – Ты, – обратился он к Шастунову, – к себе в лейб – regiment. Дивинский – в Сибирский, Макшеев – в Конорский. Возьмите достаточные наряды солдат с заряженными ружьями. Дивинский арестует Черкасского, Макшеев – Салтыкова, Шастунов – Рейнгольда Левенвольде. Всех обезоружить и держать под домашним карау-

лом. В случае малейшего сопротивления без пощады пускать в ход оружие.

Фельдмаршал отдавал приказания резким, отрывистым голосом.

– Идите! Помните о великом доверии, оказанном вам отечеством! Оно сумеет наградить всех своих верных сынов!..

Ошеломленные приятели, взяв указы, молча вышли.

– А завтра утром я сам арестую Бирона, – сказал фельдмаршал Михаил Михайлович. – И заставлю ее принести присягу в Архангельском соборе, всенародно, на верность подписанным ею кондициям.

– Завтра мы будем их судить, – сказал Василий Лукич. – Пора кончать!

У Шастунова все путалось в голове. Он слишком много пережил в немного часов. И теперь на его голову свалился новый удар. Этот указ об аресте Салтыкова и всех его сторонников, среди которых ближайшим другом Семена Андреича был его отец.

Два его друга тоже были ошеломлены неожиданным приказом. Особенно Макшеев,

у которого было много приятелей среди сторонников Салтыкова.

Шастунов схватился за голову.

– Алеша, дорогой, – обратился он к Макшеву. – Ведь у Салтыкова мой отец!

– Ладно, – хмуро ответил Макшеев. – Не тревожься. Пусть черти унесут меня в ад, ежели я не отпущу твоего отца! Пусть едет назад к себе!

Шастунов обнял Алешу.

– Спасибо! Теперь я поеду к господину обер – гофмаршалу.

Друзья распрощались и направились в разные стороны исполнять свои опасные поручения.

Потрясенный и негодующий, ехал домой Головкин. Уже давно его сердце не лежало к верховникам. Теперь они нанесли ему последний удар. Казнь Ягужинского он считал излишней жестокостью. Он сразу увидел в них своих врагов. Его мягкой, уклончивой душе были противны всякие излишества в жестокости. Но что делать? Единственный человек, который своим советом мог бы помочь ему, Остерман, влиятельный и хитрый член

Верховного совета, был при смерти.

«Ну что ж, а вдруг ему лучше? – мелькнула мысль в голове Головкина. – Попробую». И он приказал кучеру ехать к вице – канцлеру.

Головкина сперва не хотели принимать, но он был настойчив, и его допустили к Андрею Ивановичу.

Андрей Иванович лежал в постели, укутанный до самого подбородка теплыми одеялами. Слабым, умирающим голосом он спросил Гаврилу Ивановича, что привело его в такой поздний час. Глубоко взволнованный, старый канцлер передал ему решения Верховного совета. Остерман слушал его с закрытыми глазами и ничем не выдавал своей мучительной тревоги.

– Хорошо, – сказал он, выслушав Головкина. – Я слаб и болен, но я постараюсь помочь тебе. Я ведь тоже член Верховного совета. Что бы они ни решили, а» сентенцию» они не посмеют привести в исполнение без согласия императрицы. Дмитрий Михайлович не захочет навлечь на себя нарекания. Я знаю его. Он ведь законник, – заметил с тонкой улыбкой Остерман. – Даже слишком законник, что

иногда вредно».. Завтра они не казнят твоего зятя, а мы подадим особое мнение. Твой зять не будет казнен! – уверенно закончил он.

Головкин уехал от него несколько успокоенный. Но лишь только он вышел, Остерман резкими звонками призвал слуг и приказал позвать Розенберга. Когда тот явился, он твердым голосом продиктовал ему несколько коротких записок. Это были записки к Густаву, к императрице и к Салтыкову.

Он предупредил о надвигающейся опасности и советовал Салтыкову немедленно в ночь сменить все караулы» заменив их безусловно преданными людьми, а наутро занять весь дворец военными нарядами в боевом снаряжении. Собрать всех своих приверженцев и вручить Анне челобитную о восстановлении самодержавия. Об этом же он написал Анне, прося, по прибытии Салтыкова, объявить дворцовому караулу, что он сменяется по ее приказанию. Густаву он написал, чтобы он не пугался, если придут его арестовывать, и спокойно ждал бы дальнейших событий. С этими записками Розенберг тотчас же разослал нарочных.

Теперь, когда Василий Лукич уже не жил во дворце, доставить записку императрице не представляло особых затруднений.

– Мне кажется, я умираю.

– Не позвать ли баронессу? – спросил Розенберг.

– Нет, не надо ее беспокоить, – ответил Остерман. – Мне надо отдохнуть.

XXVII

Когда Лопухина опомнилась и собрала свои мысли, она почувствовала, что Рейнгольд для нее бесконечно дорог. Она не хотела, не могла его лишиться. Что с ним сейчас? Быть может, он уже арестован и ему грозит плаха? А если нет, какие минуты проводит он сейчас один, униженный, оскорбленный! Своей измене она не придавала большого значения. Все приняло такой оборот только потому, что Рейнгольд убедился в ее измене при другом и был унижен им!

Она хорошо знала Рейнгольда. Если бы он узнал об ее измене стороной, он ничем не показал бы ей этого. Но тут...

Ее охватило безумное желание увидеть

его. Она нередко бывала у него в квартире. С обычной решимостью она крикнула свою камеристку и приказала ей принести костюм, в котором она была на костюмированном балу во дворце после обручения покойного императора с княжной Екатериной Долгорукой. Это был костюм кавалергарда.

Она живо оделась в него, накинула на плечи меховой плащ, покрыла свои пышные волосы огромной гренадерской шапкой, прицепила португезу с маленьким палахом и обратилась в юного прапорщика. Камеристка лукаво усмехнулась. Она жила у Лопухиной давно и не то еще видывала...

Во главе значительного отряда князь Ша-стунов быстро приближался к дому Рейнгольда. «Не знаю, арестую ли я его, – думал Арсений Кириллович. – Во всяком случае, я не возьму от него шпаги, пока не убью его... «или он меня...»

Он приказал поставить у всех выходов часовых и вошел в дом. Тяжелым молотком он ударил в медный щит. Дверь открылась, и на пороге показался Якуб. Увидя во дворе солдат,

он сразу сообразил, что его господину грозит опасность. Он хотел захлопнуть дверь, но было поздно, Шастунов уже вошел.

– Граф дома? – спросил он.

– Не знаю, я сейчас справлюсь, – ответил, поворачиваясь, Якуб.

– Мы пойдем вместе, – сказал Шастунов, удерживая его за руку.

Но Якуб сильным движением вырвал руку и бросился наверх по лестнице. В два прыжка нагнал его Шастунов и, выхватив пистолет, в бешенстве изо всей силы ударил Якуба по голове ложей пистолета. Якуб взмахнул руками, без стога упал и покотился по лестнице вниз.

Шастунов вошел в комнаты. Все слуги, очевидно, уже спали.

Он прошел одну, другую комнату, направляясь на свет, выходящий из щели неплотно притворенной двери.

– Якуб, это ты? – послышался знакомый голос.

– Нет, это я, – с холодным бешенством ответил Шастунов, широко распахивая дверь.

Рейнгольд вскочил и глядел на него с удив-

лением и ужасом.

– Вы? – пролепетал он. – Что надо вам?

– По постановлению Верховного тайного совета вы арестованы, – медленно ответил Шастунов, наслаждаясь растерянным видом врага.

Смертельная бледность покрыла лицо Рейнгольда. Он бросил взгляд на окно.

– Не рискуйте напрасно, – насмешливо произнес Арсений Кириллович. – Внизу солдаты. Верховному: совету все известно. Вас завтра же будут судить. Приговор известен заранее. Но я хочу, – продолжал Шастунов, приближаясь к Рейнгольду и с ненавистью глядя на него, – хочу оказать вам милость. Я избавлю вас от руки палача. Берите вашу шпагу и защищайтесь. Иначе & просто убью вас!

С этими словами князь обнажил шпагу.

Слабый свет двух свечей освещал просторную комнату. Сальные свечи горели неровным светом, и то увеличивались, то уменьшались тени противников на белой стене.

Рейнгольду не было выхода. Если он откажется драться, Шастунов просто убьет его. Он

видел это по неумолимому, жестокому выражению глаз молодого князя. Конечно, Рейнгольд предпочел бы быть арестованным. Мало ли что Может случиться? Здесь же, он чувствовал, смерть к нему ближе.

– Ну что ж, я жду, – нетерпеливо произнес князь, играя шпагой.

– Я готов, – с внезапной решимостью проговорил Рейнгольд, беря со стола брошенную на него шпагу.

Рейнгольд был выше ростом, сильнее, опытнее Шастунова. Борьба на шпагах, на палашах была хорошо знакома ему еще с тех времен, когда он состоял при герцоге Фердинанде и вступал в единоборство с лучшими рыцарями...

Легко и свободно он перекрестил воздух шпагой и стал в позицию. По тому бешенству, с каким нападал на него князь, он решил, что князь скоро утомится, и с рассчитанным хладнокровием отражал его удары. Он был почти уверен в своей победе над этим пылким мальчиком... Но скоро его уверенность начала сменяться ужасом. Недаром Шастунов брал уроки у знатнейшего в Париже maitre

d'armes[17] итальянца Бенотти, у которого занималась фехтованием вся придворная аристократия. Свет свечей отражался на кончике его шпаги, и эта светлая точка сливалась в глазах Рейнгольда в одну ослепительную молнию, по всем направлениям бороздившую воздух. Казалось, силы князя увеличивались с каждой секундой. Рейнгольд уже чувствовал усталость в руке и медленно отступал к стене. На его лбу выступил холодный пот, зеленые и красные круги вспыхивали и гасли перед его глазами. Он уже прижался спиной к стене. Он видел перед собою сверкающую молнию шпаги князя и его горящие ненавистью и торжеством глаза. Страшным ударом князь, как бритвой, разрезал его тяжелый атласный кафтан от самой шеи до пояса.

«Погиб», – пронеслось в голове Рейнгольда.

Пронзительный крик раздался за спиной князя. Он на мгновение обернулся и увидел исполненные ужаса черные глаза. Этот миг погубил его. Рейнгольд воспользовался случаем и, вытянув руку, нанес князю прямой удар в плечо.

– А, подлец! – шатаясь на ногах и роняя

шпагу, воскликнул князь.

– Рейнгольд! Убийца! – услышал он знакомый голос сквозь туман, заволакивавший его сознание.

Лопухина бросилась к нему.

– Не время заниматься им – надо спасаться, – торопливо говорил Рейнгольд, выдвигая ящики стола и беря заветные мешочки.

Его не удивил и не обрадовал приход Лопухиной. Для него, охваченного животным страхом, не существовало никого!

Он не слушал, что говорила ему Лопухина, не обращал, на нее никакого внимания, торопливо накидывая – на себя брошенный при входе в комнату Шастуновым плащ.

– Прощай, – сказал он. – Тебе нечего бояться. Я дам тебе знать... – И он выбежал из комнаты.

Уверенным шагом прошел он мимо солдат. Увидя у ворот унтер – офицера, он обратился к нему и сказал:

– Князь приказал тебе осмотреть сейчас же весь двор. Иди.

Унтер – офицер отдал честь и поспешил во двор. Очутившись в безопасности, граф облег-

ченно вздохнул.

Как ни спешил Алеша исполнить данное ему поручение, гонцы Остермана опередили его. Когда он появился около дома Салтыкова с отрядом солдат Копорского полка, дом был погружен в безмолвие. Однако Алеша приказал открыть ворота. Оставил во дворе солдат и вошел в дом, переполошив всех слуг.

Но в доме никого не было. Даже сама Салтыкова была в эту ночь дежурной статс – дамой во дворце. Однако Алеша на всякий случай расставил вокруг дома и во дворе сторожевые посты, строго приказав никого не выпускать из дома, а сам поспешил в Мастерскую палату, куда было приказано явиться им по исполнении поручений, так как члены совета направились туда из дома Голицына.

Подобная неудача постигла и Дивинского. В доме Черкасского остались одни женщины. Алексей Михайлович уехал...

Уже брезжил рассвет, когда Макшеев и Дивинский явились в Мастерскую палату. Их позвали в залу заседаний, где собрались верховники, кроме Головкина и Алексея Григо-

рьевича Долгорукого.

Неудача предпринятого не особенно поразила фельдмаршалов.

– Ну что ж! – сказал Михаил Михайлович. – Они не уйдут от нас. Не сегодня – так завтра. А где же третий? – спросил он.

Никто не мог ответить ему, где Шастунов.

Отпустив офицеров, верховники приступили к обсуждению предстоящего дня и дальнейшей судьбы Бирона и остальных после ареста. Что все их главнейшие враги будут сегодня в их руках – они нисколько не сомневались. Но они не были бы так уверены в себе, если бы совершили объезд по Москве и заглянули бы в полки Преображенский и Семеновский. И если бы они знали, что сегодня, на 25 февраля, Черкасский и Матюшкин уже испросили у императрицы разрешение явиться к ней с представителями шляхетства и генералитета – просить о рассмотрении нового государственного устройства, – верховники тоже не были бы так спокойны.

Получив от Остермана угрожающие вести, Салтыков тотчас бросился в Преображенский полк, Черкасский – в Семеновский, а графа

Матвеева и Кантемира послали к кавалергардам.

Секретарь Преображенского полка Булгаков радостно встретил Салтыкова.

– Пора? – спросил он.

– Пора, – ответил Салтыков.

В несколько минут Булгаков оповестил своих сторонников – офицеров, и скоро батальон полка в боевом снаряжении, с заряженными ружьями, в глубоком молчании двигался по улицам Москвы ко дворцу.

То же произошло и в Семеновском полку, а Матвеев и Кантемир вели с собою человек двадцать кавалергардов.

Императрица не спала всю ночь, лихорадочно ожидая событий. Как только явился Салтыков, она тотчас приказала отпустить караул и сменить новым.

Во дворец были введены кавалергарды и по две роты преображенцев и семеновцев. Они были расставлены у всех дверей и в залах, рядом с тронной. Остальные были расположены вокруг дворца.

«Ну, теперь пожалуйста, гости дорогие!» – со злобной улыбкой думала Анна.

Наступал решительный день.

XXVIII

Лопухина беспомощно стояла на коленях перед телом Шастунова. Она расстегнула ему мундир. Брызгала в лицо водой – все было напрасно. Шастунов лежал неподвижно, с плотно закрытыми глазами, и только слабо бьющееся сердце указывало, что жизнь еще не совсем покинула его. С отчаянием и раскаянием глядела Лопухина в прекрасное лицо князя. «Убит, убит, – думала она, ломая руки. – И убила его я, я, я!..»

– Пока еще нет, – раздался над ней тихий голос.

С легким криком вскочила она на ноги и увидела перед собой черную фигуру. Бледное энергичное лицо вошедшего было как будто знакомо Лопухиной; словно где-то она видела эти пронизательные глаза.

– Не пугайтесь, – продолжал по-французски незнакомец. – Вы уже видели меня на балу у графа Головкина. Я – де Бриссак.

Лопухина тотчас вспомнила, как на балу она обратила внимание на стройную фигуру,

всю в черном, с брильянтовой звездой на груди.

– О, да, я помню вас, – произнесла она. – Вы угадали сейчас мои мысли. Вы поможете ему? Да?

Она смотрела на него прекрасными, полными слез глазами.

– Я для этого пришел, – спокойно сказал де Бриссак.

– Вы знали? – в изумлении воскликнула Лопухина.

– Я знал это, женщина, – строго ответил де Бриссак, наклоняясь к князю.

Он легко поднял его и осторожно положил на диван. Лопухина с тревогой и суеверным страхом следила за всеми движениями де Бриссака.

– Он будет жить? – с трепетом спросила она.

– Он будет жить, – медленно повторил он.

– О, – произнесла Лопухина, молитвенно складывая руки.

– Теперь уйдите, – сказал де Бриссак. – Вы мешаете мне.

Его голос был повелителен. Лопухина ко-

лебалась.

– Еще один вопрос, – робко сказала она. – Когда я увижу его?

– Ваши пути не встретятся больше, – сказал де Бриссак. – Вы навсегда ушли с его пути... О, – добавил он. – Не торопите страшного дня, когда вы вновь увидите его. Лучше, если бы день этот никогда не настал! Вы увидите его с высоты эшафота, измученная, опозоренная, в изодранных одеждах, и не будете в состоянии даже крикнуть, потому что...

Он замолчал.

Ужас непонятный сверхъестественный, охватил Лопухину, и, громко вскрикнув, она бросилась вон из комнаты...

Де Бриссак быстро осмотрел рану на плече, вынул из кармана тонкий бинт, банку и флакон. Положил на бинт мази и перевязал рану. Потом накапал в стакан несколько капель из флакона, долил водою, приподнял голову Шастунова и влил ему глоток в рот. Щеки Шастунова порозовели, глаза открылись. Он сделал движение и поднялся на диване. Увидя де Бриссака, он удивленно взглянул на него и спросил:

– Виконт, вы здесь? Почему?

– Чтобы спасти вас, – спокойно ответил де Бриссак.

– А, да, помню, – произнес Шастунов, потирая лоб. – Помню, этот негодяй ранил меня. Да, это был предательский удар. Я увидел... Он убежал! – воскликнул князь, торопливо вскакивая с дивана. – Ах! – вырвалось у него; он почувствовал мгновенную боль в плече.

– Он убежал, ушла и она... Навсегда, – тихо ответил де Бриссак. – Вы теперь здоровы, рана на плече пройдет через два дня.

– Дорогой друг, – с чувством сказал Шастунов. – Хотя моя жизнь и никому теперь не нужна, но все же ею я обязан вам, и она принадлежит вам. Что моя жизнь? Я растерял все! Я потерял отца, любимую женщину и, кажется, нанес нечаянный удар тому делу, которому служил. Но... благодарю вас!

– Не надо, – ответил де Бриссак. – Ваш жизненный путь еще долог, и не моей воле вы обязаны жизнью. Теперь прощайте. Я уезжаю из России. Я сделал здесь все, что было можно сделать; теперь поеду дальше.

– Я увижу вас? – с невольной грустью спро-

сил Шастунов.

Де Бриссак пристально взглянул на него и ответил:

– Мы увидимся, но через долгие годы и в новые времена. Прощайте, юный друг. Но если вы не увидите меня, то получите обо мне вести...

Он пожал руку Шастунову и вышел в другую дверь. Шастунов вздохнул и начал собираться. Его плащ исчез.

– Делать нечего, – с брезгливой гримасой произнес он, накидывая на себя плащ Рейнгольда.

Он застал членов Верховного совета в Мастерской палате. Макшеев и Дивинский уже ушли.

Шастунов подробно доложил обо всем происшедшем, не утаив и о поединке. Он только не упомянул имени Лопухиной.

– Следовало бы тебя за это судить, – сурово сказал Василий Владимирович. – Ты не смел затевать с ним поединка, когда был послан арестовать его, И что же! Ты упустил врага, получил рану и нарушил приказание! Да, тебя следовало бы судить. Но теперь не такое

время, – продолжал он. – Ты еще можешь искупить свою вину. Приходи сюда опять часа через три за приказаниями. Мы должны кончить сегодня днем то, что не удалось нам исполнить ночью...

Опустив голову, Шастунов вышел. Голова его кружилась, плечо ныло, ему хотелось пить и спать. Он поехал домой, выпил вина и лег спать, приказав Ваське разбудить себя через два часа.

Несмотря на решимость и уверенность в победе, верхов – ники все же вполне понимали всю важность и опасность затеваемого ими дела. Арестовать Бирона во дворце императрицы! Арестовать первых сановников государства! Казнить одного из важнейших лиц империи! Сослать первенствующего члена Синода!

Но решение было принято. Утром Верховный совет явится к императрице. Фельдмаршал Голицын арестует Бирона. Дома Салтыкова и Черкасского окружены. Им не спастись. Сегодня же они будут арестованы, и императрица сегодня же присягнет в Архангельском соборе на верность кондициям, иначе» лише-

на будет короны российской».

Члены совета тут же, в Мастерской палате, кое-как расположились, чтобы вздремнуть часок – другой. Но отдых их был недолог...

Едва вошло солнце в каком-то кровавом тумане, как они были разбужены Степановым. От своих курьеров, отправленных им, как всегда, во дворец с указами к рассмотрению императрицы, Степанов получил странные и тревожные вести.

– Что случилось? – спросил Василий Владимирович.

Расстроенный Степанов сообщил, что дворец окружен войсками, что один за другим прибывают во дворец представители шляхетства, генералитета, гвардейские офицеры – целой толпой.

Дмитрий Михайлович кинул тревожный взор на своего брата – фельдмаршала.

– Надо ехать и нам, – решительно произнес Василий Владимирович.

В это время явились за приказаниями Макшеев, Дивинский и немного оправившийся Шастунов.

Им велели ехать во дворец, куда поспеши-

ли и верховники.

Больше тысячи людей толпились в дворцовых залах. Аудиенц – зала была заполнена преимущественно гвардейскими офицерами. Несколько в стороне верховники увидели, к своему изумлению, и Черкасского, и Барятинского, и князя Трубецкого с Матюшкиным.

При входе в аудиенц – залу их встретил капитан Альбрехт, стоявший в дверях и отсалютовавший фельдмаршалам.

– Ты разве начальник караула? – спросил его пораженный фельдмаршал Михаил Михайлович.

– Начальник дневного караула, ваше сиятельство, – ответил Альбрехт.

Михаил Михайлович нахмурился.

– Отчего меня не известили о прибытии семеновцев и преображенцев? – спросил Василий Владимирович. – Кто здесь распоряжался?

– По повелению ее величества сегодня войсками гвардии командует генерал Салтыков, – ответил Альбрехт.

Фельдмаршалы переглянулись.

– Василий Владимирович, ужели мы обиграны? – тихо произнес Михаил Михайлович.

Василий Владимирович покачал головой. Дмитрий Михайлович подошел к Матюшкину и Трубецкому.

– Что все это значит? – спросил он.

– Императрица пожелала выслушать сама мнения шляхетства, – уклончиво ответил Матюшкин.

Черкасский был, видимо, взволнован. Стоящий рядом с ним Кантемир что-то горячо говорил ему.

Огромная зала вся гудела от сдержанных голосов, и в этом сдержанном гуле было что-то гневное и угрожающее. Из толпы офицеров иногда вырывались громкие фразы:

– Кто смеет ограничивать волю государыни?! Долой верховников!..

Верховники слышали это, видели враждебные взгляды и чувствовали приближающийся какой-то роковой момент.

Но вот все стихло.

Широко распахнулись двери, и в предшестве церемониймейстеров с золотыми жез-

лами вошла императрица» За ней следовала блестящая свита офицеров, ее статс – дамы и фрейлины.

Императрица казалась очень бледной в своем траурном платье, с небольшой короной на голове. Она выглядела моложе и стройнее. Большие черные глаза сверкали решимостью и словно затаенной угрозой. Впереди статс – дам шла герцогиня Мекленбургская, отдала всем поклон и опустилась в кресло.

Взойдя по ступеням трона, императрица остановилась, отдала всем поклон и села. Как♦то напряженно и нервно прозвучал ее голос, когда она обратилась к присутствующим:

– Для блага моих подданных решила я выслушать мнения представителей» общества» о лучшем государственном устройении империи нашей. Не о благе своем помышляем мы, но токмо о благе державы нашей, вверенной нам всемогущим Богом. – Она замолчала и устремила напряженный, ожидающий взор на князя Черкасского.

Грузная фигура князя Черкасского заколыхалась. Он двинулся к трону в сопровожде-

нии Татищева, державшего в руках челобитную.

Все словно замерли.

Верховники подались вперед и тесной группой стояли почти у самых ступеней трона.

– Ваше величество удостоит выслушать всеподданнейшую челобитную всего шляхетства, – низко склоняясь, произнес Черкасский и, сделав шаг в сторону, уступил место Татищеву.

Бледная Анна кивнула головой.

Татищев выступил вперед и громким голосом начал читать.

Челобитная начиналась благодарностью императрице за подписание кондиций, но вместе с тем говорила, что» в некоторых обстоятельствах тех пунктов находятся сомнения такие, что большая часть народа состоит в стороне предыдущего беспокойства», что еще не были в Верховном совете рассмотрены представленные шляхетством мнения и потому представители» общества» всепокорно просят императрицу, дабы императрица все милостивейше соизволила» обратиться все-

му генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два от фамилий рассмотреть и все обстоятельства исследовать, согласным мнением, по большим голосам форму правления государственного сочинить и вашему величеству к утверждению представить».

Верховники вздохнули свободнее по выслушании челобитной.

Анна расстроено и смущенно оглянулась вокруг. Она сразу словно опустилась, глаза ее погасли. Она не того ждала. Ее обнадежили, что ее будут просить о восстановлении самодержавия! А теперь опять то же! И опять эти верховники настают на своем проекте, и опять она останется у них в несносном порабощении!

– Нечего обсуждать, – раздался вдруг голос из толпы гвардейских офицеров, – быть самодержавству по – прежнему!

– По – прежнему! По – прежнему! – раздались голоса.

– Обсудить! Обсудить! – раздались новые крики. Невероятный шум поднялся в аудиенц – зале.

– Господа представители шляхетства! – за-

кричал Василий Лукич, поднимая руку.

Шум на мгновение смолк.

– Надлежит все обсудить зрело, с соизволения всемилостивейшей государыни. Мы купно рассмотрим проект Верховного совета.

– Не хотим!

– Обсудить!

– Самодержавие!

– Долой врагов отечества!

Снова раздались крики.

Императрица протянула руку, и крики смолкли. Бледный, с горящими гневом глазами, обратился Василий Лукич к князю Черкасскому.

– Вот что вы сделали! – крикнул он. – Кто позволил вам присвоить право законодателя?

Черкасский вспыхнул, и среди наступившей тишины громко прозвучал его ответ:

– Делаю это потому, что ее величество была вовлечена вами в обман; вы уверили ее, что кондиции, подписанные ею в Митаве, составлены с согласия чинов государства, но это было сделано без нашего участия и ведома! Ваше величество, – обратился он к императрице. – Благоволите учинить на челобитной

свою резолюцию.

Он взял из рук Татищева челобитную и, поднявшись по ступеням трона, коленопреклоненно подал ее императрице.

– Вашему величеству лучше удалиться в кабинет, – раздался спокойный и властный голос Василия Лукича, – и там вместе с Верховным советом спокойно обсудить шляхетскую челобитную.

Анна растерялась. Она боялась послушаться Верховного совета. Она не решалась взять из рук Черкасского челобитную и не находила слов ответить Василию Лукичу.

– Теперь нечего рассуждать, сестра, – решительно произнесла герцогиня Екатерина, стоявшая за креслом императрицы, – надо подписать!

Она вырвала челобитную из рук Черкасского и положила на колени Анны. В ту же минуту она вынула из кармана маленькую чернильницу в виде флакончика духов и перо.

– Пусть это падет на меня, – добавила она. – Если надо за это заплатить жизнью – я первая приму смерть!

Как в тумане, Анна взяла из рук сестры перо и написала на челобитной: «Учинить по сему».

Василий Лукич кусал губы. Дмитрий Михайлович был сильно взволнован.

– Это что же! – сказал он стоявшему с ним рядом брату – фельдмаршалу. – Они решают, помимо нас? Что же мы?

– Нас, кажется, обыграли, – мрачно ответил фельдмаршал.

Крики и шум возобновились снова. Императрица сошла с трона и удалилась во внутренние покои.

Оживленно переговариваясь, офицеры и шляхетство направились к выходу, но в эту минуту появился Семен Андреевич Салтыков и объявил желание императрицы, чтобы шляхетство немедленно обсудило поданное ей прошение и в тот же день представило бы ей результаты своих совещаний.

Было ясно, чего хотела императрица.

Вместе с тем Салтыков передал членам Верховного совета приглашение императрицы к столу.

– Кажется, мы арестованы, – с горькой

усмешкой произнес Дмитрий Михайлович.

Шастунов, Макшеев и Дивинский остались среди офицеров в зале; Шастунов относился ко всему апатично. Издали он видел в толпе знатнейшего шляхетства своего отца, но ничто не шевельнулось в его душе. Дивинский был в большом волнении, Макшеев сосредоточен. Несмотря на свое легкомыслие, он понял, что в эти минуты решается судьба России и его собственная!

Шляхетство удалилось во внутренние залы; в аудиенц – зале осталась толпа гвардейских офицеров. Бог весть откуда приходили все новые и новые.

Среди представителей шляхетства Матюшкин сейчас же горячо стал отстаивать свой проект. Но не успел он закончить своих соображений, как послышались крики, шум. Это в аудиенц – зале кричали и бунтовали преображенцы, семеновцы, возбуждаемые Булгаковым, Бецким, Гурьевым и графом Матвеевым.

– Братцы! – кричал полупьяный Матвеев. – Выкинем за окно верховников, выломаем двери, разгоним шляхетство и провозгласим самодержавие Анны!

– Ура, ура! – раздались крики. – Ура, само-
держжица всероссийская Анна! Ура! Ура!

– Нечего рассуждать, – воскликнул князь
Трубецкой. – Императрица сама знает, как по-
легчить народу.

– Ей надо вернуть то, что у нее отнято, – ее
самодержавие, – сказал Кантемир.

– О, нет, – крикнул Юсупов, – мы не соглас-
ны!

– Не согласны! —

– Не согласны! – крикнул Матюшкин и
немногие другие.

Но их голоса были покрыты криками
остальных:

– Самодержавие! Самодержавие!

Двери распахнулись, и еще громче стали
слышны неистовые крики гвардейцев. С об-
наженным палашиом в руке вбежал в залу за-
седания шляхетства Матвеев.

– Кончайте совещание! – крикнул он. –
Офицеры возмущены! Провозглашайте само-
державие, иначе сами ангелы не спасут вас!

– Мы уже решили, – ответил Черкасский. –
Да здравствует самодержжица всероссийская!

– Челобитная готова, – произнес Кантемир,

вынимая из кармана заготовленную ими челобитную о восстановлении самодержавия. – Подписывайте, господа представители шляхетства!

– Подписывайте, подписывайте, – повторяли Черкасский и Трубецкой.

Челобитная быстро покрывалась подписями.

– Бойсе! Как мы обмануты, – с отчаянием произнес Матюшкин, обращаясь к Юсупову.

Юсупов весь дрожал, лицо его покрылось красными пятнами.

– Нас заманили в западню! Нас предали! Русь продали! – хрипло ответил он. – Кто же! Толпа преторианцев!

За столом императрицы царило тягостное молчание. Из аудиенц – залы доносились крики офицеров, но вот эти крики стали расти, увеличиваться, сливаться в один яростно – восторженный гул.

Императрица встала; за ней поднялись и другие.

– Надо выйти, – сказала она. – О чем они

так кричат?..

Едва императрица вышла в залу, как воцарилась мгновенная тишина. Но не успела она подняться по ступеням трона, как поднялась целая буря голосов.

– Ура! Да здравствует самодержица всероссийская!

– Долой верховников! Мы не хотим, чтобы императрице предписывались законы!

– Finis, – тихо произнес Дмитрий Михайлович.

– Игра сыграна, – отозвался Василий Владимирович.

Обнаженные палаши сверкали в воздухе. Несколько офицеров упали на колени у ступеней трона и, поднимая кверху шпаги, кричали:

– Мы твои рабы! Мы готовы отдать тебе жизнь! Повели, и мы бросим к твоим ногам головы твоих злодеев!

Семен Андреевич Салтыков приблизился к трону и, сделав шпагой на караул, громко воскликнул:

– От лица твоей верной гвардии, всемилоостивейшая государыня, приветствую тебя са-

модержавнейшей императрицей всероссийской, как были твои предки.

Его слова были снова покрыты криками «ура».

В это время в аудиенц – залу входили представители шляхетства во главе с фельдмаршалом Трубецким. Непосредственно за ним шел Кантемир. Настало молчание.

– Дозвольте, ваше величество, – начал Трубецкой, – прочесть единодушно выраженные сейчас желания шляхетства и генералитета.

– Мы ждем, – ответила императрица.

Как приговоренные к смерти, слушали верховники роковые слова:

– «...для того, в знак нашего благодарства, всеподданнейше приносим и всепокорно просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного совета пункты уничтожить...»

Еще когда подписывали челобитную, князь Черкасский распорядился послать за Степановым, чтобы он немедленно приехал во дворец и привез кондиции. Чтение продол-

жалось, но главное было уже сказано.

Императрица встала и громко произнесла:

– Мое постоянное намерение было управлять моими подданными мирно и справедливо, но так как я подписала известные пункты, то должна знать, согласны ли члены Верховного совета, чтобы я приняла предлагаемое мне моим народом?

Последние слова были явной насмешкой. Она спрашивала согласия нескольких человек на принятие того, что предлагал ей, по ее словам, весь народ!

Верховники молча наклонили головы.

В это время Степанов передал Дмитрию Михайловичу привезенные им кондиции, сказав, что ему, именем императрицы, было приказано посланным от Черкасского доставить их во дворец,

Бережно, с благоговением взял Дмитрий Михайлович в руки этот документ, хранивший все его надежды, и, медленным, торжественным шагом поднявшись на ступени трона, низко опустив голову, подал императрице кондиции.

Анна не могла совладать с собой и резким,

хищным движением вырвала из рук князя, как драгоценную добычу, заветный документ.

Зимний день кончался. Но ясный свет зимнего яркого солнца, погасая, заменялся другим – странным, красным, зловещим светом.

В большие окна кремлевского дворца врывался этот свет, сперва нежно – розовый, потом светло – красный и наконец кроваво – пурпуровый.

Обитые красным сукном ступени трона под этим светом блестели, переливались оттенками и казались кровавым водопадом. Золотые орлы на балдахине были словно залиты кровью, золотые ручки кресла, темные от тени балдахина, приобрели цвет запекшейся крови.

Кровавое сияние лежало на полу.

Присутствующие с изумлением глядели в окна. Все небо от запада до севера казалось залитым кровью. На лицах лежал странный оттенок. Солнце зашло, но в аудиенц – зале было светло. словно вся комната представляла собой красный фонарь.

Темным пятном выделялось траурное платье Анны, но кровавыми огнями играла на ее

голове золотая корона.

Анна медленно развернула лист и в глубокой тишине, протянув вперед руки и подняв их, резким движением разорвала кондиции сверху почти донизу, с угла на угол, слева направо.

Словно стон вырвался из груди Дмитрия Михайловича вместе с треском разрываемой толстой бумаги

С легким шелестом упал разорванный лист к ногам императрицы.

Самодержлица!

– Отныне, милостью Бога, – зазвенел ее голос, – принимаю на себя самодержавство моих предков, согласно воле народа! От души желаю быть матерью отечества и изливать на моих подданных милости, доступные нам. Да будет первым словом нового бытия нашего – слово милости и правды. Всемилостивейше повелеваю освободить нашего графа Ягужинского из несправедного заточения и всех» согласников» его!

Восторженные крики покрыли ее речь.

Она подозвала к себе Семена Андреевича и что-то шепнула ему. Салтыков поклонился и

вышел.

Анна милостиво допустила всех к руке.

В это время, пока происходила церемония, открылась задняя дверь, и, сияя золотом расшитого мундира, появился, в сопровождении Салтыкова, Эрнст – Иоганн Бирон, и кровавый свет заиграл на его сплошь зашитом золотом мундире, так что весь он оказался облитым кровью.

Надменно подняв голову, он прямо направился к трону. Шепот пробежал между присутствовавшими. Проходя мимо Василия Лукича, он слегка кивнул головой и насмешливо произнес:

– Здравствуйте, князь, на этот раз вы, кажется, окончательно проиграли.

Бешенство овладело князем, и, забыв свою сдержанность, не помня себя, он ответил:

– Ты все же не забудешь моей пощечины!

Лицо Бирона страшно исказилось, но он, не останавливаясь, прошел дальше.

Да, Эрнст – Иоганн Бирон не забудет пощечины! И эта фраза стоила головы Василию Лукичу.

Церемония кончилась. Императрица удалилась во внутренние покои. Верховники в сопровождении Макшеева, Дивинского и Шапунова прошли в малую залу.

Потрясенный, почти больной, уехал Юсупов домой.

– Ужели нет надежды? – спросил младший Голицын.

– Поднять армейские полки! Произвести бунт, низложить ее с престола и провозгласить императрицей цесаревну Елизавету! – ответил его брат – фельдмаршал.

– Ты не сделаешь этого! – тихим, упавшим голосом произнес Дмитрий Михайлович. – Поздно, все поздно! – добавил он, закрывая рукою глаза. – Пир был готов, но гости оказались недостойны его!

– Надо еще обдумать, – сказал Василий Владимирович. – Едемте.

Но в эту минуту в комнату вошел старый, толстый генерал с бабьим лицом и маленькими лукавыми глазками. За ним виднелся небольшой военный наряд.

Это был Андрей Иванович Ушаков, впоследствии страшный начальник Тайной кан-

целярии.

– Вам нельзя уйти, господа фельдмаршалы, – ласково и учтиво сказал он. – Вы задержаны впредь до распоряжения ее величества.

Словно молнии посыпались из глаз фельдмаршала Голицына. Сжав рукоять своей шпаги, он сделал шаг вперед. Ушаков испуганно попятился.

– Меня? – тихо проговорил Голицын. – Меня! Нас! Задержать? Дорогу старому фельдмаршалу!..

И он двинулся вперед с гордо поднятой головой, словно перестав видеть перед собой Ушакова.

Ушаков испуганно посторонился.

Солдаты невольно взяли на караул, и среди выстроившихся солдат члены Верховного совета прошли в большую залу. Там еще оставалась значительная толпа молодежи – офицеров и статских.

Все почтительно замолчали при виде фельдмаршалов и недавно всемогущих Василия Лукича и Дмитрия Михайловича...

– Смотрите, – кто-то тихо сказал в толпе. – Дмитрий Михайлович плачет...

Действительно, в морщинах благородного лица Дмитрия Михайловича застыли слезы. Его чуткий слух уловил произнесенную фразу. Он остановился и, окинув грустным взглядом толпу, произнес:

– Эти слезы – за Россию! Я уже стар, и жить мне недолго. Но вы моложе меня, вам дольше осталось жить, и вы дольше будете плакать!..

Никто не посмел больше задерживать членов Верховного совета, но Ушаков задержал Шастунова, Макшеева и Дивинского, отобрал у них шпаги и поместил их под караулом в отдаленной комнате дворца.

– Ну, теперь, кажется, я отосплюсь, – попробовал пошутить Макшеев.

Никто не ответил на его шутку.

Несмотря на настояние Бирона, императрица пока не решалась тронуть фельдмаршалов, этих смертельно раненных, но еще грозных, умирающих львов!

Юсупов, вернувшись из дворца, слег и уже не вставал. Он умер через несколько месяцев.

Дивинский, Макшеев и Шастунов и многие другие были разосланы по глухим сибир-

ским гарнизонам.

Обезумевшая от горя Паша бросалась и к императрице и к колдуньям и кончила тем, что была обвинена в злоумышлении на жизнь государыни и стала одной из первых жертв Ушакова, начальника восстановленного под названием Тайной канцелярии страшного Преображенского приказа. Она была бита кошками, пострижена в монахини под именем Проклы и отправлена в Сибирь, в Введенский девичий монастырь. Но и там ее дикая кровь давала себя знать. Она не признала себя монахиней, сбросила монашеское одеяние, за что опять была бита шелепами!

Фельдмаршал Михаил Михайлович избежал казни. Пока императрица под влиянием Бирона и хотела и не решалась принять против него суровые меры, он умер; умер и Алексей Григорьевич Долгорукий.

Но окреплавласть Анны и могущество Бирона, и он наконец насытил свою месть. Дмитрий Михайлович был заключен в Шлиссельбургскую крепость. Туда же попал и фельдмаршал Василий Владимирович.

Василий Лукич был сослан в деревню, по-

том в Сибирь, Соловки, и наконец Бирон имел радость довести его до эшафота. Василий Лукич был казнен в Новгороде. Семейство Алексея Григорьевича, с государыней – невестой и Наташей Шереметевой, вышедшей замуж за бывшего фаворита, испытывали нечеловеческие страдания в дальнем, глухом Березове, и наконец Иван был колесован в Новгороде, одновременно с Василием Лукичом и своими дядями, Сергеем и Иваном.

Иноземцы, призванные Анной, во главе с Бироном заливали кровью Россию, презирая страну, на счет которой кормились и возвеличивались, как победители в побежденной, дикой стране.

Безграмотные немцы, самоуверенные и наглые, унижали все, что было дорого русскому сердцу, с жадностью пиявок высасывая народные силы и с трусостью шакалов прячась при малейшем призраке опасности!

И не раз противники Дмитрия Михайловича с поздним раскаянием вспоминали его пророческие слова: «Вам дольше осталось жить, и вы дольше будете плакать».

Комментарии

ЗАРИН ФЕДОР ЕФИМОВИЧ (псевд. Зарин-Несвицкий и др.) родился в 1870 г. в Петербурге, в писательской семье. Литераторами были его отец Зарин (Зорин) Ефим Федорович, мать Зарина Екатерина Ивановна, брат Зарин Андрей Ефимович.

Ф. Е. Зарин служил в дореволюционной и в Красной Армии, был чиновником Канцелярии министра путей сообщения.

В 1933 г. Ф. Е. Зарин был арестован и обвинен в антисоветской деятельности. В 1934 г. дело было прекращено за недоказанностью обвинения. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Федор Ефимович Зарин оставил немалое литературное наследие. Известны первые публикации его стихов 1893 г., сборники стихотворений 1896, 1899 гг., переводы классиков мировой литературы. В 1902 г. публикуется его исторический роман «Джиакометта», затем повести и романы «Скопин-Шуйский», «На заре», «Летающий пономарь», «Под гнетом судьбы», «Наследница Византии» и дру-

гие. В газетах и журналах печатаются его стихи, рассказы, очерки, пьесы. В советское время Ф. Зарин не печатался. В театре и на клубных сценах шли некоторые его пьесы.

Умер Федор Ефимович Зарин предположительно в 1935 г.

Текст романа Ф. Е. Зарина-Несвицкого «Борьба у престола» печатается по изданию: Исторический вестник. № 1 – 11.1913.

Стр. 197. «Записки Манштейна». – Манштейн Христоф Герман (1711–1757) – родился в Петербурге, служил в прусской армии, затем вернулся в Россию. С 1736 г. находился на русской службе. Участник турецкой 1737–1738 гг. и шведской 1741–1743 гг. войн. В его широко известных мемуарах «Записки о России» содержится ценное описание дворцовых интриг и переворотов, а также событий Крымской и шведской войн. Был адъютантом фельдмаршала Миниха.

Стр. 199. С тех пор как ее стали поминать на ектениях... – Ектений (ектенья) – заздравное моление о государе и его доме.

Стр. 203. В Воскресенском у царицы – бабки... – Речь идет о первой жене Петра I Евдокии Лопухиной (в монашестве Елена). У нее были свои сторонники, и ее кандидатура предлагалась на российский престол.

Стр. 204. Анне Петровне с» десцендентами». – Десценденты (лат.) – потомки.

Стр. 205.... в форме поручика лейб – регимента. – Лейб – регимент – особый полк при дворе.

Приехал с батюшкиным письмом прямо к фельдмаршалу князю Долгорукому в Москву. – Долгоруков Василий Владимирович (1667–1746) – фельдмаршал. Отличился в Северной войне. Командовал конницей под Полтавой, завершив поражение шведов и победу русских войск. В 1718 г. как сторонник царевича Алексея в борьбе против Петра I был сослан в Соликамск. В 1724 г. возвращен из ссылки. Екатерина I назначила его главнокомандующим армии на Кавказе. При Петре II был членом Верховного тайного совета. В 1730 г. вместе с другими членами своей семьи был заточен в Соловецком монастыре. При Елизавете Петровне возвращен из ссылки.

Стал президентом Военной коллегии.

Стр. 207. Это сам великий канцлер граф Гаврила Иваныч Головкин. – Головкин Гавриил Иванович (1660–1734) – государственный деятель. При Петре I занимал ряд высоких должностей, сопровождал императора в его поездках за границу, выполнял дипломатические поручения. В 1726–1730 гг. – член Верховного тайного совета. По завещанию Екатерины был одним из опекунов Петра II. В 1731–1734 гг. – первый кабинет – министр.

Стр. 210. Лесток Иоганн Герман (1692–1767) – приехал в Россию в 1713 г. и был назначен придворным медиком. Несколько раз сопровождал Петра I и Екатерину за границу. При Екатерине I стал лейб – медиком цесаревны Елизаветы. Был ее самым доверенным лицом.

Стр. 222.... они собирают в Мастерской палате представителей высших чинов империи... – Мастерская палата размещалась в Теремном дворце Московского кремля.

Стр. 223. Он запомнил этот урок и через десять лет блистательно воспользовался им. – В ноябре 1741 г. Лесток сыграл самую активную

роль в государственном перевороте и восхождении на престол Елизаветы Петровны.

Стр. 226. На всякого Самсона найдется Далила... – Самсон – герой ветхозаветных преданий, наделенный невиданной физической силой. В период войны с филистимлянами был предан своей возлюбленной Далилой, которая, узнав, что сила Самсона заключена в волосах, выдала его тайну. Во время сна филистимляне остригли Самсона, и сила покинула его.

Среди книг, лежавших на столе, сочинений Локка, Гуго Гроция и прочих, почетное место занимало сочинение Макиавелли «*Il principe*». – Локк Джон (1632–1704) – английский философ; Гроций Гуго де Гроот (1583–1645) – голландский ученый – юрист; Макиавелли Никколо (1469–1527) – итальянский политический Мыслитель и писатель. «*Il principe*» («О государе») – одно из самых значительных его сочинений. Князь Д. М. Голицын был образованнейшим человеком. Его библиотека содержала до 6 тысяч книг на разных языках и в русских переводах.

Стр. 230.... участвовал в сражениях под Лес-

ным и Полтавой... – Во время Северной войны в битве при деревне Лесной на р. Соже 28 сентября 1708 г. русские войска нанесли решительное поражение шведам, которыми командовал генерал Левенгаупт. Петр I назвал это сражение «матерью полтавской баталии». 27 июня 1709 г. состоялся знаменитый бой под Полтавой, в котором русская армия разгромила войска Карла XII.

Стр. 239. Кавалергарды – почетная стража и телохранители членов императорской фамилии в особо торжественных случаях.

Кейт Джемс – шотландец, находившийся на русской службе. С 1730 г. – подполковник Измайловского полка, затем фельдмаршал.

Стр. 240. Юсупов Григорий Дмитриевич (1676–1730) – с 1726 г. – сенатор, с 1730-го – генерал – аншеф. При Петре II был главой Военной Коллегии.

Стр. 249.... сына Иванушки, ставшего тринадцать лет спустя ее невольным палачом. – Сын Натальи Федоровны и Степана Васильевича, подполковник Иван Степанович Лопухин в 1743 г. был обвинен в заговоре против императрицы Елизаветы Петровны. Вся се-

мья была жестоко наказана и сослана в Сибирь.

Стр. 253. Голицын Михаил Михайлович (1684–1764) – князь, государственный деятель.

Стр. 265. Там спали их дети – шестилетний Петр, трехлетняя Гедвига и двухлетний Карл. – Сын Бирона Петр (1724–1800) в 1732 г. был произведен в ротмистры. С 1787 г. – наследный принц Курляндский. В день смерти Анны Иоанновны был назначен подполковником конной гвардии. Сослан вместе с отцом и возвращен из ссылки в 1762 г. Петром III. Получил звание генерал – майора. С 1769 г. управлял Курляндией. С 1772 г. – владетельный герцог Курляндский и Семигальский. С 1795 г. жил в Германии. Второй сын, Карл (1728–1801), в 1732 г. произведен в бомбардир – капитаны лейб – гвардии Преображенского полка. Так же, как и его брат, был сослан вместе со всей семьей и возвратился из ссылки в 1762 г. Тогда же получил звание генерал – майора. При Екатерине II уехал в Курляндию.

Стр. 269.... карлик, прозванный Авессаломом за свои длинные и густые волосы... –

Авессалом – третий сын царя израильское иудейского государства Давида. Убил сводного брата Амнона за то, что тот обесчестил его сестру Фамари. Восстал против отца, во время бегства запутался своими длинными волосами в ветвях дуба и был убит.

Стр. 271. Ребенок Киля – так называли сына Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторнского Карла – Фридриха – Карла – Петра – Ульриха, будущего русского императора Петра III.

Стр. 272.... под знаменами Мальборо и принца Евгения... – Герцог Мальборо Джон Черчилль (1650–1722) – английский полководец и политический деятель. Евгений Савойский (1663–1736) – австрийский полководец и государственный деятель.

Он относился к нам всегда с должной аттенцией. – Аттенция – внимание.

Стр. 278. Прокопович Феофан (1681–1736) – русский церковный деятель, ученый, писатель. В 1704 г. принял монашество, был ректором Киево – Могилянской академии. В 1721 г. стал президентом Синода, с 1724 г. – архиепископ Новгородский. Один из сподвижников

Петра I. Участвовал в организации Академии наук. После смерти Петра I стоял во главе так называемой «ученой дружины», которая объединяла прогрессивных писателей, отстаивавших петровские реформы.

Стр. 319,...лицо старухи Марты, обрамленное белым плюеным чепчиком. – Плюеный – со складками.

Стр. 323. Берта, как Геба, в сопровождении двух мальчишек – ганимедов... – Геба – в древнегреческой мифологии богиня юности. Подносила богам на Олимпе нектар и амброзию (ароматную пищу богов, дававшую им вечную юность и бессмертие). Гамед – прекрасный юноша, которого похитил Зевс и сделал своим виночерпием.

Стр. 326.... в шитой золотом чухе. – Чуха (чоха) – верхняя одежда с широкими рукавами.

Стр. 330.... Никита Ефимович был по болезни в абшиде. – Абшид – отставка, отпуск.

Стр. 334. А ты, ферлакур, что здесь напевал Паше? – Ферлакур (фр.) – ухажер, донжуан.

Стр. 337. Я приготовил премеморию... – Премемория – записка.

Стр. 361. Кантемир имел свои причины ненавидеть верховников. Он был лишен майората по милости князя Дмитрия Михайловича... – Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744) – русский писатель и дипломат. Сторонник реформ Петра I. Один из зачинателей русского классицизма и сатирического направления в русской литературе XVIII в. Кантемир был сыном молдавского господаря (правителя) Д. К. Кантемира. Согласно майорату (порядку наследования, при котором имущество умершего владельца переходило нераздельно к одному из сыновей) он имел возможность получить наследство отца, но Верховный тайный совет решил дело в пользу брата Кантемира – Константина. Значительную роль в этом решении сыграл Д. М. Голицын, на дочери которого был женат Константин Кантемир,

Стр. 378. Внук знаменитого Артемона Матвеева... – Матвеев Артамон Сергеевич (1625–1682) – командир стрелецкого полка, затем боярин. Воспитатель Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I. Близкий друг царя Алексея Михайловича. Человек пе-

редовых взглядов, опытный государственный деятель и дипломат. Став жертвой борьбы между сторонниками Милославских и Нарышкиных после смерти Алексея Михайловича, Матвеев по ложному обвинению сослан в Пустозерск. Во время стрельецких волнений в мае 1682 г. был вызван из ссылки, чтобы помочь усмирить бунт. Матвееву это почти удалось, но в последний момент, поддавшись провокации противников Матвеева, стрельцы бросились на него, сбросили на площадь возле Благовещенского собора и изрубили на части. Н. М. Карамзин назвал Артамона Сергеевича Матвеева «жертвой своих достоинств, зависти людей и злобы мятежников» (Карамзин Н. М. Соч. в 2 т. Т. 2. Л., 1984. С. 102).

Матвеев Андрей Артамонович (1666–1728) – сын Артамона Сергеевича. Был послом в Голландии, Австрии, Англии, президентом Юстиц – коллегии, президентом Московской сенатской конторы. Оставил интересные воспоминания «Записки русских людей. События времен Петра Великого».

Стр. 416. Это святая и мученица... Она даст иной блеск знаменитой фамилии Долгору-

ких! – Наталья Борисовна Долгорукова (Шереметева) (1714–1771) явила собой образец нравственной чистоты и мужества. Будучи помолвленной с Иваном Долгоруким, она не нарушила своего слова, когда стало очевидно, что ее жениха ждет царская немилость. Она разделила с мужем все тяготы ссылки. В 1740 г. Наталья Борисовна вернулась в Москву, в 1758 г. постриглась в Киеве во Фроловском женском монастыре. Там в 1767 г. написала «Своеручные записки» – замечательный памятник эпохе и русской женщине, – в которых рассказала о страданиях и лишениях, выпавших на ее долю, о своей высокой и верной любви. Н. Б. Долгоруковой посвятили свои произведения русские поэты К. Ф. Рылеев («Наталья Долгорукова», 1823) и И. И. Козлов («Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», 1824–1827).

Стр. 427.... я жду от вас не lamentаций, а нужных сообщений. – Лamentация (лат.) – жалоба, сетование.

Стр. 483. Вы увидите его с высоты эшафота, измученная, опозоренная, в изодранных одеждах, и не будете в состоянии даже крик-

нуть, потому что... – Н. Ф. Лопухина, как и другие обвиненные по так наз. «лопухинскому делу»(см. примеч. к стр. 250), после жестоких пыток была публично высечена, и у нее был вырван язык.

Стр. 490. Толпа преторианцев. – Преторианцы – в Древнем Риме императорская гвардия, которая являлась крупной политической силой и играла большую роль в дворцовых переворотах; этим словом назывались также наемные войска, служащие опорой власти, основанной на грубой силе.

Стр. 494. Она была бита кошками... – Кошка – ременная плеть с несколькими концами. Шелеп – плеть, нагайка.

Примечания

1

«Прекрасном принце»(фр.).

[^^^]

Это смерть (фр.).

[^^^]

3

Оставьте же, дорогой Лесток, до завтра, до завтра! (фр.).

[^^^]

4

Глас народа – глас Божий (лат.).

[^^^]

5

Самым вежливым и самым любезным из русских своего времени (фр.).

[^^^]

6

Быстрее! Быстрее! Осторожней, каналы!
(фр.).

[^^^]

Виконт де Бриссак (фр.).

[^^^]

8

«Оставьте надежду!»(лат.).

[^^^]

9

Нужно прокладывать себе дорогу в жизни!
(фр.).

[^^^]

Ребенок Киля (фр.).

[^^^]

Король умер, да здравствует король! (фр.).

[^^^]

Земельные участки вроде наших оброчных статей. (Примеч. авт.).

[^^^]

«Средний слой»(фр.).

[^^^]

Ребенка Киля (фр.).

[^^^]

Петра свирепого (фр.).

[^^^]

Горе побежденным! (лат.).

[^^^]

Учителя фехтования (фр).

[^^^]